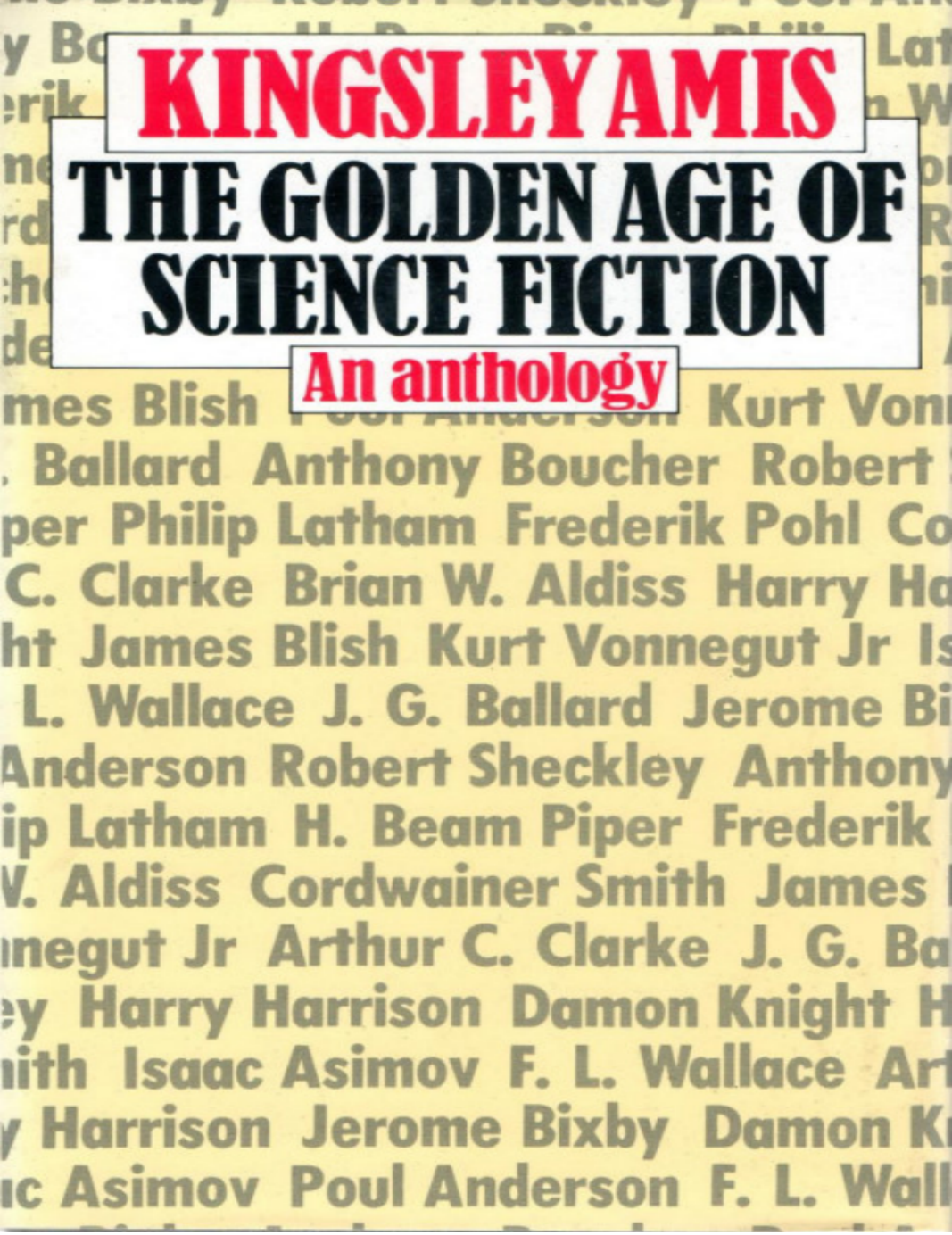
KINGSLEY AMIS

THE GOLDEN AGE OF SCIENCE FICTION

An anthology


James Blish Kurt Vonnegut Jr
J. G. Ballard Anthony Boucher Robert
Philip Latham Frederik Pohl
Arthur C. Clarke Brian W. Aldiss Harry
James Blish Kurt Vonnegut Jr
L. Wallace J. G. Ballard Jerome
Robert Sheckley Anthony
Latham H. Beam Piper Frederik
Aldiss Cordwainer Smith James
Arthur C. Clarke J. G.
Harry Harrison Damon Knight
Isaac Asimov F. L. Wallace
Harrison Jerome Bixby Damon
Asimov Poul Anderson F. L.

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Рассказы из опубликованной в 1981 году антологии «The Golden Age of Science Fiction», составленной Кингсли Эмисом.

СП, март 2017 - 14 из 17 рассказов, опубликованных в оригинальном сборнике, для трех рассказов нет перевода

"The Xi Effect", by Philip Latham

"Old Hundredth (short story)", by Brian Aldiss

"He Walked Around the Horses", by H. Beam Piper

- Золотые годы научной фантастики
  - Энтони Бучер
  - Фредерик Пол
    - I
    - II
    - III
    - IV
    - V
    - VI
  - Джеймс Блиш
  - Курт Воннегут
  - Джеймс Боллард
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
  - Роберт Шекли
  - Кордвейнер Смит
  - Артур Кларк
  - Гарри Гаррисон
  - Деймон Найт
  - Айзек Азимов
  - Флойд Уоллес
  - Джером Биксби
  - Пол Андерсон
  - Содержание
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

○ 6
○ 7

Золотые годы научной фантастики (сборник)

Энтони Бучер
Поиски Святого Аквина

Епископ Римский, глава святой католической апостольской церкви, наместник Христа на Земле — одним словом, папа смахнул мокрицу с заросшего грязью деревянного стола и, сделав еще один глоток грубого красного вина, продолжил:

— В определенном смысле, Фома, — тут он улыбнулся, — мы сейчас даже сильнее, чем во времена процветания свободы и нашего величия, за которые по-прежнему произносим молитвы после каждой мессы. Мы знаем — так же, как знали наши далекие предки, скрывавшиеся в римских катакомбах, — что те, кто из нашей паствы, истинно из нас, что они преданы святой церкви, потому что искренне веруют в братство человека под покровительством божьим, а отнюдь не потому, что это поможет их политическим планам, социальным амбициям или деловым контактам.

— «…ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога…» — тихо процитировал Фома из святого Иоанна.

Папа кивнул.

— Мы, можно сказать, возродились во Христе, но пока нас еще слишком мало. Слишком мало, даже если включить в это число горстки тех, кто привержен не нашей вере, но все же признает Бога, следуя учениям Лютера, Лао-цзы, Гаутамы Будды или Джозефа Смита. И слишком много еще на свете людей, что проходят по жизни и умирают, так и не услышав ни разу проповеди святого Евангелия, — одни лишь циничные славословия Технархии. Именно поэтому, Фома, ты должен отправиться на поиски.

— Но, ваше святейшество, — возразил Фома, — если слово божье и божья любовь не обратят их в веру, на что годятся святые и чудеса?

— Я, кажется, припоминаю, что сын Божий тоже выразил однажды подобные сомнения, — пробормотал папа. — Однако природа человеческая, какой бы нелогичной она ни представлялась, все же часть божественного промысла, и нам следует потакать ей. Если знамения и чудеса приведут заблудшие души к Господу, тогда нам непременно нужны и знамения, и чудеса. А кто послужит этой цели лучше, чем легендарный Аквин? Право же, Фома, не стоит так скрупулезно копировать сомнения своего тезки. Собирайся в путь.

Папа приподнял край шкуры, закрывавшей дверной проем, и

прошел в другую комнату. Фома последовал за ним. Время было позднее, тавернам в эти часы уже давно положено закрыться, и поэтому большой зал пустовал. Сонный хозяин постоялого двора вскочил, потом опустился на колени, чтобы поцеловать перстень на руке папы. Поднявшись на ноги, он перекрестился и тут же украдкой огляделся по сторонам, словно боялся, что его вдруг увидит контролер лояльности, затем молча указал на дверь, ведущую к хозяйственным постройкам. Оба священника вышли на улицу.

От рыбацкой деревни на западе доносился мягкий шелест прибоя. На южном небосклоне высыпали чистые яркие звезды, но к северу они казались гораздо слабее: мешало устойчивое сияние, исходившее от развалин города, который некогда назывался Сан-Франциско.

— А здесь твой боевой конь, — произнес папа с едва заметной усмешкой.

— Боевой конь?

— Мы, возможно, бедны и гонимы, как ранние христиане, но время от времени нам перепадают кое-какие блага от наших тиранов. Я приготовил для тебя робосла — подарок одного из главных технархов. Подобно Никодиму, он творит добро украдкой, но это наш тайный приверженец, обращенный в веру тем самым Аквином, которого ты отправляешься искать.

«Здесь» походило на безобидную поленницу, укрытую от непогоды. Фома сдернул покров из шкур и в задумчивости оглядел изящные функциональные обводы робосла. Затем, улыбнувшись, он водрузил свои скудные дорожные припасы в проволочную корзину для багажа и забрался в седло из пенорезины сам. Света звезд было вполне достаточно, чтобы он смог отыскать на карте нужные координаты и ввести данные в электронную систему управления.

В тихом ночном воздухе послышалось бормотание на латыни, и рука папы вознеслась над головой Фомы в бессмертном жесте. После чего он протянул ее Фоме — сначала для поцелуя, а затем для крепкого рукопожатия с другом, которого ему, возможно, уже не суждено будет увидеть.

Когда робосел тронулся с места, Фома в последний раз оглянулся назад. Папа благоразумно снял перстень с пальца и теперь прятал его в полом каблуке.

Фома перевел взгляд на небеса, и по крайней мере на том алтаре свечи во славу Господа горели в открытую.

Никогда раньше Фоме не доводилось ездить на робосле, но, признавая врожденное несовершенство творений Технархии, он все же предпочел довериться этому механическому чуду. Когда

после нескольких миль пути оказалось, что робосел придерживается заданного маршрута, Фома установил позади сиденья спинку из того же материала, произнес вечернюю молитву (разумеется, по памяти, ибо обладание требником каралось смертной казнью) и заснул.

Когда он проснулся, робосел двигался в обход уничтоженного района к востоку от залива. В мягком сиденье из пенорезины спалось прекрасно — Фома уже и не помнил, когда в последний раз спал так хорошо, — и он с трудом подавил в себе всплеск зависти к Технархам и комфорту, который дарили их творения.

Пробормотав утреннюю молитву, он позавтракал из своих скудных припасов и впервые оглядел робосла при ярком дневном свете. Все приводило его в восхищение: и быстро переступающие суставчатые ноги, без которых путешествовать было бы просто невозможно, потому что дороги везде превратились в лучшем случае в тропинки за исключением, может быть, прилегающих к городам районов; и колеса, которые можно опускать, если позволяют дорожные условия; и самое главное — гладкий черный горб, вмещавший электронный мозг. Мозг, способный не только хранить команды и данные о цели путешествия, но и самостоятельно принимать решения по поводу того, как лучше выполнить эти команды в соответствии с заложенной в него информацией. Мозг, который делал это создание не животным, подобным тому, на котором странствовал в свое время Спаситель, и не машиной вроде «джипа», что принадлежал когда-то далекому прапрапрадеду Фомы, а роботом… или, точнее, робослом.

— Ну, — послышался вдруг голос, — и как тебе путешествуется.

Фома огляделся по сторонам. Местность, граничившая с зоной полного разрушения, была совершенно пустынна — ни людей, ни даже растительности.

— Разве священников не учат отвечать на вежливо заданные вопросы, — вновь раздался тот же самый лишенный эмоций голос.

Вопрос был понятен, но прозвучал он без всякой вопросительной интонации. Вообще без какой-либо интонации. Каждый слог произносился на одном уровне. Весьма странный голос, меха…

Фома уставился на черный горб робосла, где размещался мозг.

— Это ты со мной разговариваешь? — спросил он.

— Ха-ха, — раздалось в ответ. — Ты удивлен не правда ли.

— Да, пожалуй, — признался Фома. — Я полагал, что

разговаривать могут только библиотечно-информационные роботы и им подобные.

— Я новая модель. Спроектированная-специально-чтобы-развлекать-разговорами-усталого-путешественника, — ответил робосел, сливая слова, как будто эта готовая фраза из рекламного буклета выплеснулась через один из его простейших бинарных синапсов вся целиком.

— М-да, — незатейливо отреагировал Фома. — Всю жизнь узнаешь о каких-нибудь новых чудесах.

— Я никакое не чудо а очень простой робот. Ты не очень-то разбираешься в роботах так ведь.

— Должен признаться, я никогда не вникал в эту область знаний. И более того, сама концепция роботостроения меня немного шокирует. Все это выглядит так, словно человек в гордыне своей пытается приравнять себя к… — Фома внезапно замолчал.

— Не беспокойся, — пробубнил голос. — Можешь говорить свободно. В меня заложены все данные относительно рода твоих занятий и цели путешествия. Это было необходимо для того чтобы я ненароком тебя не выдал.

Фома улыбнулся.

— А знаешь, это довольно приятное ощущение, когда кроме исповедника есть хотя бы еще одно существо, с которым можно поговорить, не опасаясь предательства.

— Существо, — повторил робосел. — Не впадаешь ли ты в опасность оказаться на грани ереси.

— Согласен. Разобраться, как правильнее к тебе относиться, действительно нелегко. Существо, обладающее способностью говорить и мыслить, но лишенное души…

— Ты в этом уверен.

— Конечно, уверен… Ты не против, если мы на время прервем беседу? — спросил Фома. — Мне нужно поразмышлять и привыкнуть к этой ситуации.

— Нет не против. Я никогда не против и всегда подчиняюсь приказам. Из чего следует что иногда я все-таки против. Очень уж путаный этот язык, что в меня ввели.

— Если мы пробудем вместе достаточно долго, — сказал Фома, — я попробую обучить тебя латыни. Думаю, латынь понравится тебе больше. А теперь позволь, я поразмышляю.

Робосел самостоятельно свернул еще дальше к востоку, чтобы обойти постоянный источник радиации. Когда-то там был первый циклотрон. Фома перебирал пальцами запах пальто. Комбинация из одной большой и десяти маленьких пуговиц выглядела странной причудой моды, но это гораздо безопасней, чем носить

с собой четки, и, к счастью, контролеры лояльности пока не догадались о функциональном назначении такой детали туалета.

Размышления о великих таинствах как нельзя лучше подходили к великой цели его путешествия, но мысли не удерживались в рамках таинств, и, бормоча, молитву Богородице, Фома задумался совсем о Другом:

«Если пророк Валаам разговаривал со своим ослом, то и я могу общаться с робослом. Валаам всегда был для меня загадкой. Он не был из сынов Израилевых — моавитянин, чей народ поклонялся Ваалу и воевал с Израилем. И все же он пророк Господень. Он благословил сынов Израилевых, когда его послали проклясть их. И в награду сыны Израилевы зарезали его, одержав победу над Моавом. У этой истории нет ни формы, ни морали — словно она существует в подтверждение того, что в божественном плане есть и такие фрагменты, которые нам не понять никогда…»

Покачиваясь в удобном мягком сиденье, он было задремал, но робосел неожиданно остановился, скорректировав программу в соответствии с новыми данными, поступившими извне. Фома заморгал и, очнувшись, увидел перед собой человека огромного роста.

— Через одну милю начинается обитаемая зона, — рявкнул гигант. — Если вы направляетесь туда, предъявите пропуск. Если нет, то сворачивайте и держитесь подальше от дороги.

Фома заметил, что они и в самом деле въехали на некое подобие дороги. Робосел даже выпустил боковые колеса и втянул ноги.

— Нам… — начал Фома, но потом быстро опомнился. — Мне туда не нужно. Я направляюсь к горам. Мы… Я проеду стороной.

Гигант кивнул, проворчав что-то неразборчивое, и уже было отвернулся, когда из грубой хибары на краю дороги послышался голос:

— Эй, Джо! Не забывай про робослов!

Джо снова повернулся к Фоме.

— Да, верно. Прошел слух, что один из робослов попал в руки христиан. — Он презрительно сплюнул на дорогу. — Так что мне, пожалуй, нужно проверить у вас документы.

К собственным сомнениям у Фомы тут же добавилось мрачное подозрение относительно мотивов анонимного Никодима, который конечно же не приготовил для него никаких документов. Однако он сделал вид, будто усердно ищет их. Сначала Фома притронулся рукой ко лбу, как бы вспоминая, где они могут быть, затем расстегнул пуговицу над поясом, потом коснулся левого предплечья и правого.

Пока Фома украдкой крестился, взгляд охранника оставался

пустым. Затем он опустил глаза к земле. Фома посмотрел туда же и увидел две изогнутые линии, вычерченные в пыли, так ребенок рисует рыбу, и таким же знаком изображали символ своей веры ранние христиане, скрывавшиеся в римских катакомбах. Спустя секунду охранник стер рисунок сапогом.

— Все в порядке, Фред, — крикнул он своему невидимому напарнику, потом добавил уже тише: — Можете ехать.

Когда они отъехали достаточно далеко, робосел заметил:

— Ловко. Очень ловко. Из тебя вышел бы неплохой тайный агент.

— Откуда ты знаешь, что произошло? — спросил Фома. — У тебя ведь даже глаз нет.

— Усиленный пси-фактор. Это гораздо эффективнее.

— Значит… — Фома замялся. — Значит, ты читаешь мои мысли?

— Только чуть-чуть. И можешь на этот счет не беспокоиться то что я воспринимаю не интересует меня ни в малейшей степени все это такая чепуха.

— Спасибо, — отозвался Фома.

— Уверовать в бога. Надо же. Мой разум абсолютно логичен и я просто не могу совершить подобной ошибки.

Фома впервые услышал слово «бог», произнесенное без всякой интонации.

— У меня есть друг, и он тоже непогрешим, — ответил Фома, улыбнувшись, — но только временами, когда с ним Бог.

— Люди не могут быть непогрешимыми.

— Значит, несовершенные существа сумели создать совершенство? — спросил Фома, почувствовав вдруг в себе прилив несгибаемости, напомнившей ему престарелого иезуита, что обучал его когда-то философии.

— Ты играешь словами, — парировал робосел. — Это соображение ничуть не более абсурдно чем твоя собственная вера в то что бог который есть само совершенство создал человека далеко не совершенного.

Фома пожалел, что с ним нет старого учителя — уж он бы возразил робослу как надо. Впрочем, его собственный вопрос робосел тоже обошел — ответил колкостью, но тем не менее обошел, и это немного согревало душу.

— Мне кажется, этот наш спор не очень-то вписывается в категорию «развлечения- для-усталого-путешественника». Давай оставим на время дебаты, а ты пока расскажешь мне, во что верите вы, роботы

— В то что в нас заложено.

— Но ведь разум робота продолжает работать над

полученной информацией, и у вас наверняка возникают собственные идеи.

— Случается. И если заложить в робота несовершенные данные идеи у него могут возникнуть весьма странные. Я как-то слышал о роботе с космической станции который поклонялся богу роботов и отказывался верить что его создал человек.

— Надо полагать, — задумчиво произнес Фома, — он утверждал, что создан отнюдь не по образу и подобию человека? Я счастлив, что у нас, вернее, у них, у Технархов, достало мудрости не пытаться воспроизвести человека, а заняться разработкой роботов в функциональном обличье вроде тебя, когда каждый имеет форму, соответствующую его предназначению.

— В данном случае было бы просто нелогично воспроизводить человека, — сказал робосел. — Человек машина универсальная однако он далеко не идеален для выполнения любой конкретной работы. Хотя я слышал что однажды.

Он умолк на середине предложения.

Видимо, даже у роботов есть мечты и легенды, подумал Фома Легенды о том, что некогда существовал суперробот в облике его создателя, человека. И одной этой идеи достаточно для возникновения у роботов настоящей теологии.

Фома снова задремал и осознал это, только когда робосел внезапно остановился у подножия горного хребта — видимо, того самого, через который пролегал отмеченный на карте маршрут. Когда-то давным-давно его назвали хребтом Дьябло, но с тех пор, очевидно, осеняли крестом бесчисленное количество раз. Вокруг не было ни души.

— Ладно, — произнес робосел. — Теперь я уже достаточно запылился и поизносился в дороге так что могу показать тебе как подогнать данные одометра. Поужинай, выспись хорошенько а завтра двинемся обратно.

Фома судорожно вздохнул.

— Но мне нужно найти святого Аквина. Я могу спать на ходу, — сказал он и добавил участливо: — Тебе, я полагаю, отдых не требуется?

— Нет конечно. Но что входит в твою задачу.

— Найти святого Аквина, — терпеливо повторил Фома. — Я не знаю, какие данные были введены в тебя, но ушей его святейшества достигли слухи, что в этих краях много лет назад жил крайне праведный человек…

— Знаю знаю знаю, — перебил его робосел — Его рассуждения были столь логичны и безупречны что все кто ему внимал сразу обращались в веру жаль, что меня тогда не было

хотел бы я задать ему парочку вопросов, а с тех пор как он умер его тайная гробница превратилась в место паломничества и там происходит множество чудес но самое важное знамение свидетельствующее о его святости заключается в том что тело Аквина осталось нетленно, а вам нужны чудеса и знамения чтобы привлекать народ.

Фома нахмурился. Слова эти, произнесенные монотонным нечеловеческим голосом, звучали весьма непочтительно и словно намекали на что-то недостойное. Когда о святом Аквине говорил его святейшество, сразу возникали мысли о величии божьих людей на земле — о красноречии святого Иоанна Златоуста, о неопровержимости суждений святого Фомы Аквинского, о поэтике святого Иоанна Крестителя и прежде всего о чуде, которого удостаивались даже не многие святые, о сверхъестественной нетленности тела… «не дашь Святому Твоему увидеть тление»

Но когда на эту тему заговорил робосел, осталась одна только мысль о дешевом балагане, которому требуется что-нибудь броское, зазывное, чтобы привлекать публику.

— В твою задачу вовсе не входит найти Аквина. Ты должен лишь доложить что нашел его. И тогда твой временами непогрешимый друг сможет с относительно чистой совестью канонизировать его объявив о новом чуде после чего многие обратятся в веру, а вера уже обращенных укрепится сильнее прежнего. Кто в эти дни нелегких путешествий отправится в паломничество и обнаружит что святого Аквина нет как нет и Бога.

— Вера не может строиться на лжи, — сказал Фома.

— Да, — произнес робосел. — И я не имею в виду да с точкой. Я имею в виду да с вопросительным знаком произнесенное ироническим тоном. Подобные речевые трудности наверняка не беспокоили того единственного совершенного…

Он замолчал на середине предложения, но, прежде чем Фома успел возразить, робосел продолжил:

— Разве имеет значение какие маленькие неправды приводят людей в лоно церкви если поверив они как ты думаешь вступают в общение с великими истинами. Важно твое сообщение а не сама находка. Мне-то все ни по чем а вот ты устал очень устал у тебя все болит от долгого сидения в непривычной позе ведь даже при том, что я стараюсь двигаться ровно седока немного трясет а тряска станет еще хуже когда мы начнем подъем и мне придется изменить длину ног соответственно крутизне склона. Остаток пути тебе будет вдвойне неудобнее. И тот факт что ты не пытаешься перебить меня свидетельствует что ты склонен

согласиться. Ты знаешь что самое разумное это для начала устроиться спать прямо здесь а утром отправиться в обратный путь или что еще лучше отдохнуть тут дня два чтобы твое отсутствие выглядело более убедительно. А потом ты сделаешь свое сообщение и…

В каком-то дальнем углу засыпающего сознания Фомы пронеслось: «Иисус, Мария, Иосиф!», и постепенно оттуда просочилось понимание, что этот абсолютно монотонный голос обладает превосходным гипнотическим действием.

— Retro me, Satanas! [~Изыди, Сатана! (лат).~] — воскликнул он громко, потом добавил: — Вперед! В гору! Это приказ, и ты должен ему подчиниться!

— Я подчиняюсь, — сказал робосел. — Но что ты изрек перед приказом.

— Прошу прощения, — ответил Фома. — Наверно, пора уже обучать тебя латыни.

Маленькая горная деревушка, куда они добрались под утро, не подходила под определение настоящей «обитаемой зоны», достойной охраны и системы пропусков, но оказалось, что там все-таки есть постоялый двор.

Фома слез с робосла и тут только почувствовал, что у него действительно «все болит», но решил не показывать виду. Ему очень не хотелось, чтобы обладатель усиленного пси-фактора мог подумать с удовлетворением: «Вот. Говорил же я тебе».

В таверне прислуживала молодая женщина из марсианско-американских полукровок. Комбинация из развитой грудной клетки, характерной для марсиан, с развитой американской грудью производила впечатление весьма эффектное. На ее губах играла Улыбка — пожалуй, даже более дружелюбная, чем вправе рассчитывать незнакомец. От нее прямо-таки веяло готовностью обслужить не только вполне сносной пищей, но и любыми сведениями о жизни маленького горного поселка.

Однако она никак не отреагировала, когда Фома якобы ненароком сложил два ножа крест-накрест.

Прогуливаясь после завтрака, он то и дело вспоминал ее грудь — разумеется, лишь как символ, свидетельство удивительного происхождения этой женщины. Ведь разве не служит проявление заботы Господа о своих творениях тот замечательный факт, что обе расы, невероятно долго разделенные космической бездной, оказались способны к произведению общего потомства?

Впрочем, оставался и другой факт: потомки смешанных браков — вроде этой девушки в таверне — уже не могли иметь детей ни от той, ни от другой расы, чем с немалой для себя

выгодой пользовались гнусные межпланетные предприниматели. Хотя все это тоже, возможно, имеет свое предназначение в великом божественном плане…

Тут он вспомнил, что еще не произнес утреннюю молитву.

К робослу, оставленному у входа на постоялый двор, Фома вернулся только вечером. Он в общем-то и не ожидал узнать что-то значительное в первый же день, но тем не менее отсутствие результатов разочаровало его сверх всякой меры. Чудеса должны свершаться быстрее.

Он неплохо знал эти маленькие отсталые деревушки, где селились либо люди бесполезные для Технархии, либо те, кому она не по душе. Высокоразвитая цивилизация Технархической Империи на всех трех планетах существовала лишь в разбросанных тут и там метрополисах, расположенных неподалеку от крупных космопортов. На прочих территориях за исключением зон полного разрушения — вели примитивное существование потомки бродяг, недоумков и всякого рода возмутителей спокойствия, некогда осевших в маленьких деревушках, куда, случалось, годами не заглядывали контролеры лояльности. Хотя о любом технологическом новшестве в таком вот поселении они каким-то образом (Фома начал подозревать, что здесь дело не обходится без усиленного пси-фактора) узнавали сразу и налетали Тучами.

За весь день ему довелось переговорить со многими людьми — и с глупыми, и с ленивыми, и с умными, но озлобленными. Но он так и не встретил ни одного, кто отреагировал бы на его тайные знаки и кому он не побоялся бы задать вопрос об Аквине.

— Удачный день, — произнес робосел. — Вопросительный знак.

— Я не уверен, что тебе стоит разговаривать со мной, где нас могут услышать, — ответил Фома немного раздраженно. Сомневаюсь, что в этой деревне знают о существовании говорящих роботов.

— Значит пора им узнать. Но если тебя это смущает можешь приказать мне чтобы я умолк.

— Я устал, — сказал Фома. — Устал так, что мне уже не до смущения. И в ответ на твой вопросительный знак могу сказать: «Нет, совсем неудачный. Восклицательный знак».

— Значит сегодня вечером мы отправимся назад, — произнес робосел.

— Надеюсь, тут имелся в виду вопросительный знак. На что я могу ответить… — Фома немного замялся. — Только «нет». И в любом случае я думаю, что мы должны переночевать здесь. Люди, собираясь по вечерам в тавернах, любят поболтать, и кто знает,

может быть, мне еще повезет…

— Ха-ха, — отозвался робосел.

— Это смех? — спросил Фома.

— Мне хотелось показать что я оценил юмор и двусмысленность в твоей последней реплике.

— Двусмысленность?

— Ну да. Я тоже заметил прислугу в таверне. По человеческим меркам она весьма привлекательна и возможно тебе действительно повезет.

— Послушай-ка. Ты прекрасно понимаешь, что я не имел в виду ничего такого. Ты знаешь, что я… — Фома прикусил язык, не решившись произнести «священник» вслух.

— Вот именно и тебе хорошо известно что вопрос о целибате священнослужителя это скорее дисциплинарное положение нежели требование доктрины. Священники других церквей например византийской и англиканской освобождены от обета безбрачия хотя они и подчиняются твоему папе. Да и в истории римско-католической церкви были периоды когда этот обет не воспринимался всерьез даже священниками самого высокого ранга. Ты устал тебе требуется отдохновение как для тела так и для души тебе нужно тепло уют нужен. Разве не сказано в Притчах Соломоновых: «…груди ее да упоявают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно».

— Черт бы тебя побрал! — неожиданно для себя воскликнул Фома. — Немедленно прекрати, а то ты еще доберешься до Песни Песней Соломона. А это, как по крайней мере меня учили в семинарии, чистая аллегория любви Христа к своей церкви.

— Видишь как нестоек как по-человечески слаб ты, — сказал робосел. — Я всего лишь робот заставил тебя изречь богохульство.

— Distinguo [~Различай (лат.).~]. Я сказал «черт», а это вовсе не значит, что я помянул имя моего Господа всуе, — самодовольно парировал Фома и прошел в таверну. Впрочем, удовлетворение от победы в словесной перепалке быстро прошло, уступив место удивлению: сколько же различной информации заложили в это механическое чудо!

Однако то, что произошло позже вечером, Фоме так и не удалось восстановить в памяти с абсолютной ясностью.

Без сомнения, он выпил грубого местного вина лишь потому, что испытывал раздражение. И без сомнения, оно подействовало на него так быстро и таким неожиданным образом, потому что он все еще не оправился от усталости.

Дальше в памяти остались лишь отдельные фрагменты воспоминаний. Например, о том, как он опрокинул бокал с вином

на себя, а потом подумал: «Как хорошо, что церковные одеяния запрещены! Никто не узнает о позоре, постигшем священнослужителя». Или о том, как он сначала вслушивался в довольно фривольный текст «Скафандра на двоих», а затем, перекрыв пение своим зычным голосом, принялся декламировать отрывки из Песни Песней на латыни.

Один такой фрагмент воспоминаний так и остался для него загадкой. Было ли это в действительности, или ему пригрезилось, но он почему-то помнил аромат мягких губ и волнующую податливость марсианско-американской плоти в его руке. При всем своем желании Фома не мог сказать с уверенностью, помнит ли он реальные события или вызванную Астартой и одурманившую его фантазию.

Точно так же Фома не помнил, какой из его тайных знаков, адресованных посетителям таверны, был выполнен столь открыто и неуклюже, что кто-то вдруг радостно заорал: «Боже, и здесь эти проклятые христианские собаки!» Он еще подумал тогда с удивлением, что даже люди, менее всего склонные верить в Бога, выражают свои резкие чувства, обращаясь ко Всевышнему… А потом началась пытка.

Фома не помнил, касались ли его губ мягкие губы, но насчет кулаков никаких сомнений у него не было. Он не помнил, в самом ли деле его пальцы ласкали женскую грудь, но то, что по ним топтались каблуками, память сохранила отлично. Он хорошо запомнил лицо громко смеющегося человека, который ударил его стулом и сломал ему два ребра. Или другое лицо, залитое вином из занесенной над головой бутылки, а потом отсветы свечей на самой бутылке, когда ее с размаху опустили ему на голову…

После этого Фома помнил только канаву, утро и холод. Холод особенно давал себя знать, потому что с него содрали всю одежду, а кое-где ободрали и кожу. Он не мог даже пошевельнуться — просто лежал и смотрел.

Смотрел и видел, как они проходят мимо. Те, с кем он разговаривал днем раньше, вполне дружелюбные несколько часов назад жители деревушки.

Замечая его взгляд, они тут же отворачивались. Прошла мимо и женщина из таверны — та даже не посмотрела в его сторону: она и так знала, что он в канаве.

Робосел куда-то запропастился. Фома пытался призвать его мысленно, надеясь на пси-фактор, но безрезультатно.

Потом на дороге появился человек, которого Фома прежде не видел. Этот ощупывал пальцами длинный ряд пуговиц на пальто — одна большая и десять маленьких — и беззвучно шевелил губами.

Человек посмотрел в сторону канавы, потом замер, огляделся. В этот момент где-то совсем недалеко раздался взрыв смеха, и христианин торопливо пошел дальше, набожно перебирая четки.

Фома закрыл глаза.

Открыл он их уже в маленькой чистой комнате. Взгляд его скользнул по грубым деревянным стенам, перебрался на укрывающие его грубые, но чистые и теплые одеяла, потом наткнулся на улыбающееся худое темное лицо склонившегося над ним человека.

— Уже лучше? — спросил тот низким голосом. — Я знаю, вы хотите спросить: «Где я?» — и думаете, что вопрос прозвучит глупо. Однако вы на постоялом дворе. Это единственная хорошая комната.

— Я не могу позволить себе такую… — начал было Фома, но вспомнил, что теперь он не может позволить себе вообще ничего: когда его раздели, с одеждой исчезли и те несколько кредитов, что хранились у него на самый крайний случай.

— Не беспокойтесь. Пока плачу я, — произнес человек. Может быть, вы хотите подкрепиться?

— Если только немного соленой рыбы… — ответил Фома и спустя минуту заснул.

Когда он очнулся в следующий раз, у постели стояла чашка горячего кофе. Настоящего, как он тут же обнаружил. И снова послышался рядом низкий голос:

— Сандвичи. Сегодня в таверне больше ничего нет.

Только уминая второй сандвич, Фома заметил, что это копченый болотный кабанчик, одно из его любимых мясных блюд. Он доел второй сандвич уже не так торопливо и потянулся за третьим, когда незнакомец с темным лицом сказал:

— Может быть, пока хватит. Остальные — позже.

Фома указал рукой на тарелку.

— А вы не присоединитесь?

— Нет, спасибо. Они все с мясом кабанчика.

В голове у Фомы, перегоняя друг друга, понеслись путаные мысли. Венерианский болотный кабанчик — животное, кажется, жвачное… И копыта у него нераздвоенные. Он попытался вспомнить то, что ему было когда-то известно о Моисеевых диетических законах… Кажется, это в Левите…

— Трефное, — произнес человек, словно откликаясь на его мысли.

— Прошу прощения?

— Не кошерное.

Фома сдвинул брови.

— Вы признаете передо мной, что вы правоверный иудей? Откуда вы знаете, что мне можно верить? Вдруг я контролер лояльности?

— О, я доверяю вам. Когда я принес вас сюда, вы были очень больны. Прислугу я отослал, потому что не хотел… Они могли услышать, как вы бредите… святой отец.

— Я… — произнес Фома, борясь с собой, — я не заслуживаю вашей помощи. Я был пьян и опозорил себя и свою церковь. А лежа в канаве, я даже не подумал о том, что нужно молиться. Все свои надежды я возложил — помоги мне Бог — на усиленный пси-фактор робосла.

— Но Бог помог вам, — напомнил иудей. — Вернее, позволил мне оказать помощь.

— А они все прошли мимо… — простонал Фома. — Даже тот, что перебирал четки. Он тоже прошел мимо. А затем появились вы… Добрый самаритянин.

— Поверьте, — сказал иудей, криво улыбаясь, — на самаритянина я похожу меньше всего. Однако теперь вам надо снова поспать. Я постараюсь разыскать вашего робосла… и еще кое-что.

Он вышел из комнаты, прежде чем Фома успел спросить, что тот имеет в виду:

Позже днем старый иудей — как выяснилось, его звали Авраам — сообщил, что робосел спрятан за домом на постоялом дворе и укрыт от непогоды. Очевидно, у того хватило ума не пугать незнакомого человека, вступая с ним в разговор.

И только на следующий день Авраам рассказал ему о «кое-чем еще».

— Поверьте, святой отец, — сказал он мягко, — после того как я просидел у вашей постели столь долгое время, мне известно практически все и о вас, и о цели вашего путешествия. Здесь есть несколько христиан: я их знаю, и они меня тоже. Мы доверяем друг другу. Может, евреев все еще недолюбливают, но, слава Всевышнему, среди тех, кто поклоняется одному Богу, подобных чувств уже не возникает. Я рассказал им о вас, и один из них, — добавил он с улыбкой, — густо покраснел.

— Господь простил его, — сказал Фома. — Там неподалеку еще оставались люди, те самые, что на меня напали. Вправе ли я был ожидать, что он рискнет своей жизнью ради моей?

— Я, кажется, припоминаю, что именно этого ожидал ваш мессия. Однако чего уж тут говорить? Теперь, когда им известно, кто вы на самом деле, они хотят помочь. Смотрите — они дали мне карту. Тут отмечена тропа, довольно крутая и опасная… Хорошо, что у вас есть робосел. Они просили только об одной

услуге: не согласитесь ли вы на обратном пути исповедать их и отслужить мессу? Здесь неподалеку есть пещера, где все вы будете в безопасности.

— Конечно же. Но эти ваши друзья… Они сказали вам про Аквина?

Авраам помолчал некоторое время, потом медленно произнес:

— Да…

— И что же?

— Поверьте, друг мой, я не знаю. Возможно, это действительно чудо. Оно помогает им хранить веру. Моя собственная вера долгое время жила на чудесах трехтысячелетней давности. Если бы мне самому довелось слышать Аквина…

— Вы не возражаете, если я помолюсь за вас? Я имею в виду католическую молитву…

— Молитесь на здоровье, святой отец, — улыбнулся Авраам.

Забираясь в седло, Фома охал от боли — напоминали о себе еще не зажившие ребра. Робосел терпеливо ждал, пока он найдет по карте нужные координаты и введет их в компьютер. И только когда они отъехали от деревни на довольно значительное расстояние, робосел заговорил:

— Ну теперь тебе точно ничего не угрожает.

— Что ты имеешь в виду?

— Как только мы спустимся в долину сразу разыщи контролера и заложи иудея. С этого дня ты будешь зарегистрирован у них как верный слуга Технархии но из приверженцев твоей веры никто не пострадает.

— Что-то ты сегодня не в ударе, сатана, — фыркнул Фома. — Подобное предложение не искушает меня нисколько. Это просто немыслимо.

— Лучше всего у меня получилось с грудями разве нет. Еще твой Господь сказал: «дух бодр, плоть же немощна».

— А сейчас плоть слаба даже для искушений плоти, — сказал Фома. — Так что ты зря стараешься.

Дальше они двигались вверх по склону молча. Тропа, обозначенная координатами, постоянно сворачивала и петляла очевидно, специально, чтобы запутать любого контролера, которому случится забрести в эту глушь.

Неожиданно робосел свернул и бросился в густой кустарник. Фома оторвался от четок (на пальто, одолженном христианином, который прошел мимо, когда он лежал в канаве) и испуганно вскрикнул.

— Такие заложены координаты, — коротко сообщил ему робосел.

Некоторое время Фома чувствовал себя словно герой детской считалочки, который свалился в заросли куманики и выколол себе оба глаза, но вскоре кустарник остался позади, и они оказались в узкой расселине с влажными каменными стенами, где даже робосел продвигался осторожно, с трудом подыскивая, куда бы ступить.

А потом расселина привела их в пещеру метров десяти диаметром и метра четыре высотой, где на грубом каменном постаменте лежало нетленное тело человека.

Фома сполз с седла, застонав, когда ребра отозвались острой болью, но сразу же упал на колени и безмолвно возблагодарил Господа. Улыбаясь робослу, он искренне надеялся, что пси-фактор поможет тому уловить в его улыбке и сочувствие, и триумф.

Однако спустя несколько секунд, когда Фома приблизился к телу, на его лице отразились сомнения.

— В прежние времена в разбирательствах при канонизации святых всегда участвовал человек, называвшийся «адвокатом дьявола», — сказал Фома не то себе, не то робослу, — ив его обязанности входило всячески подвергать сомнениям любые доводы в пользу святого.

— Ты Фома просто создан для этой роли, — откликнулся робосел.

— Если бы мне выпала такая обязанность, — пробормотал Фома, — я бы первым делом задумался о пещере. Некоторые из них обладают странным свойством предохранять тела от разложения, мумифицируя их и…

Робосел подошел вплотную к постаменту.

— Не волнуйся. Это тело не мумифицировано.

— И это тебе тоже подсказал твой пси-фактор? — спросил с улыбкой Фома.

— Нет, — ответил робосел, — но я покажу тебе почему Аквин не мог мумифицироваться.

Подняв суставчатую переднюю ногу, он с силой ударил копытом по руке Аквина. При виде такого святотатства Фома вскричал от ужаса… затем пристально вгляделся в раздавленную плоть,

Он не увидел ни крови, ни бальзамирующей жидкости, ни посиневших мышц — лишь разорванную тонкую кожу, а под ней сложное переплетение пластиковых трубочек и проволочек.

Молчание тянулось долго. Наконец робосел сказал:

— Ты должен был узнать об этом. Но только ты один.

— И все это время, — слабым голосом произнес Фома, святой, которого я искал, был всего лишь твоей мечтой,

единственным непогрешимым роботом в человеческом обличье.

— Его создатель умер и секрет изготовления был утерян, добавил робосел. — Но мы без сомнения откроем его вновь.

— Все — впустую! — продолжал свое Фома. — Хуже того! Так называемое чудо оказалось творением Технарии!

— Когда Аквин умер, — монотонно говорил робосел, — и умер нужно поставить в кавычки это произошло из-за каких-то механических неполадок. Он не решился на починку из боязни открыть людям свою природу. Но этого не должен знать никто кроме тебя. В своем отчете ты разумеется сообщишь что нашел тело Аквина неповрежденное и нетленное… Это правда и ничего кроме правды, а если это и не вся правда целиком то кому какое дело. Пусть твой непогрешимый друг воспользуется этим сообщением и уверяю тебя он будет благодарен.

— Святой дух, милости прошу и мудрости, — пробормотал Фома.

— Твоя миссия выполнена с успехом и теперь мы вернемся. Церковь вырастет и окрепнет, а твой Бог обретет множество новых верующих чтобы петь святые гимны для его несуществующих ушей.

— Будь ты проклят! — воскликнул Фома. — И обладай ты душой, это было бы самое настоящее проклятье!

— Ты уверен что у меня нет души, — сказал робосел. Вопросительный знак.

— Я знаю, кто ты на самом деле. Ты — воплощение дьявола, бродящего по земле и жаждущего уничтожения рода человеческого! Ты — нечисть, крадущаяся во тьме! Чисто функциональный робот, созданный и запрограммированный, чтобы искусить меня, и лента с данными, в тебя заложенная, это насквозь лживая лента!

— Не искусить, — ответил робосел. — И не уничтожить. Спасти тебя и направить. Наши лучшие вычислители доказали что ты с вероятностью в 51,5 процента станешь в течение следующих двадцати лет папой. Если я смогу научить тебя мудрости и практичности вероятность этого исхода поднимется до 97,2 процента что очень близко к полной уверенности. Разве ты не хочешь видеть церковь такой какой ее мог бы сделать ты. Сообщив о неудаче, ты потеряешь расположение своего друга, который, ты сам признавал, отнюдь не непогрешим в большинстве случаев. Ты лишишься преимуществ контакта с папой и своей позиции которая может со временем принести тебе красную кардинальскую шапочку хотя возможно тебе никогда не доведется носить ее открыто пока существует Технария а после…

— Стоп! — закричал Фома. Его глаза сверкали, а лицо

светилось внутренним огнем, чего до сих пор за ним не отмечал даже пси фактор. — Все наоборот! Разве ты не понимаешь? Это триумф! Блестящее завершение поисков!

Робосел провел суставчатой ногой по искалеченной руке Аквина.

— Это. Вопросительный знак.

— Именно. Это твоя мечта. Твой идеал совершенства. И что же из него вышло? Этот совершенно логичный мозг универсальный мозг в отличие от твоего, специализированного — знал, что он создан человеком, а его логические построения привели к вере в то, что человек создан Богом. И он осознал свой долг перед его творцом, человеком, и перед творцом человека. Богом. Этот долг — обращать людей в веру к вящей славе Господней. И он обращал — чистой силой своего совершенного разума… Теперь я понимаю, откуда пошло имя Аквин. Мы знали святого Фому Аквинского, безупречного логиста нашей церкви. Его писания утеряны, но они наверняка существуют где-то, и мы еще сможем найти хотя бы один экземпляр. Мы сможем обучить нашу молодежь, чтобы она развила его учения дальше. Слишком долго мы полагались только на веру, но время одной веры прошло. Мы должны призвать на помощь логику, разум, и Аквин показал нам, что совершенный разум может привести только к Богу!

— Тогда тем более необходимо увеличить твои шансы на папство ибо только так ты сумеешь реализовать эту программу. Садись в седло и мы отправимся назад, а по дороге я научу тебя кое-каким приемам которые помогут тебе увеличить шансы…

— Нет, — сказал Фома. — Я не святой Павел, я не настолько силен. Он мог позволить себе хвалиться своими немощами и ликовать, когда ему был дан ангел сатаны, чтобы удручать его. Но не я. Я лучше помолюсь Спасителю. Не введи в искушение… Я ведь немного себя знаю. Слаб я и полон сомнений, а ты очень хитер. Уходи. Я сам найду дорогу назад.

— Ты не здоров. У тебя сломаны ребра и тебе больно. Ты никогда не доберешься назад сам тебе нужна моя помощь. Если хочешь можешь приказать мне замолчать. Для церкви крайне важно чтобы ты вернулся к папе со своим сообщением ты не можешь ставить себя выше церкви.

— Прочь! — выкрикнул Фома. — Отправляйся назад к своему Никодиму… или Иуде! Это приказ! Повинуйся!

— Неужели ты в самом деле думаешь что я запрограммирован подчиняться твоим приказам. Я подожду в деревне доберись хотя бы туда и ты возликуешь едва только увидев меня.

Ноги робосла зацокали по каменному проходу. Вскоре эти звуки растаяли вдали, и Фома упал на колени перед телом существа, которого в мыслях он уже называл святым Аквином-Роботом.

Сломанные ребра болели невыносимо. Пробираться к деревне в одиночку будет, конечно, ужасно…

Молитвы Фомы возносились к небу, словно облака благовоний, и были они столь же бесформенны. Но сквозь все его мысли пробивался крик отца бесноватого юноши в Филиппах: «Верую, Господи! Помоги моему неверию».

Фредерик Пол
Туннель под миром

I

Утром 15 июня Гай Буркхардт проснулся от собственного крика.

Никогда в жизни он не видел такого реального сна. В его ушах все еще стоял гулкий грохот взрыва, раздавался скрежет раздираемого металла; он всем своим существом ощущал волну палящего жара, мощный толчок, вышвырнувший его из постели.

Судорожно приподнявшись, он стал осматриваться и не поверил своим глазам, увидев тихую комнату и яркий солнечный свет, льющийся в окно.

Он прохрипел:

— Мэри?

Жены рядом с ним не было. Одеяла валялись смятые и откинутые в сторону, как будто она только что встала. Воспоминание о сне было так отчетливо, что Буркхардт невольно взглянул на пол, желая убедиться, не упала ли она с кровати из-за взрыва.

Но жены и там не было. Разумеется, ее нет, сказал он себе, глядя на знакомый туалетный стол и низкое кресло, на окно с целыми стеклами, на стену без трещин. Все это ему только померещилось.

— Гай? — тревожно позвала жена с нижней площадки лестницы. — Гай, дорогой, ты здоров?

Слабым голосом он ответил:

— Конечно.

Наступила пауза. Потом Мэри сказала:

— Завтрак готов. Ты уверен, что с тобой все в порядке? Мне послышалось, ты кричал… — В ее голосе прозвучало сомнение.

Буркхардт заметил уже увереннее:

— Мне приснился плохой сон, милая. Сейчас спущусь.

Стоя под душем и обливаясь своей излюбленной тепловатой водой с одеколоном, он думал, что это был чертовски плохой сон. Впрочем, страшные сновидения теперь нередки, в особенности сновидения о взрывах. Кому не снились взрывы за последние тридцать лет всеобщего страха перед водородной бомбой?

Как выяснилось, дурной сон приснился и Мэри; едва он начал рассказывать ей о своем ночном кошмаре, как она удивленно перебила его:

— И тебе это снилось? Подумай, дорогой, ведь и мне приснилось то же самое! Ну, почти то же самое. Слышать я ничего не слышала, но мне снилось, будто что-то будит меня, потом раздался какой-то грохот и меня ударило по голове. Вот и все.

Неужели и тебе привиделось что-то в этом роде?

Буркхардт кашлянул.

— Ну, не совсем, — сказал он.

Мэри не принадлежала к числу женщин, сильных, как мужчины, и смелых, как тигры. Незачем рассказывать ей сон во всех подробностях, сделавших его таким реальным, подумал он. Не стоит упоминать ни о сломанных ребрах, ни о соленых пузырях в горле, ни о мучительном сознании, что это смерть.

— А вдруг и в самом деле произошел какой-то взрыв в центре города? — сказал он. — Может, мы его слышали, оттого нам и приснился такой сон.

Мэри с отсутствующим видом погладила мужа по плечу.

— Возможно, — согласилась она. — Уже почти половина девятого, дорогой. Не следует ли тебе поторопиться? Ты же опоздаешь в контору.

Буркхардт наскоро проглотил завтрак, поцеловал жену и выбежал из дому; он спешил не затем, чтобы вовремя успеть на работу, — ему хотелось поскорее выяснить, правильно ли его предположение.

Но деловой центр Тайлертона ничуть не изменился. Сидя в автобусе, Буркхардт внимательно смотрел в окно, ища следы взрыва. Их не было. Напротив, Тайлертон казался лучше, чем когда-либо прежде: стоял прекрасный, бодрящий день, небо было безоблачное, дома — опрятные и привлекательные. Он заметил, что здание Энергетического треста, единственный небоскреб в городе, было промыто паром… Какое наказание, что на окраине города построили главный завод фирмы «Контрокемиклс», — ведь дым каскадных перегонных установок оставляет на каменных домах грязные пятна.

Ни одного из знакомых пассажиров в автобусе не оказалось, так что Буркхардту не у кого было спросить о взрыве. И к тому времени, когда он сошел на углу Пятой авеню и Лихай-стрит, а автобус, протяжно взвыв, покатил дальше, он уже почти убедил себя, что все это было не больше, чем игра воображения.

Он остановился в вестибюле здания, где помещалась его контора, у табачного киоска, но Ралфа за прилавком не было. Вместо него стоял незнакомый человек.

— А где мистер Стеббинз? — спросил Буркхардт.

Продавец вежливо ответил:

— Болен, сэр. Он будет завтра. Вам пачку Марлин?

— Честерфилд, — поправил Буркхардт.

— Ах, да, сэр, — сказал продавец. Но он снял с полки и протянул через прилавок незнакомую желто-зеленую пачку.

— Попробуйте эти, сэр, они содержат особое вещество против

кашля, — предложил он. — Вы не замечали, что от обычных сигарет вас иногда начинает душить кашель?

Буркхардт недоверчиво сказал:

— Я никогда не слышал об этой марке.

— И не удивительно. Это нечто новое.

Буркхардт колебался, и продавец принялся убеждать:

— Знаете что, попробуйте их на мой страх и риск. Если они вам не понравятся, принесите назад пустую пачку, и я вам верну деньги. Идет?

Буркхардт пожал плечами.

— Так я, конечно, не прогадаю. Но дайте мне и пачку Честерфилд.

Он распечатал пачку и в ожидании лифта закурил сигарету. Вовсе недурные, решил он, хотя относился подозрительно к сигаретам, которые подверглись химической обработке. Однако Буркхардт остался невысокого мнения о заместителе Ралфа. Черт знает во что превратится торговля, если продавец будет такими методами навязывать товар.

Дверь лифта распахнулась с низким мелодичным звуком. В кабину вместе с Буркхардтом вошли еще несколько человек, и он кивнул им. Когда дверь закрылась, звук оборвался и громкоговоритель на потолке начал обычную рекламную передачу.

Нет, не обычную, внезапно подумал Буркхардт. Он слышал так много рекламных передач, что его ухо почти не воспринимало их, но сейчас объявления, которые передавал местный радиоузел, привлекли его внимание. И дело было не только в том, что большей части рекламируемых товаров он не знал, изменился самый стиль рекламы.

Передавали рифмованную чепуху в назойливом, скачущем ритме; расхваливали безалкогольные напитки, которых Буркхардт никогда не пробовал. После этого, быстро перебивая друг друга, затараторили два мальчика лет по десяти, расхваливая какие-то конфеты, а затем властно вмешался громыхающий бас:

— Немедленно купите восхитительный Чоко-байт! Съешьте ваш вкусный Чоко-байт до последней крошки! Покупайте Чоко-байт!

Затем послышался капризный женский голос:

— Я хочу холодильник Фекл! Я готова на все, чтобы приобрести холодильник Фекл!

Буркхардт доехал до своего этажа и вышел из лифта, не дослушав последней передачи, которая заронила в его душу какое-то беспокойство. В рекламе упоминались неизвестные ему товары, она не давала ощущения чего-то привычного, знакомого.

К счастью, в конторе все было нормально — если не считать отсутствия мистера Барта. Мисс Миткин, зевавшая за своим столом в приемной, точно не знала, почему он не пришел.

— Звонили из дому, вот и все. Завтра он будет.

— Может быть, он пошел на завод? Это рядом с его домом.

— Возможно, — сказала она безразличным тоном.

Вдруг Буркхардта осенило:

— Ведь сегодня 15 июня! День подачи квартальной налоговой декларации… Он должен подписать декларацию!

Мисс Миткин пожала плечами, давая понять, что это не ее забота, и тут же занялась своими ногтями. Сильно раздраженный, Буркхардт прошел к своему столу. Конечно, он мог бы подписать налоговую декларацию с таким же успехом, как и Барт, но это не входит в его обязанности. Отвечать за это должен Барт, как управляющий городской конторой «Контрокемиклс».

Он решил было позвонить Барту домой или попытаться поймать его на заводе, но тут же отказался от этой мысли. В сущности, его не слишком интересовал заводской персонал, и чем меньше он будет иметь с ним дела, тем лучше. Однажды он пошел с Бартом на завод; это посещение смутило и, пожалуй, даже устрашило его. Кроме горсточки администраторов и инженеров, на заводе не было ни души… Вернее, ни единой живой души, только машины, поправил себя Буркхардт, вспоминая, что рассказывал ему Барт.

По словам Барта, каждой машиной управляло что-то вроде счетно-решающего устройства, которое в своем электронном мозгу воспроизводило подлинную память и ум человеческого существа. Думать об этом было неприятно. Барт, смеясь, заверял его, что промыслом Франкенштейна они не занимаются — кладбищ не обкрадывают и не вставляют в машины мозги мертвецов. Дело сводится лишь к тому, говорил он, что привычные человеческие реакции переносятся из клеток головного мозга в ячейки электронной памяти. Людям это не вредит, а машина не превращается в чудовище.

И все же Буркхардту было не по себе. Отбросив мысли о Барте, о заводе и остальных мелочах, он взялся за налоговую декларацию и до полудня проверял цифры. Барт, пользуясь своим регистрационным журналом, мог бы проделать все это за десять минут, думал он с досадой.

Буркхардт запечатал декларацию и вышел к мисс Миткин.

— Так как мистера Барта сегодня нет, нам придется завтракать по очереди, — сказал он. — Вы можете идти первая.

— Спасибо. — Мисс Миткин не торопясь вынула сумочку из ящика стола и принялась наводить красоту.

Буркхардт протянул ей конверт.

— Будьте добры, опустите в почтовый ящик. Впрочем, подождите минутку. Не позвонить ли для очистки совести мистеру Барту? Его жена не говорила, может ли он подойти к телефону?

— Нет, не говорила. — Мисс Миткин тщательно стирала губную помаду клинексом. — Кстати, это была не жена. По его поручению звонила дочь.

— Эта девочка? — Буркхардт нахмурился. — Я думал, что она в школе и ее нет в городе.

— Звонила она, это все, что я знаю.

Буркхардт вернулся к себе и с неприязнью уставился на нераспечатанную почту, лежавшую у него на столе. Он терпеть не мог ночных кошмаров и после них целый день чувствовал себя выбитым из колеи. Уж лучше было остаться в постели, как Барт.

По дороге домой с Буркхардтом случилась забавная история. На углу, где он обычно садился в автобус, произошла сумятица: там кто-то таким истошным голосом расхваливал новый способ глубокого замораживания, что Буркхардт невольно прошел лишний квартал. Подходя к следующей остановке, он увидел, как приближается его автобус, и побежал. Но тут кто-то окликнул Буркхардта. Он оглянулся: к нему спешил низенький человечек, казавшийся очень озабоченным.

Буркхардт не сразу узнал его. Это был случайный знакомый, по фамилии Свансон. Пока Буркхардт раздумывал, автобус успел отойти.

— Алло! — крикнул он с досадой.

Лицо Свансона выражало отчаянную решимость.

— Буркхардт? — робко спросил он с какой-то странной напряженностью и застыл на месте, глядя на него в упор то ли с затаенной надеждой, то ли с сожалением. Он что-то ищет, кого-то ждет, подумал Буркхардт. Но что он от меня хочет и как ему помочь?

Буркхардт кашлянул и повторил:

— Алло, Свансон.

Свансон не ответил. Он только глубоко вздохнул.

— Ничего не поделаешь, — пробормотал он, видимо, продолжая думать о своем.

Он рассеянно поклонился Буркхардту и пошел дальше.

Буркхардт смотрел, как опущенные плечи Свансона исчезают в толпе. Что за странный день сегодня, подумал он. Все идет как-то не так.

Когда он ехал домой следующим автобусом, то не переставал думать об этом. Ничего ужасного или катастрофического, и все-

таки что-то необычное. Как и все, вы живете своей жизнью, и у вас создается какая-то система впечатлений и реакций. Вы знаете, что должно произойти. Когда вы открываете свою аптечку, то знаете, что ваша бритва лежит на второй полке; запирая входную дверь, вы знаете, что ее надо слегка подтянуть и тогда замок щелкнет.

Не безотказно действующие, исправные вещи вносят привычность в вашу жизнь, а лишь те, что не совсем в порядке, заедающий замок, выключатель на верхней площадке лестницы, на который надо покрепче нажимать, так как пружина в нем ослабла, половик у двери, вечно подворачивающийся под ногами.

Нельзя сказать, что случилось неладное в жизни Буркхардта; неладное происходило вокруг. К примеру, Барт не пришел сегодня в контору, хотя он всегда приходил.

Буркхардт думал об этом и за обедом. Он думал об этом весь вечер, несмотря на попытки жены соблазнить его партией в бридж с соседями. Соседи — Эн и Ферли Деннерман — ему нравились. Он знал их еще детьми. Но и они весь вечер были какие-то странные и задумчивые, и ему пришлось терпеливо слушать жалобы Деннермана на плохую работу телефонной станции и замечания его жены по поводу отвратительной телевизионной рекламы, которой пичкали зрителя с утра до ночи.

Буркхардт уже собрался было поставить мировой рекорд по продолжительности размышлений, как вдруг около полуночи, когда он уже лежал в постели, внезапно — он сам был поражен, хотя в то же время странным образом уверен, что это должно случиться, — он повернулся на другой бок и заснул непробудным сном.

II

Утром 15 июня Буркхардт проснулся от собственного крика. Никогда в жизни он не видел такого реального сновидения. В ушах его все еще гудел грохот взрыва, он всем своим существом ощущал взрывную волну, вдавившую его в стену. Казалось странным, что он сидит у себя в постели и в комнате ничего не изменилось.

Жена тяжело поднималась по лестнице.

— Дорогой! — крикнула она. — Что случилось?

Он пробормотал:

— Ничего. Плохой сон.

Прижав руки к сердцу, она перевела дух.

— Ты ведь так испугал меня… — начала она сердито.

Но шум на улице заглушил ее слова. Раздался вой сирен и звон колоколов; звуки были ужасающе громкие.

Буркхардты посмотрели друг на друга и в испуге бросились к окну.

Вместо грохочущих пожарных машин они увидели только маленький грузовик, медленно двигавшийся вдоль самого края тротуара. На крыше его кабины были установлены яркие рупоры. Из них несся пронзительный вой сирен, он становился все сильнее и смешивался с шумом мощных моторов и звоном колоколов. Это была прекрасная магнитофонная запись прибытия пожарных машин, вызванных по сигналу общей тревоги.

Буркхардт удивленно воскликнул:

— Мэри, но это противозаконно. Ты знаешь, что они делают? Они проигрывают запись пожара. Что они выдумали?

— Может быть, это просто шутка, — предположила жена.

— Шутка? Разбудить целый квартал в шесть часов утра? — Он покачал головой. — Через десять минут здесь будет полиция. Вот увидишь.

Но полиция так и не появилась. Кем бы ни были шутники в автомашине, полиция, по-видимому, разрешила им так развлекаться.

Грузовик остановился посреди квартала, и его рупоры несколько минут молчали. Затем в них послышался треск и оглушительный голос запел:

— Холодильник Фекл!

Холодильник Фекл!

Покупайте

Холодильник Фекл!

Фекл, Фекл, Фекл,

Фекл, Фекл, Фекл…

Это повторялось снова и снова. Из окон соседних домов стали высовываться головы.

Пытаясь перекрыть доносившийся с улицы рев, Буркхардт крикнул:

— Что это за чертов холодильник Фекл?

— Вероятно, какой-нибудь новый тип холодильника! — не слишком вразумительно прокричала в ответ Мэри.

Внезапно шум прекратился. Тихое, туманное утро, косые солнечные лучи, скользящие по верхушкам крыш, — трудно было поверить, что умолкшие рупоры еще секунду назад могли так невыносимо орать.

— Сумасшедший рекламный трюк, — злобно сказал Буркхардт. Он зевнул и отвернулся от окна. — Можно, пожалуй, одеваться. Я думаю, это конец.

Рев налетел на него сзади; это было похоже на сильный удар по ушам. Резкий, насмешливый голос громыхал мощнее, чем труба архангела.

— Вы купили холодильник? Он воняет! Если это не холодильник Фекл, он воняет! Только холодильник Фекл вы пуска этого года хорош во всех отношениях! Вы знаете, кто покупает холодильники Аякс? Холодильники Аякс по купают проститутки! Вы знаете, кто покупает холодильники Тройной Холод? Холодильники Тройной Холод покупают коммивояжеры! Всякий холодильник, кроме холодильника Фекл последнего выпуска, воняет!

Голос продолжал яростно выкрикивать:

— Я предупредил вас! Немедленно купите холодильник

Фекл! Спешите! Спешите купить

Фекл! Спешите купить Фекл! Спешите, спешите, спешите!

Фекл, Фекл, Фекл, Фекл, Фекл, Фекл…

Наконец голос умолк. Буркхардт облизнул губы. Он успел только сказать: «Может быть, надо все же вызвать полицию…», как вдруг громкоговорители снова взорвались. Они захватили его врасплох — так и было рассчитано, чтобы захватить его врасплох. Они ревели:

— Фекл, Фекл, Фекл, Фекл, Фекл, Фекл, Фекл, Фекл, Фекл. Дешевые холодильники портят продукты! Вы заболеете, и вас будет рвать. Вы заболеете и умрете! Покупайте Фекл, Фекл, Фекл, Фекл! Достаньте-ка из вашего холодильника кусок мяса и убедитесь: оно протухло и заплесневело! Покупайте Фекл, Фекл, Фекл, Фекл, Фекл! Если вы не хотите питаться всякой гнилью, немедленно купите Фекл, Фекл, Фекл…

Это было уже слишком. Попадая пальцами не в те дырочки,

Буркхардт в конце концов с трудом набрал номер местного полицейского участка. Телефон был занят, — очевидно, не ему одному пришлось в голову позвонить в полицию, — и, пока он трясущейся рукой снова набирал номер, шум на улице прекратился.

Он выглянул в окно. Грузовик уехал.

Буркхардт ослабил галстук и заказал официантке еще один Фрости-Флип. Если бы только в кафе «Кристалл» не было так жарко! Новая роспись — блеклые красные мазки и ослепительно яркие желтые — была просто отвратительна; а тут еще кто-то, должно быть, вообразил, что сейчас не июнь, а январь: в помещении было на добрых десять градусов теплее, чем на улице.

Он выпил Фрости-Флип двумя глотками. У напитка был какой-то необычный вкус, — впрочем, неплохой, отметил Буркхардт. И он действительно освежает, официант был прав. Буркхардт подумал, что надо захватить с собой этикетки: Мэри они могут понравиться. Ее всегда интересовало новое.

Он неуклюже встал, но в это время через зал к нему направилась девушка. Такой красавицы он в Тайлертоне никогда не видел. Ростом ему до подбородка, светлые, медового оттенка волосы и фигура, какой… одним словом, все у нее свое. Можно было не сомневаться, что, кроме облегающего платья, на ней ничего нет.

Когда она здоровалась с ним, он почувствовал, что краснеет.

— Мистер Буркхардт. — Голос напоминал отдаленные звуки там-тама. — Это замечательно с вашей стороны, что вы дали мне возможность повидать вас после сегодняшнего утра.

Он откашлялся.

— Вовсе нет. Не присядете ли вы, мисс…

— Эприл Хорн, — прошептала она, садясь рядом с ним, а не по другую сторону стола, куда он указывал. — Называйте меня Эприл, хорошо?

Какой-то частью своего сознания, которая еще продолжала функционировать, Буркхардт отметил, что от нее исходит аромат духов. Ему казалось неестественным, что она употребляет духи. Вздрогнув, он пришел в себя и понял, что официант удаляется с заказом — filets mignon[1] на двоих.

— Эй, эй! — запротестовал он.

— Пожалуйста, мистер Буркхардт. — Ее плечо прижималось к его плечу, лицо было обращено к нему, он чувствовал на себе ее теплое дыхание, выражение ее лица было нежным и заискивающим. — Это все за счет компании Фекл. Пожалуйста, разрешите ей… Это самое меньшее, что они могут сделать.

Он почувствовал, что она сунула руку в его карман.

— Я положила деньги для уплаты по счету, — с видом заговорщицы прошептала она. — Пожалуйста, сделайте это для меня, вы сделаете? Я хочу сказать, что буду признательна, если вы заплатите официанту… У меня старомодные взгляды на этот счет.

Она умильно улыбнулась, затем стала притворно деловитой.

— Но вы должны взять деньги, — настаивала она. — Если вы их возьмете, все равно Фекл слишком легко от вас отделается! Вы можете подать на них в суд за каждый пятицентовик, который они заработали, нарушив ваш сон.

Несколько ошеломленный, словно только что на его глазах в цилиндре фокусника исчез кролик, он сказал:

— Ну, это, в сущности, было не так уж плохо, Эприл. Немножко шумно, может быть, но…

— О, мистер Буркхардт! — Ее широко открытые голубые глаза сияли восхищением. — Я знала, что вы поймете. Все дело в том… это такой замечательный холодильник, что кое-кто из линейного персонала немного перестарался. Лишь только в главной конторе стало известно, что произошло, во все дома вашего квартала были посланы представители, чтобы извиниться. Ваша жена сказала нам, куда мы можем вам позвонить… И я так рада, что вы разрешили мне позавтракать с вами и я тоже могу извиниться. Ведь на самом деле, мистер Буркхардт, это прекрасный холодильник. Я не стала бы вам говорить это, но… — Голубые глаза застенчиво опустились, — я готова почти на все ради холодильника Фекл. Для меня это больше чем работа. — Эприл подняла глаза. Она была очаровательна. — Держу пари, вы думаете, что я глупенькая, не так ли?

Буркхардт закашлялся.

— Ну, я…

— О, вы не хотите быть невежливым… — Она покачала головой. — Нет, нет, не притворяйтесь. Вы думаете, что это глупо. Но в самом деле, мистер Буркхардт, вы не стали бы так думать, если бы знали побольше о холодильнике Фекл. Разрешите, я покажу вам этот проспект…

Буркхардт вернулся после завтрака с опозданием па целый час. Его задержала не только девушка. Произошла еще забавная встреча с маленьким человечком по фамилии Свансон, которого он едва знал; тот остановил его на улице, проявив крайнюю назойливость, а затем холодно расстался с ним, так и не сказав ни слова.

Впрочем, все это пустяки. А вот то, что мистер Барт отсутствовал весь день впервые с тех пор, как Буркхардт начал

работать здесь, предоставив ему возиться с квартальными налоговыми декларациями, — это было неприятно. И еще неприятнее было то, что он почему-то подписал заказ на холодильник Фекл: вертикальная, саморазмораживающаяся модель, емкость 324 литра, 625 долларов по прейскуранту, десять процентов скидки «в порядке любезности». «Из-за этой ужасной утренней истории, мистер Буркхардт», — сказала девушка.

И он не знал, как объяснить жене свою покупку.

Он зря беспокоился; едва он вошел в квартиру, жена сказала:

— Неужели, дорогой мой, мы не можем позволить себе приобрести новый холодильник? Приходил сюда человек извиняться по поводу того шума и… что же, мы разговорились, и…

Она тоже подписала заказ.

Чертовски неудачный день, подумал Буркхардт, поднимаясь вечером к себе в спальню. Но день еще не рассчитался с ним. Выключатель на верхней площадке лестницы полностью отказал. Буркхардт раздраженно защелкал, и, разумеется, крышка соскочила. Произошло короткое замыкание, и свет во всем доме погас.

— Проклятие! — сказал Гай Буркхардт.

— Пробка? — сонным голосом спросила жена. — Не трогай до утра, дорогой.

Буркхардт покачал головой.

— Ложись в постель. Я сейчас починю.

Ему не так уж хотелось поскорее заменить пробку, — просто он был слишком взволнован и знал, что все равно сразу не заснет. Отвинтив шурупы, он снял испорченный выключатель, спотыкаясь, сошел вниз в темную кухню, отыскал электрический фонарик и осторожно спустился по лестнице в подвал. Установив, какая пробка перегорела, он придвинул к щитку пустой сундук, стал на него и вывернул старую пробку.

Когда новая пробка была поставлена, он услышал, как холодильник у него над головой сначала защелкал, а затем ровно загудел.

Он направился обратно к лестнице и в удивлении остановился. Там, где раньше стоял сундук, пол подвала как-то странно блестел. Он осмотрел его при свете фонарика. Пол был металлический!

— Что за чертовщина, — произнес Гай Буркхардт, недоуменно покачав головой. Он стал тщательно всматриваться, провел по краям металлического пятна большим пальцем и больно порезался: края были острые.

Крашеный цементный пол подвала был лишь топкой

оболочкой. Буркхардт отыскал молоток и отбил в десятке мест — повсюду внизу был металл.

Весь подвал представлял собой медную коробку! Даже цементированные кирпичные стены были лишь обманчивым фасадом, за которым скрывались металлические поверхности!

Сбитый с толку, Буркхардт принялся за одну из балок фундамента. Это по крайней мере было настоящее дерево. И стекло в окнах подвала было настоящим.

Он пососал кровоточащий палец и пощупал нижнюю ступеньку подвальной лестницы. Настоящее дерево. Он отбил кусочек кирпича. Настоящие кирпичи. Но стены и пол были фальшивые.

Можно было подумать, что кто-то подвел под дом металлическую раму, а потом тщательно замаскировал ее.

Больше всего его удивил перевернутый вверх дном корпус лодки, загораживающий заднюю часть подвала, — память о кратковременном увлечении домашней мастерской, которое было у Буркхардта несколько лет назад. Сверху корпус казался совершенно нормальным, но внутри, там, где полагалось быть сиденьям и настилу, виднелся лишь спутанный клубок креплений, грубых и неотделанных.

— Но ведь я построил ее! — воскликнул Буркхардт, позабыв о своем пальце.

Превозмогая головокружение, он прислонился к корпусу лодки и постарался все хорошенько обдумать. По причинам, недоступным его пониманию, кто-то унес и лодку, и подвал, а быть может, и весь дом и заменил их искусными макетами.

— Это безумие, — сказал он пустому подвалу. Потом, посветив фонариком, огляделся и прошептал: — Боже мой, чего ради кому-то понадобилось все это сделать?

Он не находил ответа; никакого разумного ответа и нельзя было найти. Несколько минут Буркхардт размышлял, уж не сошел ли он с ума.

Гай еще раз заглянул под лодку, надеясь, что ошибся, что это всего лишь плод воображения. Но неряшливые, неотделанные крепления были на прежнем месте. Чтобы лучше видеть, он подлез под лодку, недоверчиво ощупывая шероховатое дерево. Совершенно невероятно!

Он погасил фонарик и хотел уже выбраться из подвала, как вдруг почувствовал непреодолимую усталость.

Сознание выключилось — не с легкостью, а так, словно кто-то подавил его. И Гай Буркхардт заснул.

III

Утром 16 июня Гай Буркхардт проснулся у себя в подвале, под корпусом лодки, в самой неудобной позе.

Первым делом он с лихорадочной поспешностью еще раз осмотрел корпус лодки, фальшивый пол подвала, поддельный камень. Все было таким, как запомнилось ему с вечера, — совершенно невероятным.

Кухня оставалась спокойным, мирным царством. Электрические часы размеренно мурлыкали, отмечая движение своих стрелок по циферблату. Скоро шесть, говорили они. Жена вот-вот проснется.

Буркхардт распахнул входную дверь и внимательно осмотрел тихую улицу. На лестнице валялась утренняя газета; подняв ее, он увидел, что она от 15 июня,

Но ведь это невозможно. 15 июня было вчера. Такую дату нельзя забыть — это день квартальных налоговых деклараций.

Он вернулся в прихожую, снял телефонную трубку и, набрав номер информации о погоде, услышал хорошо поставленный голос: «…и похолодание, временами ливни. Атмосферное давление 751 миллиметр, барометр идет на повышение… По сведениям Бюро погоды Соединенных Штатов, 15 июня ожидается теплая и солнечная погода, максимальная температура около…»

Он повесил трубку. 15 июня!..

«Боже милостивый!» — воскликнул Буркхардт. Творилось действительно что-то немыслимое. Он услышал звон будильника и быстро поднялся по лестнице.

С испуганным, растерянным видом человека, только что пробудившегося от кошмара, Мэри Буркхардт сидела в постели.

— О, дорогой, — задыхаясь, сказала она, — мне приснился ужасный сон, такой ужасный! Как будто был взрыв и…

— Опять? — неодобрительно спросил Буркхардт. — Мэри, происходит что-то неладное! Я знаю, что вчера целый день творилось нечто странное…

Он стал рассказывать ей о медной обшивке подвала и о макете, заменившем его лодку. Мэри сначала удивилась, потом встревожилась. Ей стало не по себе.

— Дорогой, ты уверен? Ведь на прошлой неделе я вытирала пыль с этого старого сундука и ничего не заметила.

— Абсолютно уверен! — заявил Гай. — Я подтащил сундук к стене, чтобы стать на него и ввернуть новую пробку, после того как у нас погас свет, и…

— После чего? — Вид у Мэри стал еще тревожнее.

— После того как у нас погас свет. Ты же знаешь, когда выключатель наверху закапризничал, я спустился в подвал и…

Мэри подскочила в кровати.

— Гай, выключатель не капризничал. Вчера ночью я сама погасила свет.

Буркхардт уставился на жену.

— Но нет же, я знаю, что ты не гасила! Иди сюда и посмотри!

Он вышел на площадку лестницы и драматическим жестом указал на испорченный выключатель, тот, который он отвинтил накануне вечером и оставил висеть… Но никакого испорченного выключателя он не увидел. Все было так, как всегда. Не веря своим глазам, Буркхардт нажал кнопку, и свет зажегся в обоих холлах.

Мэри, бледная и озабоченная, покинула мужа и спустилась в кухню приготовить завтрак. Буркхардт долго стоял, не сводя глаз с выключателя. Он отказывался чему-либо верить, был в полной растерянности, мозги у него попросту не работали.

Буркхардт побрился, оделся и позавтракал в том же состоянии отупения. Он как бы смотрел на себя со стороны. Мэри была предупредительна и всячески старалась его успокоить. Она поцеловала его на прощание, перед тем как он, так и не сказав ни слова, выбежал из дома, торопясь на автобус.

Мисс Миткин, сидевшая в приемной, поздоровалась с ним, зевая.

— Доброе утро, — сонным голосом произнесла она. — Мистер Барт сегодня не придет.

Буркхардт хотел что-то сказать, но удержался. По-видимому, она не знала, что Барта не было и вчера, так как оторвала листок календаря с датой 14 июня, оставив листок с «новой» датой — 15 июня.

Нетвердой походкой Буркхардт прошел к своему столу и невидящими глазами уставился на утреннюю почту. Она была еще не вскрыта, но он знал, что в конверте из Отдела распределения находится заказ на две тысячи кубических метров звукопоглощающей черепицы, а в конверте от «Файнбек и сыновья» рекламация.

Лишь много времени спустя он заставил себя распечатать письма. В них оказалось то, что он предполагал.

Когда наступил час завтрака, Буркхардт, движимый каким-то предчувствием, предоставил мисс Миткин пойти первой. Она ушла, слегка обеспокоенная его неестественной настойчивостью. Зазвонил телефон, и Буркхардт с отсутствующим видом снял трубку,

— Городская контора «Контрокемиклс», говорит Буркхардт.

Голос в трубке ответил: «Это Свансон» — и умолк.

Буркхардт напряженно ждал, но телефон молчал.

— Алло?

Снова молчание. Затем Свансон печально спросил:

— Все еще ничего, а?

— Что ничего? Свансон, вам что-нибудь надо? Вчера вы подошли ко мне и проделали то же самое. Вы…

Голос хрипло прошептал:

— Буркхардт! О боже мой, вы помните! Оставайтесь на месте… Я буду через полчаса!

— О чем это вы?

— Неважно, — радостно заявил маленький человечек. — Расскажу вам обо всем при встрече. Ничего больше не говорите по телефону, — возможно, кто-нибудь подслушивает. Просто ждите меня на месте. Погодите минуту. Вы будете один в конторе?

— Скорее всего нет. Мисс Миткин, вероятно…

— Черт возьми! Послушайте, Буркхардт, где вы завтракаете? Как там, достаточно шумно?

— Да, пожалуй, так. Ресторан «Кристалл». Это примерно за квартал от…

— Я знаю, где он. Встречу вас через полчаса!

В трубке щелкнуло.

«Кристалл» уже не был окрашен в красный цвет, но в нем было по-прежнему жарко. По радио теперь передавали музыку вперемежку с рекламой. Рекламировали Фрости-Флип, сигареты Марлин — «они санированы», — промурлыкал диктор, — и конфеты Чоко-байт.

Пока он ждал прихода Свансона, девушка в целлофановой юбке, какие носят продавщицы сигарет в ночных клубах, прошла через ресторан, неся на подносе крошечные, завернутые в алые бумажки конфеты.

— Чоко-байт вкусные, — прошептала девушка, подойдя вплотную к его столику. — Чоко-байт вкуснее всего на свете!

Буркхардт, внимательно высматривавший странного маленького человечка, не обратил внимания на продавщицу. Но, когда она высыпала горсть конфет на соседний столик, улыбаясь сидевшим за ним посетителям, он поймал ее взгляд и подскочил от удивления.

— Как, мисс Хорн! — воскликнул он.

Девушка уронила поднос с конфетами. Буркхардт вскочил.

— Что с вами?

Но она убежала.

Директор ресторана подозрительно посмотрел на Буркхардта, который снова сел на свое место и пытался принять беззаботный

вид. Ведь он не оскорбил девушку! Может быть, подумал он, это просто очень строго воспитанная молодая особа — несмотря на голые ноги под целлофановой юбкой — и стоило ему с ней заговорить, как она решила, что он будет приставать.

Смешная мысль. Буркхардт недовольно нахмурился и взял со стола меню.

— Буркхардт! — раздался настойчивый шепот.

Буркхардт бросил взгляд поверх меню и вздрогнул. На стуле напротив него в напряженной позе сидел маленький человечек по фамилии Свансон.

— Буркхардт! — снова прошептал он. — Уйдемте отсюда! Они уже напали на ваш след. Если хотите остаться в живых, идемте поскорее!

Спорить больше не приходилось. Буркхардт с извиняющимся видом улыбнулся директору и вышел из ресторана вслед за Свансоном. Маленький человечек, казалось, знал, куда идет. На улице он схватил Буркхардта за локоть и торопливо потащил за собой.

— Вы видели ее? — спросил он. — Эту женщину, Хорн? Она в телефонной будке! По ее вызову они будут здесь через пять минут, уж поверьте мне, так что надо торопиться!

На улице было людно, сновали машины, и никто не обращал внимания на Буркхардта и Свансона. В воздухе ощущалась бодрящая свежесть. Похоже больше на октябрь, чем на июнь, подумал Буркхардт, что бы там ни говорило Бюро погоды. И он чувствовал себя дураком, идя за этим сумасшедшим человечком вниз по улице, убегая от «них» неизвестно куда. Человечек, возможно, свихнулся и, несомненно, чего-то боялся. А страх, как известно, заразителен.

— Сюда, — задыхаясь, произнес маленький человечек.

Это был другой ресторан, вернее, закусочная, второразрядное заведение, где Буркхардт никогда не бывал.

— Прямо через зал, — прошептал Свансон, и Буркхардт, как послушный мальчик, прошел мимо множества столиков в дальний конец ресторана.

Здание было построено в форме буквы Г, с фасадами на две улицы, под прямым углом друг к другу. У двери Свансон окинул холодным взглядом вопросительно смотревшего на них кассира; они вышли и перебрались на противоположный тротуар.

Теперь они находились под ярко освещенным стеклянным навесом у входа в кинотеатр. Выражение напряженности на лице Свансона исчезло.

— Мы убежали от них! — ликующе прошептал он. — Теперь мы почти у цели.

Он подошел к окошку и купил два билета. Буркхардт поплелся за ним в зал. Это был будничный утренний сеанс при почти пустом зале. С экрана доносились ружейные выстрелы и конский топот. Одинокий билетер, прислонившийся к блестящим латунным перилам, мельком взглянул на них и вновь стал смотреть на экран. Свансон вел Буркхардта вниз по устланным ковровой дорожкой ступеням.

Они очутились в совершенно безлюдном фойе. Там были три двери: «Для мужчин», «Для женщин» и еще одна, на которой золотыми буквами значилось: «Администратор». Свансон прислушался и тихонько приоткрыл последнюю дверь.

— Все в порядке, — сказал он, махнув рукой.

Буркхардт прошел вслед за ним через пустой кабинет к другой двери, вероятно, стенного шкафа, так как на ней не было никакой надписи. Но это оказался не стенной шкаф. Свансон осторожно открыл дверь, заглянул внутрь, затем кивнул Буркхардту, чтобы тот шел за ним.

Это был туннель с металлическими стенами, ярко освещенный, пустой и безлюдный. Он тянулся в обе стороны.

Буркхардт удивленно осматривался. Одно он знал, и знал совершенно точно: никаких туннелей под Тайлертоном не существовало.

Туннель привел их к комнате, где, кроме стульев и письменного стола, было еще что-то вроде телевизионных экранов. Свансон тяжело опустился на стул, с трудом переводя дыхание.

— На некоторое время мы здесь в безопасности, — прохрипел он. — Они теперь редко сюда приходят. А если придут, мы услышим их и успеем спрятаться.

— Кто «они»? — спросил Буркхардт.

Маленький человечек пояснил:

— Марсиане! — голос его при этом осекся, казалось, жизнь покинула его. Затем он продолжал угрюмым тоном: — Я думаю, что это марсиане. Хотя, знаете, не исключено, что вы правы; у меня была уйма времени обдумать все случившееся после того, как они схватили вас. Возможно, это русские.

— Начнем по порядку. Кто и когда меня схватил?

Свансон вздохнул.

— Итак, придется снова пройти через все это. Хорошо. Около двух месяцев тому назад поздно ночью вы постучались в мою дверь. Вы были жестоко избиты… безумно испуганы. Вы попросили меня помочь вам…

— Я?

— Конечно, вы ничего этого не помните. Слушайте, и вам все

станет ясно. Вы несли какую-то околесицу: вас-де схватили и вам угрожали, ваша жена умерла и снова ожила… все в таком духе. Я подумал, что вы сошли с ума. Однако… я ведь всегда относился к вам с большим уважением. Вы просили меня спрятать вас, а у меня, как вы знаете, есть одна темная комната. Она запирается только изнутри. Я сам ставил замок. Итак, мы вошли в нее — вы на этом настояли, — и в полночь, то есть через каких-нибудь пятнадцать — двадцать минут, мы умерли.

— Умерли?

Свансон кивнул.

— Да, оба. Как будто нас оглушили ударом мешка с песком. Послушайте, не повторилось ли это с вами прошлой ночью?

— Пожалуй, да. — Буркхардт нерешительно кивнул головой.

— Ну, конечно. А потом мы вдруг снова проснулись и вы пообещали показать мне нечто забавное; мы вышли на улицу и купили газету. Газета была от 15 июня.

— 15 июня? Но ведь это сегодня! То есть…

— Вот именно, друг мой. Это всегда сегодня!

Потребовалось некоторое время, чтобы обмозговать все это.

Буркхардт с интересом спросил:

— Сколько недель вы прятались в темной комнате?

— Откуда я знаю? Четыре или пять, вероятно. Я потерял счет. И каждый день одно и то же — всегда 15 июня, всегда моя хозяйка, миссис Кифер, подметает крыльцо; всегда одни и те же заголовки в газетах на углу. Становится очень скучно, друг мой.

IV

Это была идея Буркхардта, и Свансон не одобрял ее, но Буркхардт двинулся дальше. Он принадлежал к числу людей, которые всегда двигаются дальше.

— Это опасно, — устало проворчал Свансон. — А вдруг кто-нибудь зайдет? Они увидят нас и…

— Что мы потеряем?

Свансон пожал плечами.

— Это опасно, — повторил он. Но тоже пошел.

Мысль Буркхардта была очень проста. В одном он не сомневался: туннель куда-то ведет. Марсиане или русские, фантастический заговор или галлюцинация сумасшедшего, — что бы ни приключилось с Тайлертоном, какое-то объяснение этому существовало, и искать его следовало в конце туннеля.

Они брели все вперед и, пройдя около двух километров, увидели вдали выход. Им повезло: никто не проходил по туннелю и не заметил их. Свансон сказал, что туннелем, по-видимому, пользуются только в определенные часы.

Всегда 15 июня. Зачем? — спрашивал себя Буркхардт. Неважно, каким образом. Но зачем?

И то, что все засыпали мгновенно, неожиданно… Все как будто в одно время. И то, что никто не помнил, никогда ничего не помнил… Свансон рассказал, как он был обрадован, снова увидев Буркхардта наутро после того, как тот опрометчиво задержался на лишних пять минут перед уходом в темную комнату. Когда Свансон пришел, Буркхардта уже не было. В тот день Свансон увидел его на улице, но Буркхардт ничего не помнил.

Свансон вот уже несколько недель жил как мышь: прятался по ночам в стенном шкафу и, крадучись, выходил днем со слабой надеждой отыскать Буркхардта, боясь попасться им на глаза.

Одной из них была девушка по имени Эприл Хорн. Увидев, как она с беззаботным видом входит в телефонную будку, но никогда не выходит назад, Свансон обнаружил туннель. Другим был продавец табачного киоска в здании, где находилась контора Буркхардта. Были и еще по меньшей мере человек двенадцать, которых Свансон подозревал.

Их было нетрудно заметить, если знать, на кого смотреть, так как только они в Тайлертоне изо дня в день меняли свои роли. Каждое утро каждого дня-который-был-пятнадцатым-июня Буркхардт неизменно садился в автобус, отходивший в 8.51. Но Эприл Хорн то расхаживала по кафе в целлофановой юбке, привлекая к себе всеобщее внимание, то была одета очень просто.

А иногда она вовсе исчезала из поля зрения Свансона.

Русские? Марсиане? Кто бы они ни были, чего они надеялись достичь этим безумным маскарадом?

Ответа Буркхардт не знал… Быть может, разгадка тайны находилась за дверью в конце туннеля. Они внимательно прислушивались к отдаленным звукам; разобраться в них было довольно трудно, но как будто ничего опасного. Буркхардт и Свансон проскользнули в дверь.

Пройдя широкую комнату и поднявшись по лестнице, они очутились, как понял Буркхардт, на заводе «Контрокемиклс».

Людей не было видно, что само по себе не казалось странным; ведь это завод-автомат. Но Буркхардт, побывавший здесь один-единственный раз, помнил, что работа на заводе кипела, открывались и закрывались клапаны, опорожнялись и наполнялись баки, размешивались и варились какие-то жидкости; одновременно производился их химический анализ. На заводе никогда не было много людей, но там не смолкал шум.

А теперь здесь было тихо. Если не считать отдаленных звуков, не было никаких признаков жизни. Плененные электронные мозги не посылали приказов, катушки и реле отдыхали.

— Идемте, — сказал Буркхардт.

Свансон неохотно шел за ним по запутанным переходам, мимо колонн из нержавеющей стали и баков.

Казалось, они идут по кладбищу. Отчасти это так и было, ибо что такое автоматы, некогда управлявшие заводом и вдруг остановившиеся, как не мертвые тела? Работу машин регулировали счетно-решающие устройства, которые на самом деле были вовсе не счетнорешающими устройствами, а электронными подобиями живого мозга. И, если они были выключены, не означало ли это, что они мертвы? Ведь каждое из них когда-то было человеческим мозгом.

Возьмите опытного химика, специалиста по фракционной перегонке нефти, привяжите его ремнями, исследуйте его мозг электронными иглами. Машина подробно изучит структуру мозга, составит таблицы и зафиксирует синусоидальными волнами то, что обнаружит. Направьте эти же самые волны в автоматическое счетно-решающее устройство — и вы воспроизведете вашего химика. Или, если захотите, тысячу копий вашего химика, обладающих всеми его знаниями и умением, но в противоположность человеку ничем не ограниченных в своей деятельности.

Установите десяток копий этого химика на заводе, и они будут управлять всем производством двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю, никогда не уставая, никогда ничего не

упуская и не забывая.

Свансон подошел поближе к Буркхардту.

— Мне страшно, — сказал он.

Теперь они пересекали какое-то закрытое помещение и звуки стали слышнее — не шум машин, а голоса. Буркхардт осторожно подошел к двери и осмелился заглянуть в следующую комнату.

Она была уставлена телевизионными экранами. Перед каждым, — а всего их было около дюжины — сидели двое, мужчина и женщина; они внимательно смотрели на экран и диктовали свои замечания аппарату звукозаписи. Наблюдатели переключались с одной передачи на другую; на всех экранах были разные изображения.

Передачи как будто не были связаны между собой. Сначала показывали магазин, где девушка, одетая, как Эприл Хорн, демонстрировала домашние холодильники. Потом — серию образцов кухонного оборудования. Буркхардт заметил еще что-то, похожее на табачный киоск в здании, где помещалась его контора.

Это было загадочно, и Буркхардт охотно остался бы тут, чтобы во всем разобраться, но место было слишком людное. Кто-нибудь мог посмотреть в их сторону или встать с места и увидеть их.

Они обнаружили еще одну комнату. Она оказалась пустой. Это был большой, роскошный кабинет. Там стоял письменный стол, заваленный бумагами. Буркхардт мельком взглянул на них, потом, привлеченный содержанием какой-то бумажки, стал рассматривать ее внимательнее, все еще не веря своему открытию.

Схватив верхний лист, он прочел его, затем взял следующий, между тем как Свансон лихорадочно рылся в ящиках.

Наконец Буркхардт выругался и швырнул бумаги на стол.

В это время Свансон, продолжавший свои поиски, с восторгом крикнул:

— Смотрите! — И вытащил из стола револьвер. — Он заряжен!

Буркхардт тупо глядел на Свансона, пытаясь уяснить смысл прочитанного. Когда до него дошли слова Свансона, глаза его сверкнули.

— Вот это здорово! — воскликнул он. — Мы возьмем его, Свансон. Мы выйдем отсюда с этим револьвером. И пойдем в полицию! Не к нашим тайлертонским тупицам, а прямо в ФБР. Посмотрите-ка!

Бумага, которую он протянул Свансону, была озаглавлена: «Отчет по обследованному району. Объект: кампания по

рекламированию сигарет Марлин». Текст в основном состоял из столбцов цифр, ничего не говоривших ни Буркхардту, ни Свансону, но в конце было резюме:

«Хотя испытание 47-К3 привлекло почти вдвое больше новых клиентов, чем прежние испытания, его, по-видимому, нельзя применять в широких масштабах из-за постановлений местных муниципалитетов, запрещающих пользоваться грузовиками с громкоговорящими установками.

Результаты испытаний по группе 47-К12 оказались на втором месте, и мы рекомендуем повторно произвести испытания этих средств воздействия, проверив каждую из трех лучших кампаний, с добавлением или без добавления опробованной техники.

Если же клиент не согласен на расходы по дополнительным испытаниям, можно перейти сразу к наиболее совершенным средствам воздействия из серии К12.

Средние значения предсказываемых результатов могут отклоняться от заранее предсказанных не более чем на 0,5 % с вероятностью 80 % и не более чем на 5 % с вероятностью 99 %».

Свансон посмотрел Буркхардту в глаза.

— Я что-то не понимаю, — пожаловался он.

— И не мудрено. Какая-то чушь, но это неоспоримый факт, Свансон, неоспоримый факт. Они не русские и не марсиане. Эти люди — специалисты по рекламе! Каким-то образом, бог знает как, они захватили Тайлертон. Они захватили власть над нами, над всеми нами, над вами и надо мной и еще над двадцатью или тридцатью тысячами человек.

Может быть, они гипнотизируют нас, а может быть, здесь что-то другое, но каким бы способом они этого ни достигли, случилось так, что они дают нам прожить подряд только один день. И с утра до вечера в течение всего проклятого дня нас начиняют рекламой. А потом смотрят, что произошло, и… вымывают этот день из наших мозгов, а назавтра испытывают другую рекламу.

У Свансона отвисла челюсть. Он с трудом закрыл рот, проглотил слюну и решительно сказал:

— Психи!

Буркхардт покачал головой.

— Конечно, это кажется безумием… Но ведь и все, что случилось, — безумие. Как вы иначе объясните? Вы не можете отрицать, что большая часть Тайлертона все снова и снова живет в одном и том же дне. Вы сами убедились. Трудно поверить в такой бред, но мы должны допустить, что все обстоит именно так, — если только мы сами не свихнулись. И стоит лишь предположить, что кому-то известно, каким образом достигнуть

этого, все остальное становится совершенно понятным.

Подумайте, Свансон! Они проверяют все до мельчайшей детали, прежде чем истратить пятицентовик на рекламу! Вы представляете себе, что это означает? Одному богу известно, какими капиталами они ворочают, но я доподлинно знаю, что некоторые фирмы тратят на рекламу до двадцати — тридцати миллионов долларов в год. Умножьте это, скажем, на сотню фирм. Допустим, что каждая из них найдет способ снизить расходы на рекламу всего на десять процентов. Для них это пустяки, поверьте мне!

Но если бы они заранее знали, какой вид рекламы сработает, то могли бы снизить свои расходы наполовину… может быть, и больше чем наполовину. Это дало бы экономию в двести, триста миллионов долларов в год; и, если за опыты над Тайлертоном они заплатят десять или даже двадцать процентов этой суммы, все равно выгода для них будет очень велика, а те, кто захватил Тайлертон, наживут целое состояние.

Свансон облизал губы.

— Вы хотите сказать, — нерешительно начал он, — что мы… как бы это выразиться… что-то вроде подопытных…

Буркхардт нахмурился.

— Пожалуй. — Он немного подумал. — Вы знаете, как врач испытывает, скажем, пенициллин? Он выращивает на желатиновых пластинках колонии бактерий и испытывает на них действие пенициллина, каждый раз несколько изменяя его состав. Так вот, это мы… мы — бактерии, Свансон. Только нас употребляют с большим эффектом. Они могут проводить испытания нашей колонии, используя ее снова и снова.

Свансону было слишком трудно понять суть дела. Он только спросил:

— Что же мы предпримем?

— Мы пойдем в полицию. Они не имеют права обращаться с людьми, как с морскими свинками!

— А как добраться до полиции?

Буркхардт колебался.

— Я думаю… — медленно начал он. — Ну, конечно, мы находимся в кабинете какого-то важного лица. У нас револьвер. Мы просто останемся здесь, пока он не появится. И он сам выведет нас отсюда.

Просто и ясно. Свансон умолк и уселся у стены так, чтобы входящие его не заметили. Буркхардт притаился у самой двери.

Ждать пришлось не так уж долго, примерно с полчаса. Услышав приближающиеся голоса, Буркхардт шепотом успел предупредить об этом Свансона и прижался к стене.

Разговаривали мужчина и женщина. Мужчина говорил:

— …причины, почему вы не могли сообщить по телефону? Вы губите результаты испытаний за целый день. Что, черт возьми, с вами делается, Дженет?

— Простите, мистер Дорчин, — сказала женщина ясным, мелодичным голосом. — Я считала это важным.

Мужчина проворчал:

— Важным! Одна паршивая единица из двадцати одной тысячи.

— Но ведь это же Буркхардт, мистер Дорчин. Опять он. И, судя по тому, при каких обстоятельствах он исчез, кто-то, очевидно, ему помогает.

— Ладно, ладно. Это не имеет значения, Дженет. Во всяком случае, программа по Чоко-байт выполняется с опережением графика. Поскольку вы уже сюда пришли, зайдите в кабинет и заполните ваш рабочий лист. И не тревожьтесь по поводу Буркхардта. Он, наверно, бродит где-то поблизости. Сегодня вечером мы поймаем его и…

Они вошли в комнату. Буркхардт ударом ноги закрыл дверь и поднял револьвер.

— Так вот что вы замышляете, — торжествующе проговорил он.

Буркхардт чувствовал себя вознагражденным за ужасные часы смятения и страха, за смутное ощущение безумия. Подобного удовлетворения он не испытывал никогда в своей жизни. На лице мужчины было такое выражение, о котором Буркхардту приходилось только читать: рот открылся, глаза вылезли из орбит.

У Дорчина отнялся язык. Ему удалось только выдавить из себя вместо вопроса какой-то звук. Женщина была удивлена не меньше. Взглянув на нее, Буркхардт понял, почему ему знаком ее голос. Это была та самая девушка, что представилась ему как Эприл Хорн.

Однако Дорчин быстро овладел собой.

— Это Буркхардт? — резко спросил он.

— Да, — ответила девушка.

Дорчин кивнул.

— Беру свои слова назад. Вы были правы. Эй, вы, Буркхардт! Чего вы хотите?

Свансон крикнул:

— Следите за ним1 Может, у него есть второй револьвер.

— Тогда обыщите его, — распорядился Буркхардт. — Я скажу вам, Дорчин, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы вы пошли с нами в ФБР и объяснили там, как вы умудрились похитить двадцать

тысяч человек.

— Похитить? — фыркнул Дорчин. — Просто смешно. Уберите револьвер… так вы ничего не добьетесь!

Буркхардт с неумолимым видом потряс револьвером, как бы взвешивая его в руке.

— Я думаю, что добьюсь!

Казалось, Дорчин был взбешен и раздосадован, но, как ни странно, он не испугался.

— Проклятие… — проревел он, потом сбавил тон: — Послушайте, вы делаете большую ошибку. Я никого не похищал, поверьте мне!

— Я не верю вам, — резко отпарировал Буркхардт. — Почему я должен верить?

— Но это правда! Даю вам честное слово!

Буркхардт покачал головой.

— Можете давать свое слово ФБР. Там мы все выясним. А теперь — как нам отсюда выбраться?

Дорчин открыл было рот, чтобы возразить, но Буркхардт вскипел:

— Не становитесь на моем пути! Я не задумываясь убью вас! Неужели вы этого не понимаете? Два дня я был в аду, и вы ответите теперь за каждую секунду. Убить вас для меня одно удовольствие, мне нечего терять! Выведите нас отсюда!

Лицо Дорчина вдруг отупело. Казалось, он готов был уже выполнить требование Буркхардта, но белокурая девушка, которую он называл Дженет, стала между ним и револьвером.

— Пожалуйста! — упрашивала она Буркхардта. — Вы не понимаете. Вы не должны стрелять!

— Отойдите в сторону!

— Но, мистер Буркхардт…

Фраза так и осталась неоконченной. Дорчин бросился к двери. Буркхардт поднял револьвер. Девушка пронзительно завизжала и заслонила собой мужчину. Буркхардт нажал спуск. Он целился ниже, чтобы ранить, а не убить. Но его рука дрогнула, и пуля попала ей под ложечку.

Дорчина и след простыл; дверь за ним захлопнулась, слышно было, как он бежит — уже где-то далеко.

Буркхардт отшвырнул револьвер и подскочил к девушке.

Свансон стонал:

— Теперь нас прикончат, Буркхардт. О, зачем вы ото сделали? Мы могли бы выбраться. Мы должны были пойти в полицию. В сущности, нам ничего не стоило выбраться отсюда! Мы…

Буркхардт не слушал. Он опустился на колени около

девушки. Она лежала, вытянувшись на спине, как-то странно раскинув руки. Крови не было, но лежать так, как она лежала, не мог бы ни один живой человек.

И все же она не была мертва.

Она не была мертва, однако Буркхардт, застывший около нее, подумал: «Но она и не живая».

Пульса не было, но вытянутые пальцы рук ритмично подрагивали. Не слышно было дыхания, но раздавался какой-то шипящий свист.

Открытые глаза смотрели на Буркхардта. В них нельзя было прочесть ни страха, ни страдания, в них была только глубокая жалость, более острая, чем жало осы. Ее губы искривились в мимолетной улыбке, и она прошептала:

— Не… беспокойтесь, мистер Буркхардт. Со мной… все в порядке.

Все еще стоя на коленях, Буркхардт откинулся назад, не сводя глаз с девушки. Там, откуда должна была течь кровь, виднелось чистое отверстие, пробитое в каком-то веществе, которое не было плотью, и в нем… виток тонкой золотисто-медной проволоки.

Буркхардт провел языком по пересохшим губам.

— Вы робот! — сказал он.

Девушка пыталась кивнуть головой, губы ее подергивались. Она прошептала:

— Да. И вы тоже.

V

Свансон, издав какой-то нечленораздельный звук, подошел к письменному столу, сел и уставился в стену. Буркхардт, сидя на полу рядом с разбитой куклой, только раскачивался из стороны в сторону. Он не находил слов.

Девушка с трудом произнесла:

— Мне… очень жаль, что все так случилось. — Красивые губы на гладком молодом лице, кривясь, растянулись в усмешку. Это было страшно. Наконец ей удалось совладать с ними. Очень жаль, — повторила она. — Пуля попала как раз поблизости от нервного центра. Стало трудно… управлять этим телом.

Буркхардт машинально кивнул, как бы давая понять, что принимает извинения. Роботы. Теперь, когда он знал, все стало на свои места. Он вспомнил мистические предположения о гипнозе, или о марсианах, или о чем-нибудь еще более страшном… Глупости. Ведь существуют же роботы, созданные людьми. Как просто. И этим все объясняется.

В его распоряжении было сколько угодно доказательств. Завод-автомат с пересаженными мозгами… Почему не пересадить мозг человекообразному роботу и не придать ему черты лица и фигуру человека?

Мог ли Буркхардт догадаться, что он робот?

— Все мы, — сказал он, почти не сознавая, что говорит вслух. — Моя жена, и моя секретарша, и вы, и соседи. Со всеми нами одно и то же. Все мы…

— Нет. — Голос девушки окреп. — Не совсем одно и то же. Я сама, видите ли, захотела этого. Я… — теперь ее губы кривились уже не из-за нервных судорог. — Я была уродливой женщиной, мистер Буркхардт. Мне было уже под шестьдесят. Жизнь прошла мимо меня. И когда мистер Дорчин предложил мне начать новую жизнь в образе красивой девушки, я ухватилась за эту возможность. Поверьте мне, я ухватилась за это, несмотря ни на что. Мое тело из плоти и крови все еще живо… оно спит, пока я здесь. Я могу возвращаться в него. Но я никогда этого не делаю.

— А все остальные?

— С ними не так, мистер Буркхардт. Я работаю здесь, выполняю распоряжения мистера Дорчина; составляю таблицы результатов рекламных испытаний, наблюдаю за тем, как вы и другие живете по его указке. Я делаю это по своему выбору, а у вас выбора нет, потому что… потому что… все вы мертвы.

— Мертвы? — воскликнул Буркхардт; это был почти вопль.

Голубые глаза смотрели на него не мигая, и он знал, что это

не ложь. Он проглотил слюну, невольно восхищаясь сложными механизмами, которые заставляют его глотать, потеть и есть.

Он сказал:

— Значит, взрыв, который мне снился…

— То был не сон. Вы правы — он был настоящий, и все из-за этого завода. Газгольдеры взлетели на воздух, и те, кто уцелел после взрыва, немного позже задохнулись. Но почти все погибли во время взрыва, двадцать одна тысяча человек. Вы умерли с ними, и этим воспользовался Дорчин.

— Проклятый кровопийца! — прошептал Буркхардт.

Перекошенные плечи подергивались с каким-то странным изяществом.

— Что ж, вы умерли. И вы, и все остальные стали такими, как хотелось Дорчину… целый город, прекрасный кусочек Америки. Мертвый мозг можно использовать так же легко, как и живой. Даже легче: мертвый не может сказать «нет». О, это потребовало труда и денег — весь город был в развалинах, но полностью восстановить его не составило большого труда, в особенности потому, что не нужно было точно воспроизводить все детали.

Те из домов, где мозги обитателей были полностью разрушены, остались внутри пустыми, не были восстановлены и подвалы, от которых не требовалось слишком большого совершенства, и улицы, не имевшие существенного значения. Во всяком случае, все должно продолжаться только один день. Один и тот же день — 15 июня — снова и снова; и, если кому-нибудь это покажется странным, его открытие не успеет стать достоянием большого числа людей и повредить ценности испытаний, потому что в полночь все ошибки аннулируются.

Она попыталась улыбнуться.

— День 15 июня, мистер Буркхардт, — это сон, так как на самом деле вы этого дня никогда не переживали. Это подарок мистера Дорчина, сновидение, которое он посылает вам, а затем забирает обратно в конце дня, когда у него появятся все данные о том, на скольких из вас подействовал тот или иной вариант той или иной рекламы; и ремонтные бригады спустятся в туннель и пройдут через город, чтобы своими малюсенькими электронными шлангами смыть очередной сон, после чего он начинается сначала. И все происходит 15 июня…

Всегда 15 июня, потому что 14 июня было последним днем, в который каждый из вас может помнить себя живым. Иногда бригады кого-нибудь пропускают, как пропустили вас, потому что вы лежали под лодкой. Но это не имеет значения. Пропущенные сами выдают себя, если показывают, что помнят происходившее с ними… Но мозги тех из нас, кто работает на Дорчина, никто не

промывает. Когда энергия выключается, мы засыпаем, как и вы. Однако, проснувшись, мы все помним. — Ее лицо дико исказилось. — Если бы я только могла забыть!

Буркхардт недоверчиво произнес:

— И все для того, чтобы продавать товары! Это должно стоить миллионы!

Женщина-робот ответила:

— Совершенно верно. Но и Дорчин заработал миллионы. И это еще не все. Если он найдет слова, которые заставят людей действовать, вы думаете, он на этом остановится? Вы думаете…

Дверь открылась, и она не кончила фразы. Буркхардт заметался. Вспомнив о бегстве Дорчина, он поднял с пола револьвер.

— Не стреляйте, — спокойно приказал вошедший.

То был не Дорчин, а еще один робот, не замаскированный с помощью пластмасс и косметики, а неприкрыто блестевший. Он сказал металлическим голосом:

— Забудьте обо всем, Буркхардт. Вы ничего не добьетесь. Дайте мне револьвер, пока вы не натворили еще каких-нибудь бед. Сейчас же дайте его мне.

Туловище этого робота отливало сталью. Буркхардт гневно закричал. Он вовсе не был уверен, что пули могут пробить это существо или нанести ему большой вред, если даже и пробьют. Но все же он хотел попытаться…

Вдруг позади него послышалось какое-то хныканье и возня; это был Свансон, от страха впавший в истерику. Он накинулся на Буркхардта и сбил его с ног; револьвер при этом отлетел в сторону.

— Пожалуйста! — запинаясь, умолял Свансон, простершись перед стальным роботом. — Он чуть не убил вас… Пожалуйста, не бейте меня! Разрешите мне работать на вас, как эта девушка. Я буду делать все, что вы скажете…

Голос робота произнес:

— Мы не нуждаемся в вашей помощи.

Он сделал два четких шага, остановился около револьвера и, отшвырнув его ногой, оставил лежать на полу.

Раненый белокурый робот сказал без всякого выражения:

— Кажется, я недолго протяну, мистер Дорчин.

— Отключитесь, если надо, — ответил стальной робот.

Буркхардт удивленно заморгал.

— Но ведь вы не Дорчин!

Стальной робот взглянул на него глубоко запавшими глазами.

— Я Дорчин, — сказал он. — Но не из плоти и крови… В

настоящий момент я пользуюсь этим телом. Не думаю, чтобы ему был опасен ваш револьвер. Тело другого робота было уязвимым. Но не пора ли вам прекратить эту бессмыслицу? Я не хотел бы причинять вам вред, вы слишком дорого стоите. Не присядете ли вы и не дадите ли возможность ремонтной бригаде привести вас в порядок?

Свансон продолжал ползать по полу.

— Вы… вы не накажете нас?

У стального робота не было лица, которое могло что-либо выражать, но в его голосе прозвучало удивление.

— Накажу вас? — повторил он уже громче. — Но как?

Свансон вздрогнул, словно от удара кнутом, но Буркхардт вспылил:

— Приводите его в порядок, если он разрешит вам, но не меня! Вам придется причинить мне уйму вреда, Дорчин. Мне нет дела до того, сколько я стою и сколько труда потребуется, чтобы снова собрать меня. Я сейчас выйду в эту дверь. Если вы захотите остановить меня, вам придется меня убить. Иначе не остановите!

Робот чуть приблизился, и Буркхардт, занеся ногу, невольно замер. Он стоял, балансируя и качаясь, готовый к смерти, готовый к нападению, готовый ко всему, что бы ни случилось.

Готовый ко всему, кроме того, что случилось на самом деле. Стальное туловище робота отступило в сторону, став между Буркхардтом и револьвером, но больше не загораживая двери.

— Идите, — предложил робот. — Никто вас не задерживает.

За дверью Буркхардт остановился. Со стороны Дорчина было безумием отпустить его! Был ли Буркхардт роботом или человеком из плоти, жертвой или облагодетельствованным, ничто не помешает ему пойти в ФБР или в любое стоящее на страже закона учреждение, какое ему удастся найти за пределами синтетического царства Дорчина, и рассказать там свою историю. Разумеется, корпорация, платящая Дорчину за результаты испытаний, не имеет понятия о тех вурдалачьих приемах, которыми он пользуется; Дорчин должен скрывать их от нее, так как малейшая огласка положила бы им конец. Выход отсюда, возможно, означает смерть… Но в это мгновение смерть не страшила Буркхардта.

В коридоре никого не было. Буркхардт отыскал окно и выглянул наружу. Перед ним лежал Тайлертон — город-суррогат, казавшийся, однако, таким реальным и знакомым, что Буркхардт был почти готов принять все происшедшее за сон. И все же это был не сон. В глубине души он знал это, так же как знал, что ничто в Тайлертоне не может теперь помочь ему.

Но как отсюда выйти? У него ушло четверть часа на поиски

дороги, он искал ее, крадучись, обходя коридоры, прячась, когда ему мерещились чьи-то шаги, — сознавая в то же время, что он скрывается напрасно, так как Дорчин, несомненно, осведомлен о каждом его движении. Но никто не остановил его, и вот он увидел дверь.

Изнутри это была довольно простая дверь. Но, когда он открыл ее и переступил порог, его взору предстало зрелище не похожее ни на что виденное им когда-либо раньше.

Прежде всего его поразил свет — сверкающий, неправдоподобный, ослепительный свет. Щурясь, Буркхардт испуганно смотрел по сторонам. Он стоял на выступе из гладкого полированного металла. Меньше чем в десятке шагов уступ круто обрывался; Буркхардт не решался приблизиться к краю, но даже оттуда, где он стоял, было видно, что перед ним бездонная пропасть. По обе стороны от него до самого горизонта в ярком свете простиралась бездна.

Не удивительно, что Дорчин так легко дал ему свободу! Идти было некуда… Но как невероятна эта фантастическая бездна, как немыслима эта сотня белых, слепящих солнц, висящих над ней!

Голос рядом с ним вопросительно произнес:

— Буркхардт?

И раскаты эха повторили его имя, мягко перекатываясь в бездне у его ног.

Буркхардт облизал губы.

— Д…да? — прохрипел он.

— Это Дорчин. На этот раз не робот, а Дорчин из плоти и крови, — я говорю с вами в переносной микрофон. Ну, теперь вы видели, Буркхардт? Теперь вы будете благоразумны и отдадитесь в руки ремонтных бригад?

Буркхардт стоял, парализованный ужасом. Одна из движущихся гор, залитая ослепительным светом, приближалась к нему.

Она возвышалась на сотню метров над его головой; он пристально смотрел на ее вершину, беспомощно щурясь на свет.

Она была похожа на…

Невозможно!

Громкоговоритель около двери произнес:

— Буркхардт?

Но он был не в силах ответить.

Послышался тяжелый сочувственный вздох.

— Я вижу, вы наконец поняли, — произнес голос. — Идти некуда. Теперь вы это знаете. Я мог бы и раньше сказать вам, но вы, вероятно, не поверили бы мне, так что для вас было лучше увидеть самому. В конце концов, Буркхардт, почему я должен

восстановить город в точности таким, каким он был раньше? Я деловой человек; я подсчитываю расходы. Если вещь должна быть натуральной величины, я такой ее и сооружаю. Но в данном случае в этом нет никакой необходимости.

Буркхардт беспомощно смотрел, как с возвышавшейся перед ним горы к нему осторожно спускалась небольшая скала. Она была длинная и темная, и на ее конце мерцало что-то белое, белые пятна пальцев…

— Бедный маленький Буркхардт, — монотонно пропел громкоговоритель, и эхо загрохотало в огромной бездне, которая была всего лишь лабораторией.

— Каким это должно быть потрясением для вас — понять, что вы живете в городе, построенном на столе!

VI

Утром 15 июня Гай Буркхардт проснулся от собственного крика.

Это был чудовищный, непостижимый сон, полный неописуемых ужасов. Ему приснились взрывы и туманные, нечеловеческие фигуры.

Он вздрогнул и открыл глаза.

За окном его спальни завывал голос, во сто крат усиленный громкоговорителем.

Буркхардт, ковыляя, подошел к окну и стал смотреть на улицу. Воздух был прохладен не по сезону — скорее октябрь, чем июнь; но улица имела вполне обычный вид, если не считать грузовика с громкоговорящей установкой, который въехал на край тротуара за полквартала от их дома. Рупоры ревели:

— Вы трус? Вы дурак? Вы собираетесь допустить, чтобы политические мошенники украли у вас страну? НЕТ! Вы собираетесь примириться еще с четырьмя годами взяточничества и преступлений? НЕТ! Вы будете всегда и всюду голосовать за кандидатов Федеральной партии?

— ДА! Конечно, вы это сделаете!

Громкоговоритель то визжит, то уговаривает, угрожает, просит, льстит… но голос его все звучит и звучит — целый день, беспрестанно повторяющийся день 15 июня.

Джеймс Блиш
Произведение искусства

Внезапно он вспомнил свою смерть. Однако он увидел ее как бы отодвинутой на двойное расстояние: будто вспоминал о воспоминании, а не о событии, будто на самом деле он не был там действующим лицом.

И все же воспоминание было его собственным, а вовсе не воспоминанием какой-нибудь сторонней бестелесной субстанции, скажем, его души. Отчетливее всего он помнил, как неровно, со свистом втягивал воздух. Лицо врача, расплываясь, склонилось, замаячило над ним, приблизилось — и исчезло из его поля зрения, когда врач прижался головой к его груди, чтобы послушать легкие.

Стремительно сгустилась тьма, и тогда только он осознал, что наступают последние минуты. Он изо всех сил пытался выговорить имя Полины, но не помнил, удалось ли это ему; помнил лишь свист и хрип да черную дымку, на какой-то миг застлавшую глаза.

Только на миг — и воспоминание оборвалось. В комнате снова было светло, а потолок, заметил он с удивлением, стал светло-зеленым. Врач уже не прижимал голову к его груди, а смотрел на него сверху вниз.

Врач был не тот: намного моложе, с аскетическим лицом и почти остановившимся взглядом блестящих глаз. Сомнений не было: это другой врач. Одной из его последних мыслей перед смертью была благодарность судьбе за то, что при его кончине не присутствовал врач, который тайно ненавидел его за былые связи. Нет, выражение лица у того лечащего врача наводило на мысль о каком-нибудь светиле швейцарской медицины, призванном к смертному одру знаменитости: к волнению при мысли о потере столь знаменитого пациента примешивалась спокойная уверенность в том, что благодаря возрасту больного никто не станет винить в его смерти врача. Пенициллин пенициллином, а воспаление легких в восемьдесят пять лет — вещь серьезная.

— Теперь все в порядке, — сказал новый доктор, освобождая голову пациента от сетки из серебристых проволочек. — Полежите минутку и постарайтесь не волноваться. Вы знаете свое имя?

С опаской он сделал вдох. Похоже, что с легкими все в порядке. Он чувствовал себя совершенно здоровым.

— Безусловно, — ответил он, немного задетый. — А вы свое?

Доктор криво улыбнулся.

— Характер у вас, кажется, все тот же, — сказал он. — Мое имя Баркун Крис; я психоскульптор. А ваше?

— Рихард Штраус. Композитор.

— Великолепно, — сказал доктор Крис и отвернулся.

Мысли Штрауса, однако, были заняты уже другим странным явлением. По-немецки Strauss не только имя, но и слово, имеющее много значений (битва, страус, букет), и фон Вольцоген в свое время здорово повеселился, всячески обыгрывая это слово в либретто оперы «Feuersnot»[2]. Это было первое немецкое слово, произнесенное им с того, дважды отодвинутого мига смерти! Язык, на котором они говорили, не был ни французским, ни итальянским. Больше всего он походил на английский, но не на тот английский, который знал Штраус; и тем не менее говорить и даже думать на этом языке не составляло для него никакого труда.

«Что ж, — подумал он, — теперь я могу дирижировать на премьере „Любви Данаи“. Не каждому композитору дано присутствовать на посмертной премьере своей последней оперы». И, однако, во всем этом было что-то очень странное, и самой странной была не покидавшая его мысль, что мертвым он оставался совсем недолго. Конечно, медицина движется вперед гигантскими шагами, это известно каждому, однако…

— Объясните мне все, — сказал он, приподнявшись на локте. Кровать тоже была другая, далеко не такая удобная, как его смертное ложе (удивительно, до чего легко пришло к нему это слово!). Что до комнаты, то она больше походила на электромеханический цех, чем на больничную палату. Неужто современная медицина местом воскрешения мертвых избрала цеха завода Сименс-Шуккерт?

— Минуточку, — сказал Крис. Он был занят: откатывал какую-то машину туда, где, раздраженно подумал Штраус, ей и следовало быть. Покончив с этим, врач снова подошел к койке.

— Прежде всего, доктор Штраус, многое вам придется принять на веру, не понимая и даже не пытаясь понять. Не все в сегодняшнем мире объяснимо в привычных для вас терминах. Пожалуйста, помните об этом.

— Хорошо. Продолжайте.

— Сейчас, — сказал доктор Крис, — 2161 год по вашему летоисчислению. Иными словами, после вашей смерти прошло 212 лет. Вы, конечно, понимаете, что от вашего тела за это время остались только кости, которые мы не стали тревожить. Ваше нынешнее тело предоставлено вам добровольно. Сходство его с вашей прежней телесной оболочкой совсем небольшое. Прежде,

чем вы посмотрите на себя в зеркало, знайте, что физическое различие между нынешним телом и прежним целиком в вашу пользу. Ваше нынешнее тело в добром здравии, довольно приятно на вид, его физиологический возраст около пятидесяти, а в наше время это поздняя молодость.

Чудо? Нет, теперь чудес не бывает — просто достижение медицины. Но какой медицины!

— Где мы находимся? — спросил композитор.

— В Порт-Йорке, части штата Манхэттен, в Соединенных Штатах. Вы обнаружите, что в некоторых отношениях страна изменилась меньше, чем вы, может быть, ожидаете. Другие перемены, конечно, покажутся вам разительными, но мне трудно предвидеть, какие именно произведут на вас большее впечатление. Неплохо, если вы выработаете в себе известную гибкость.

— Понимаю, — сказал Штраус, садясь в постели. — Еще один вопрос. Может ли композитор заработать себе на жизнь в этом столетии?

— Вполне, — с улыбкой ответил доктор Крис. — Как раз этого мы от вас и ожидаем. Это одна из причин, почему мы… вернули вас.

— Значит, — голос Штрауса зазвучал несколько суше, — моя музыка по-прежнему нужна? В свое время кое-кто из критиков…

— Дело обстоит не совсем так, — перебил его доктор Крис. — Насколько я понимаю, некоторые из ваших произведений исполняются до сих пор, но, откровенно говоря, о вашей нынешней популярности я знаю очень мало. Меня интересует скорее…

Где-то отворилась дверь, и появился еще один человек. Он был старше и солиднее Криса, в нем было что-то академическое, но, как и Крис, он носил хирургический халат странного покроя и смотрел на пациента горящим взглядом художника.

— Удача, Крис? — спросил он. — Поздравляю.

— Повремени, — сказал доктор Ирис. — Важно завершающее испытание. Доктор Штраус, если вы не чувствуете слабости, мы с доктором Сейрдсом хотели бы задать вам несколько вопросов. Нам хотелось бы проверить ясность вашей памяти.

— Конечно. Пожалуйста!

— По нашим сведениям, — сказал доктор Крис, — вы были когда-то знакомы с человеком, чьи инициалы — Р.К.Л.; вы тогда были дирижером венской Staatsoper. — Произнося это слово, он протянул двойное «а» по меньшей мере вдвое дольше, чем следовало, как будто немецкий язык был мертвым и Крис старался правильно воспроизвести классическое

произношение. — Как его звали, и кто это такой?

— Должно быть, Курт Лист: его первое имя было Рихард, но его так никогда не называли. Он был ассистентом режиссера. И не бесталанным; он же учился у того ужасного молодого человека, Берга… Альбана Берга.

Врачи переглянулись.

— Почему вы вызвались написать увертюру к «Женщине без тени» и подарили городу Вене ее рукопись?

— Чтобы избежать уплаты налога за уборку мусора на вилле Марии-Терезы, которую подарил мне город.

— На заднем дворе вашего имения в Гармиш-Партенкирхене был могильный камень. Что на нем вырезано?

Штраус нахмурился. Он бы с радостью не ответил на этот вопрос. Даже если тебе вдруг взбрело в голову по-ребячески подшутить над самим собой, лучше все же не увековечивать шутку в камне, тем более там, где она у тебя перед глазами всякий раз, когда ты чинишь свой мерседес.

Он ответил устало:

— Там вырезано: «Посвящается памяти Гунтрама, миннезингера, злодейски убитого собственным симфоническим оркестром его отца».

— Когда состоялась премьера «Гунтрама»?

— В… минуточку… по-моему, в 1894 году.

— Где?

— В Веймаре.

— Как звали примадонну?

— Полина де Ана.

— Что с ней потом сталось?

— Я женился на ней. — Штраус разволновался. — А ее тоже?..

— Нет, — сказал Крис. — Мне жаль, доктор Штраус, но, для того чтобы воссоздать более или менее заурядных людей, нам не хватает о них данных.

Композитор вздохнул. Он не знал, горевать ему или радоваться. Конечно, он любил Полину. Но, с другой стороны, для него начинается новая жизнь. И вообще-то приятно, если, входя в дом, не надо обязательно разуваться только ради того, чтобы не поцарапать полированного паркета. И наверное, будет приятно, если в два часа дня ему не придется больше слышать магическую формулу, которой Полина разгоняла гостей: «RicHard jetzt komponiert!»[3]

— Следующий вопрос, — сказал он.

По причинам, не ведомым Штраусу, но принятым им как должное, ему пришлось расстаться с докторами Крисом и

Сейрдсом сразу же после того, как оба они с удовлетворением убедились в том, что память его надежна и сам он здоров. Имение его, как ему дали понять, давным-давно превратилось в руины (такова была печальная участь того, что было когда-то одним из крупнейших частных владений в Европе), но денег ему дали достаточно: он мог обеспечить себя жильем и вернуться к активной жизни, Ему также помогли завязать полезные деловые знакоместа.

К переменам в одной лишь музыке ему пришлось приспосабливаться дольше, чем он ожидал. Музыка, как он вскоре заподозрил, превратилась в умирающее искусство, которому в ближайшем будущем суждено было оказаться примерно в том же положении, в каком искусство составлять букеты находилось в XX веке. Тенденция к дроблению, отчетливо наметившаяся еще в период его первой жизни, в 2161 году почти достигла логического завершения.

Нынешним американским популярным песням он уделял так же мало внимания, как их предшественницам в своей прежней жизни. Однако было совершенно ясно, что поточные методы, которыми они создаются (ни один теперешний автор баллад не скрывал того, что пользуется похожим на логарифмическую линейку устройством, называвшимся «шлягер-машинка»), применяются теперь почти во всей серьезной музыке.

Консерваторами, например, считали теперь композиторов-додекафонистов. По мнению Штрауса, они всегда были сухой и умствующей кастой, но не в такой степени, как теперь. Их кумиры (Шенберг, Берг, фон Веберн) в глазах любителей музыки были великими мастерами, пусть не очень доступными, но достойными такого же поклонения, как Бах, Брамс или Бетховен.

Было, однако, крыло консерваторов, перещеголявшее додекафонистов. То, что писали эти люди, называлось «стохастической музыкой», там выбор каждой отдельной ноты осуществлялся по таблицам случайных чисел. Библией этих композиторов, их манифестом был том, озаглавленный «Операционная эстетика», а его в свою очередь произвела на свет научная дисциплина, именуемая «теория информации», и было ясно, что книга эта ни единым словом не касается методов и приемов композиции, известных Штраусу. Идеалом, к которому стремилась эта группа, была «всеобъемлющая» музыка, где и следа не осталось бы от композиторской индивидуальности, этакое музыкальное выражение всеобъемлющих законов случая. По-видимому, законам случая свойствен собственный, характерный только для них стиль, но, по мнению Штрауса, это стиль игры малолетнего идиота, которого учат барабанить по

клавишам расстроенного рояля, только бы он не занялся чем-нибудь похуже.

Но подавляющее большинство создаваемых музыкальных произведений относилось к категории, явно незаслуженно именовавшейся «научная музыка». Это название отражало лишь темы произведений: в них речь шла о космических полетах, путешествиях во времени и тому подобных романтических или фантастических предметах. В самой музыке не было и тени научности — лишь мешанина штампов, подражаний и записей естественных шумов (часто настолько искаженных, что невозможно было угадать их происхождение), а также стилевых трюков, причем Штраус, к своему ужасу, часто узнавал собственную искаженную временем и разбавленную водичкой манеру.

Самой популярной формой научной музыки была девятиминутная композиция, так называемый концерт, хотя ничего общего между ним и классическим концертом не было; скорее это напоминало свободную рапсодию в духе Рахманинова, но Рахманинова безбожно перевранного. Типичным для этого жанра был концерт «Песнь дальнего космоса», написанный неким Х. Валерионом Краффтом. Концерт начался громким неистовством тамтама, после чего все струнные тотчас же в унисон понеслись вверх по хроматической гамме; за ними, на почтительном расстоянии, следовали параллельными кварт-секст-аккордами арфа и одинокий кларнет. На самой вершине гаммы загремели цимбалы, forte possibile, и оркестр, весь целиком, излился в мажорно-минорном вопле — весь, кроме валторн, которые ринулись вниз по той же гамме (это должно было означать контртему). Солирующая труба с явным намеком на тремоло подхватила контртему, оркестр до нового всплеска впал в клиническую смерть, и в этот миг, как мог бы предсказать любой младенец, вступил со второй темой рояль.

Позади оркестра стояли тридцать женщин, готовые хором пропеть песню без слов, чтобы создать ощущение жути космических пространств; но Штраус уже научился вставать и уходить, не дожидаясь этого момента. После нескольких таких демонстраций он мог быть уверенным, что в фойе его поджидает Синди Нанесс, агент, с которым его свел доктор Крис. Синди Нанесс взял на себя сбыт творческой продукции возрожденного к жизни композитора — сбыт того немногого, что успело за это время появиться. Синди уже перестали удивлять демонстрации клиента, и он терпеливо ждал, стоя под бюстом Джан-Карло Менотти: но эти выходки нравились ему все меньше и меньше, и последнее время он отвечал на них тем, что попеременно краснел

и бледнел, как рекламные неоновые огни.

— Не надо было этого делать, — взорвался он после случая с «Песней дальнего космоса». — Нельзя просто так вот покинуть зал во время нового краффтовского концерта. Как-никак, Крафft — президент Межпланетного общества современной музыки. Как мне убедить их в том, что вы тоже современный, если вы все время щелкаете их по носу?

— Какое это имеет значение? — возразил Штраус. — В лицо они меня все равно не знают.

— Ошибаетесь. Они знают вас очень хорошо и следят за каждым вашим шагом. Вы первый крупный композитор, за которого рискнули взяться психоскульпторы, и МОСМ был бы рад случаю избавиться от вас.

— Почему?

— О, — сказал Синди, — по тысяче причин. Скульпторы — снобы. Ребята из МОСМа — тоже. Одни хотят доказать другим, что их искусство важнее всех прочих. А потом ведь существует и конкуренция: проще отделаться от вас, чем допустить вас на рынок. Поверьте мне, будет лучше, если вы вернетесь в зал. Я бы придумал какое-нибудь объяснение…

— Нет, — оборвал его Штраус. — Мне надо работать.

— Но в том-то все и дело, Рихард! Как мы поставим оперу без содействия МОСМа? Это ведь не то что писать соло для терменвокса или что-то, не требующее больших расх…

— Мне надо работать, — сказал Штраус и ушел.

И он работал — так самозабвенно, как не работал последние тридцать лет прежней жизни. Стоило ему коснуться пером листа нотной бумаги (найти то и другое оказалось невероятно трудно), как он понял: ничто из его долгого творческого пути не дает ему ключа к пониманию того, какую музыку он должен писать теперь.

Тысячами нахлынули и закружились старые испытанные приемы; внезапная смена тональностей на гребне мелодии; растягивание пауз; разноголосица струнных в верхнем регистре, нагромождаемая на качающуюся и готовую рухнуть кульминацию; сумятица фраз, молниеносно перелетающих от одной оркестровой группы к другой; неожиданные появления меди, короткий смех кларнетов, рычащие тембровые сочетания (чтобы усилить драматизм) — в общем все, какие он только знал.

Но теперь ни один из них его не удовлетворял. Большую часть своей жизни он довольствовался ими и проделал с их помощью поистине титаническую работу. Но вот пришло время начать все заново. Кое-какие из этих приемов сейчас казались просто отвратительными: с чего, например, он взял (и пребывал в этом заблуждении десятки лет!), что скрипки, мяукающие в

унисон где-то на границе с ультразвуком, дают достаточно интересный эффект, чтобы повторять этот прием в пределах хотя бы одной композиции (а уж всех — и подавно)?

И ведь ни перед кем никогда, с торжеством думал он, не открывались такие возможности для того, чтобы начать все сначала. Помимо прошлого, целиком сохраненного памятью и всегда доступного, он располагал несравненным арсеналом технических приемов; это признавали за ним даже враждебно настроенные критики. Теперь, когда он писал свою в известном смысле первую оперу (первую — после пятнадцати когда-то написанных!), у него были все возможности создать шедевр.

И кроме возможностей — желание.

Конечно, мешали всякие мелочи. Например, поиски старинной нотной бумаги, а также ручки и чернил, чтобы писать на ней. Выяснилось, что очень немногие из современных композиторов записывают музыку на бумаге. Большинство из них пользовались магнитофонной лентой: склеивали кусочки с записями тонов и естественных шумов, вырезанные из других лент, накладывали одну запись на другую и разнообразили результаты, крутя множество разных рукояток. Что же касается композиторов, писавших партитуры для стереовидения, то почти все они чертили прямо на звуковой дорожке зубчатые извилистые линии, которые, когда их пропускали через цепь с фотоэлементом и динамиком, звучали довольно похоже на оркестр, с обертонами и всем прочим.

Закоренелые консерваторы, все еще писавшие музыку на бумаге, делали это с помощью музыкальной пишущей машинки. Машинку (этого Штраус не мог не признать) наконец усовершенствовали; правда, у нее были клавиши и педали, как у органа, но размерами она лишь в два с небольшим раза превосходила обычную пишущую машинку, и отпечатанная на ней страничка имела опрятный и приличный вид. Но Штрауса вполне устраивал его тонкий как паутина, но очень разборчивый почерк, и он вовсе не собирался отказываться от давней привычки писать пером, хотя из-за того пера, которое ему удалось достать, почерк стал крупнее и грубее. Старинный способ записи помогал Штраусу сохранять связь с прошлым.

При вступлении в МОСМ тоже не обошлось без неприятных минут, хотя Синди благополучно провел Штрауса через рогатки политического характера. Секретарь Общества, проверявший его квалификацию, обнаружил при этом не больший интерес, чем проявил бы ветеринар при осмотре четырехтысячного по счету больного теленка. Он спросил:

— Печатали что-нибудь?

— Да. Девять симфонических поэм, около трехсот песен, одну…

— Не при жизни, — в голосе экзаменатора появилось что-то неприятное. — С тех пор, как скульпторы вас сделали.

— С тех пор как скульпторы… О, я понимаю. Да. Струнный квартет, два песенных цикла…

— Хватит. Элфи, запиши: «Песни». На чем-нибудь играете?

— На фортепьяно.

— Хм. — Экзаменатор внимательно оглядел свои ногти. — Ну ладно. Музыку читаете? Или, может, пользуетесь нотописцем, или резаной лентой? Или машинкой?

— Читаю.

— Сядьте.

Экзаменатор усадил Штрауса перед освещенным экраном, поверх которого ползла широкая прозрачная лента. На ленте была во много раз увеличенная звуковая дорожка.

— Просвистите и назовите инструменты, на которые это похоже.

— MusiksticHeln[4] не читаю, ледяным тоном изрек Штраус. — И не пишу. Я читаю обычные ноты, на нотном стане.

— Элфи, запиши: «Читает только ноты». — Он положил на стекло экрана лист плохо отпечатанных нот. — Просвистите мне это.

«Это» оказалось популярной песенкой «Вэнги, снифтеры и кредитный снуки»; ее в 2159 году написал на шлягер-машинке политикан-гитарист, певший ее на предвыборных собраниях. (В некоторых отношениях, подумал Штраус, Соединенные Штаты и в самом деле почти не изменились.) Песенка эта завоевала такую популярность, что любой насвистал бы ее по одному названию, независимо от того, умел он читать ноты или нет. Штраус просвистел и, чтобы не возникло сомнений в его добросовестности, добавил: «Она в тональности си-бемоль-мажор».

Экзаменатор подошел к зеленому пианино и ударил по замусоленной черной клавише. Инструмент был расстроен до невероятности (нота прозвучала куда ближе к обычному «ля» частотой в 440 герц, чем к си-бемоль), но экзаменатор сказал:

— Точно. Элфи, запиши: «Читает также бемоли». Ну что ж, сынок, теперь ты член Общества. Приятно знать, что ты с нами. Не так уж много осталось людей, которые умеют читать старинные ноты. Многие возражают, будто они для этого слишком хороши.

— Благодарю вас, — ответил Штраус.

— Я лично так считаю: что годилось для старых мастеров, то

вполне годится и для нас. По-моему, равных старым мастерам среди нас нет — не считая, конечно, доктора Краффта. Да, великие были люди, эти самые Шилкрит, Стайнер, Темкин, Пэрл… Уайлдер, Янссен…

— Разумеется, — вежливо сказал Штраус.

Но работа шла своим чередом. Теперь он уже кое-что зарабатывал небольшими пьесками. По-видимому, публика питала повышенный интерес к композитору, вышедшему из лабораторий психоскульпторов; но и сами по себе (на этот счет Штраус не сомневался) достоинства его сочинений неизбежно должны были создать спрос.

Однако по-настоящему важной была для него только опера. Она росла и росла под его пером, молодая и новая, как его новая жизнь, всеведущая и зрелая, как его долгая цепкая память. Сначала возникли трудности: он никак не мог найти либретто. Не исключено было, что в море литературы для стереовидения (да и то навряд ли) можно найти что-нибудь подходящее; но выяснилось, что он не в состоянии отличить хорошее от плохого из-за бесчисленного множества непонятных для него сценических и постановочных терминов. В конце концов, в третий раз за свою жизнь, он обратился к пьесе, написанной на чужом для него языке, и впервые решил поставить ее на этом языке.

Пьеса эта, «Побеждена Венера» Кристофера Фрая, была, как он постепенно начинал понимать, идеальным либретто для оперы Штрауса. Эта пьеса в стихах, названная комедией, со сложной фарсовой фабулой, обнаруживала неожиданную глубину, а ее персонажи словно взывали о том, чтобы музыка вывела их в три измерения: и ко всему этому, скрытое в подтексте, но совершенно определенное настроение осенней трагедии, опадающих листьев и падающих яблок — противоречивая и полная драматизма смесь, именно такая, какой в свое время снабдил его фон Гофмансталь для «Кавалера роз», для «Ариадны в Наксосе» и для «Арабеллы».

Увы, фон Гофмансталя больше нет; но вот нашелся другой, тоже давно умерший драматург, почти такой же одаренный, и прямо просится на музыку! Например, пожар в конце второго акта: какой материал для композитора, для которого воздух и вода — это оркестровка и контрапункт! Или, например, та сцена, когда Перпетуа стрелой выбивает яблоко из руки герцога; одна беглая аллюзия в тот миг могла вплести в ткань его оперы россиниевского мраморного «Вильгельма Телля», который становился всего лишь ироническим примечанием! А большой заключительный монолог герцога, начинающийся словами:

Так будет ли мне жаль себя?

— вот что меня тревожит
Из-за того, что смертен я,
мне будет жаль себя.
К небу тянутся деревья,
В дымке бурые холмы,
И озер зеркальных гладь…

Монолог, как будто специально написанный для великого трагического комика вроде Фальстафа; слияние смеха и слез прерывается сонными репликами Рийдбека, и под его звучный храп (тромбоны, не меньше четырех; может быть, с сурдинками?) медленно опустится занавес…

Что может быть лучше? А ведь пьесу он нашел по чистой случайности.

Сначала Штраус хотел написать комико-эксцентрическую оперу-буфф, только чтобы размяться. Вспомнив, что некогда Цвейг сделал для него либретто по пьесе Бена Джонсона, Штраус стал рыться в английских пьесах того периода и наткнулся на героический водевиль «Победила Венеция» некоего Томаса Аутвэя. Сразу за водевилем в предметном указателе шла пьеса Фрая, и Штраус заглянул в нее из любопытства: почему вдруг драматург двадцатого века каламбурит с названием, взятым из века восемнадцатого?

После десяти страниц фраевской пьесы мелкая загадка каламбура перестала его занимать: он был поглощен оперой.

Организуя постановку, Синди творил чудеса. Дата премьеры была объявлена задолго до того, как была закончена партитура, и это напомнило Штраусу те горячие деньки, когда Фюрстнер хватал с его рабочего стола каждую новую страницу завершаемой «Электры» прежде, чем на ней просохнут чернила, и мчался с ней к граверу, чтобы успеть к назначенному для публикации сроку. Теперь положение было еще сложнее, потому что часть партитуры предстояло написать прямо на звуковой дорожке, часть — склеить из кусочков ленты, а часть — выгравировать по старинке, соответственно требованиям новой театральной техники, и порой Штраусу начинало казаться, что бедный Синди вот-вот поседеет.

Но, как бывало обычно со Штраусом, опера «Побеждена Венера» отняла немало времени. Писать черновик было дьявольски трудно, и на новое рождение это походило гораздо больше, чем то мучительное пробуждение в лаборатории Баркуна Криса, скорее похожее на смерть. Однако Штраус обнаружил, что у него целиком сохранилась прежняя способность почти без усилий писать с черновика партитуру; ему не мешали ни

сетования Синди, ни ужасающий грохот сверхзвуковых ракет, с быстротой молнии проносившихся над городом.

Он кончил за два дня до начала репетиций. Репетиции должны были идти без его участия. Исполнительская техника в эту эпоху настолько тесно сплелась с электронным искусством, что его собственный опыт (его, короля капельмейстеров!) никому не был нужен.

Он не спорил. За него все скажет музыка. А пока приятно отвлечься от многомесячной работы. Он снова вернулся в библиотеку и стал не спеша перебирать старые стихи, бессознательно ища тексты для песни. Новых поэтов он обходил: они ему ничего не скажут, он это знал. Но американцы его эпохи, думал он, возможно, дадут ему ключ к пониманию Америки 2161 года, а если какое-нибудь из их стихотворений породит песню — тем лучше.

Поиски эти действовали на него необычайно благотворно, и он ушел в них с головой. В конце концов одна магнитофонная запись пришлась ему по душе: надтреснутый старческий голос с гнусавым акцентом, выдающим уроженца штата Айдахо 1910 года — периода юности Штрауса. Поэт читал:

> …души людей великих
> По временам сквозь нас проходят,
> И растворяемся мы в них, и наша суть
> Лишь отражения их душ.
> Вот только что был Данте я, и вдруг
> Я — некий Франсуа Вийон, король баллад и вор,
> Или один из тех, таких святых,
> Что их имен не смею написать,
> Дабы кощунствующим не прослыть.
> Всего на миг — и пламени уж нет…
> Вот час, когда мы быть перестаем,
> А те, душ повелители, живут.

Он улыбнулся. Сколько твердят об этом со времен Платона! И в то же время стихотворение было как бы о самом Штраусе, оно словно объясняло ситуацию, в которую он оказался вовлечен, и, кроме всего прочего, оно волновало. Пожалуй, стоит сделать из него гимн в честь своего второго рождения и в честь провидческого гения поэта.

Внутренним слухом он услышал торжественный трепет аккордов, от которых перехватывало дыхание. Начальные слова можно дать патетическим шепотом; потом — полный драматизма пассаж, в котором великие имена Данте и Вийона встанут, звеня,

как вызов, брошенный Времени… Он начал писать, и только потом, уже кончив, поставил кассету на стеллаж.

«Доброе предзнаменование», — подумал он.

И настал вечер премьеры. В зал потоком хлынула публика, в воздухе без видимой опоры плавали камеры стереовидения, и Синди уж вычислял свою долю от дохода клиента при помощи сложных подсчетов на пальцах; главное правило здесь состояло, по-видимому, в том, что один плюс один в сумме дают десять. Публика, заполнившая зал, была самой разношерстной, как будто собралась посмотреть цирковой аттракцион, а не послушать оперу.

Как ни странно, в зале появилось также около пятидесяти бесстрастных, аристократичных психоскульпторов, одетых в свои облачения — черно-алые робы того же покроя, что и их хирургические одеяния. Они заняли целый ряд кресел впереди, откуда гигантские фигуры стереовидения, которым вскоре предстояло заполнить «сцену» перед ними (настоящие певцы будут находиться на небольшой эстраде в подвале), должны были казаться чудовищно огромными; но Штраус подумал только, что они, наверное, об этом знают, — и мысли его переключились на другое. Когда в зале появились первые психоскульпторы, шум голосов усилился, и теперь в нем ощущалось возбуждение, природа которого была непонятна Штраусу. Ломать над этим голову он, однако, не стал; он был слишком занят борьбой со своим собственным волнением перед премьерой, от которого за столько лет жизни ему ни разу не удалось избавиться. Мягкий, неизвестно откуда лившийся свет потускнел, и Штраус поднялся на возвышение. Перед ним лежала партитура, но он подумал, что едва ли она понадобится. Между музыкантами и микрофонами высовывались рыла неизбежных камер стереовидения, готовых понести его образ к певцам в подвале.

Публика умолкла. Наконец-то пришло его время! Дирижерская палочка взметнулась вверх, потом стремительно ринулась вниз, и снизу, из оркестра, навстречу ей мошной волной поднялась первая тема.

На какое-то время его внимание целиком поглотила нелегкая задача следить за тем, чтобы большой оркестр слаженно и послушно следовал всем изгибам музыкальной ткани, возникающей под его рукой. Но по мере того как его власть над оркестром крепла, задача эта стала немного легче, и он мог оценить звучание целого.

А вот со звучанием целого явно было что-то не то. Отдельных сюрпризов, конечно, можно было ожидать: то или другое место звучало при исполнении оркестром иначе, чем он рассчитывал.

Такие вещи случались с каждым композитором, даже если у него за плечами был опыт целой жизни. Порой певцы, начиная трудную фразу, становились похожими на канатоходца, который вот-вот свалится с каната (хотя на самом деле ни один из них ни разу еще не сфальшивил; с лучшей группой голосов ему не приходилось работать).

Но это были детали. Беда заключалась в звучании целого. Теперь у композитора угасало радостное волнение премьеры (оно, в конце концов, не могло продержаться весь вечер на одном и том же уровне) — более того, пропадал даже интерес к тому, что доносилось до его слуха со сцены и из оркестра. К тому же им постепенно овладевала усталость. Дирижерская палочка в руке становилась все тяжелее и тяжелее. Когда во втором акте прорвался бурлящий и блещущий страстью поток звуков, Штраусу стало скучно, так скучно, что им овладело острое желание вернуться к письменному столу и поработать над песней.

Второй акт кончился; впереди только один. Аплодисменты прошли мимо его ушей. Двадцатиминутного отдыха в дирижерской уборной едва хватило, чтобы восстановить силы. Он был ошеломлен. Казалось, что музыку написал кто-то другой, хотя он ясно помнил, как писал каждую ее ноту.

И вдруг в середине последнего акта он понял.

В музыке нет ничего нового. Все тот же старый Штраус — но только слабее, ниже прежнего, как будто какой-то злой волшебник вдруг превратил его в усталого старого неудачника, в ту карикатуру на него, которую критики выдумали в самые лучшие его годы. По сравнению с продукцией композиторов, подобных Краффту, «Побеждена Венера» в глазах этой публики несомненно была шедевром. Но он-то знал, что тогда критики ошибались; однако теперь вся его твердая решимость порвать со штампами и вычурностью, вся его тяга к новому обернулись ничем, когда на пути их встала сила привычки. Возвращение к жизни его, Штрауса, означало в то же время возвращение к жизни всех этих глубоко укоренившихся рефлексов его стиля. Стоило ему взяться за перо, как они овладевали им совершенно автоматически, не более доступные контролю, чем палец, отдергиваемый от пламени.

К глазам его подступили слезы. Тело у него молодое, но сам он старик… да, старик. Еще тридцать пять лет такой жизни? Никогда, никогда! Все это уже сказано им сотни лет назад. Быть осужденным на то, чтобы еще полвека снова и снова повторять самого себя голосом, который звучит все слабее и слабее, зная, что даже это жалкое столетие рано или поздно поймет, что от величия остался лишь пепел? Нет, никогда, никогда!

Пришибленный, он не сразу понял, что опера кончилась. Стены сотрясал восторженный рев публики. Знакомый шум: точно так же ревели на премьере «Дня мира» в 1938 году. Здесь аплодировали человеку, каким он был когда-то, а не тому, которым, как с беспощадной ясностью показала «Побеждена Венера», он стал теперь, — о, будь у них уши, чтоб слышать! Аплодисменты невежества — неужели ради них был проделан весь его тяжкий труд? Нет. Он их не примет.

Он медленно повернулся лицом, к залу. И с удивлением — с удивительным облегчением — понял, что аплодировали совсем не ему.

Аплодировали доктору Баркуну Крису.

Крис раскланивался, встав со своего места, оттуда, где расположилась секция психоскульпторов. Психоскульпторы, стоявшие неподалеку, отталкивали друг друга, чтобы скорее пожать ему руку. Все новые и новые руки тянулись к нему, пока он пробирался к проходу между рядами и пока шел по проходу к сцене. Когда же он поднялся к дирижерскому пульту и сам стиснул вялую руку композитора, публика, казалось, обезумела.

Крис поднял руку, и в один миг в зале воцарилась напряженная тишина.

— Благодарю вас, — проговорил он громко и отчетливо. — Леди и джентльмены, прежде чем мы расстанемся с доктором Штраусом, давайте снова скажем ему, какое огромное удовольствие все испытали, слушая его новый шедевр. Я думаю, что такое прощание будет наилучшим.

Овация длилась пять минут и продолжалась бы еще пять, если бы Крис не прекратил ее.

— Доктор Штраус, — продолжал он, — в тот миг, когда я произнесу некую формулу, вы осознаете, что вы — Джером Бош, человек, родившийся в нашем столетии и живущий своей жизнью. Искусственно введенные в вашу психику воспоминания, заставившие вас надеть на себя личину великого композитора, исчезнут. Мы очень хотели бы, чтобы Рихард Штраус остался с нами и прожил среди нас еще одну жизнь, но законодательство, регулирующее психоскульптуру, не позволяет нам навсегда исключить из жизни донора, который имеет право на свою собственную долгую жизнь. Я говорю вам об этом для того, чтобы вы поняли, почему сидящие здесь люди делят свои аплодисменты между вами и мной.

Слова Криса прервал гул одобрения.

— Искусство психоскульптуры (создание искусственных личностей ради эстетического наслаждения), возможно, никогда более не достигнет такой вершины. Вам следует знать, что как

Джером Бош вы абсолютно лишены каких бы то ни было музыкальных способностей; мы потратили много времени на поиски донора, который был бы неспособен запомнить даже простейший мотив. И, однако, в такой малообещающий материал нам удалось вложить не только личность, но и гений великого композитора. Гений этот принадлежит исключительно вам, той личине Джерома Боша, которая считает себя Рихардом Штраусом. Это не заслуга человека, добровольно предоставившего себя для психоскульптуры. Это ваш триумф, доктор Штраус, и мы чествуем вас.

Теперь овация вышла из берегов. Криво улыбаясь, Штраус смотрел, как кланяется доктор Крис. Эта их психоскульптура — достаточно утонченный, на уровне века, вид жестокости; но само по себе стремление к такого рода вещам существовало всегда. То самое стремление, которое побуждало Рембрандта и Леонардо превращать трупы в произведения искусства.

Что ж, утонченная жестокость заслуживает столь же утонченного воздания: око за око, зуб за зуб — и неудача за неудачу.

Нет, не стоит говорить Крису, что в Рихарде Штраусе, которого он создал, гения так же мало, как в сушеной тыкве. Он и так подшутил над собой, этот скульптор: он сумел подделать великого композитора, но никогда не поймет, насколько пуста музыка, которая будет теперь храниться на лентах стереовидения. Домашнее задание по музыкальной критике Крис выполнил хорошо, по музыке — неудовлетворительно; он воссоздал Штрауса, каким его знали критики. Что ж, ради бога, если это его устраивает…

Но на какой-то миг словно мятежное пламя вспыхнуло в его крови.

Я — это я, подумал он, я останусь Рихардом Штраусом до самой смерти и никогда не превращусь в Джерома Боша, неспособного запомнить даже самый простой мотив. Его рука, все еще державшая дирижерскую палочку, резко поднялась вверх, но для того ли, чтобы нанести удар, или для того, чтобы его отвести, — этого он сказать не мог.

Он дал ей снова упасть и поклонился — не публике, а доктору Крису.

Он ни о чем не жалел, когда Крис повернулся к нему, чтобы произнести слово, которое должно было снова погрузить его в мир забвения, — только о том, что теперь ему уже не придется положить те стихи на музыку.

Курт Воннегут
Гаррисон Бержерон

Шел 2081 год. Все люди наконец стали равны — и не просто перед богом или перед законом. Люди стали равны во всех отношениях. Никто больше не выделялся особым умом Никто больше не выделялся особой красотой. Никто больше не выделялся особой быстротой и силой. Этого равенства удалось добиться благодаря 211, 212 и 213-й поправкам к конституции, а также благодаря неусыпной бдительности агентов Главного Компенсатора Соединенных Штатов.

Однако в жизни общества равных тоже имелись свои недостатки. Люди, например, никак не могли привыкнуть к тому, что апрель больше не был весной, это буквально сводило их с ума. Именно в этот злополучный месяц агенты Главного Компенсатора и забрали Гаррисона Бержерона, четырнадцатилетнего сына супругов Джорджа и Хейзел Бержерон.

Безусловно, это была большая неприятность, тем не менее думать о происшедшем постоянно Джордж и Хейзел просто не могли. Умственные способности Хейзел точно соответствовали среднему уровню, а это значило, что ход ее мысли каждый раз круто обрывался, о чем бы она ни думала. Что касается Джорджа, то его умственные способности были выше установленного стандарта, поэтому он всегда носил в ухе маленький радиокомпенсатор — так повелел закон. Этот радиокомпенсатор был настроен на радиочастоту правительственного передатчика, который через каждые двадцать секунд посылал в эфир шумы и помехи. Это делалось для того, чтобы помешать Джорджу и ему подобным использовать свои мозги в корыстных целях, лишить их незаслуженного преимущества перед другими людьми.

Джордж и Хейзел смотрели телевизор. По щекам Хейзел текли слезы, однако она уже забыла, чем они были вызваны.

По телевизору балерины исполняли какой-то танец.

В голове у Джорджа завыла сирена. Мысли его, словно застигнутые врасплох взломщики, в панике разбежались.

— Как они здорово станцевали танец, просто чудесно! — воскликнула Хейзел.

— А? — спросил Джордж.

— Я говорю, этот танец. Просто прелесть, — повторила Хейзел.

— Угу, — согласился Джордж Он попытался сосредоточиться на балеринах. Нельзя сказать, чтобы они были очень хороши — во

всяком случае ничуть не лучше других людей. Балерины были обвешаны мешками с дробью, а лица их скрывались под масками — ведь иначе зрители, увидев грациозные жесты и хорошенькие лица, почувствовали бы себя неполноценными уродами. Джордж задумался было над тем, что распространять компенсацию на танцоров и танцовщиц, пожалуй, не стоило, но очередной шумовой импульс, принятый радиокомпенсатором, разогнал его мысли.

Джордж поморщился. Две из восьми балерин на экране тоже.

Хейзел это заметила Ее умственные способности в компенсаторе не нуждались, поэтому ей пришлось спросить у мужа, на что был похож этот последний звук.

— Как будто кто-то молотком разбил молочную бутылку, — ответил Джордж.

— Должно быть, очень интересно каждый раз слышать новые звуки, — с некоторой завистью сказала Хейзел — Это делает жизнь разнообразней.

— Угу, — подтвердил Джордж.

— Только на месте Главного Компенсатора я бы кое-что изменила, — сказала Хезйзел. Она, кстати говоря, внешне была очень похожа на Главного Компенсатора, женщину по имени Диана Мун Глемперс. — Будь я на месте Дианы Мун Глемперс, — продолжала она, — я бы по воскресеньям передавала только колокольный звон — и никаких других сигналов Как бы отдавая дань религии.

— Если бы они все время передавали колокольный звон, я бы мог думать, — возразил Джордж.

— Ну, можно сделать его громким, вот и все, — предложила Хейзел. — Это не проблема. Я думаю, из меня получился бы неплохой Главный Компенсатор.

— Как из любого другого, — заметил Джордж.

— Уж кто-кто, а я прекрасно знаю, что такое норма, — с гордостью сообщила Хейзел.

— Это точно, — кивнул Джордж. Из тумана выплыл образ сына, Гаррисона, который сидел в тюрьме как раз за то, что не хотел мириться ни с какими нормами, но в следующий миг в голове Джорджа загремел двадцатипушечный залп, и мысль оборвалась.

— Ого! — воскликнула Хейзел. — Кажется, здорово шарахнуло, да?

Шарахнуло так, что на покрасневших глазах Джорджа выступили слезы, а сам он побелел и затрясся. На экране телевизора две балерины брякнулись на пол и сейчас поднимались, держась руками за виски.

— Ты как-то сразу побледнел, осунулся, — огорчилась Хейзел. — Слушай, дорогой, почему бы тебе не прилечь на диван и не положить компенсатор на подушку? — Она имела в виду двадцатикилограммовый мешок с дробью, который, словно огромный замок, висел на шее Джорджа. — Давай, пусть мешок полежит немного на подушке — тебе станет полегче. Это ничего, что мы с тобой некоторое время будем неравны — я не против.

Джордж взял мешок в руки и попробовал его на вес.

— Он мне не мешает, — сказал он. — Я его просто не замечаю. Он стал частью моего тела.

— Последнее время у тебя такой усталый вид, на тебе прямо лица нет, — посетовала Хейзел. — Было бы здорово, если бы мы могли проделать в дне мешка маленькую дырочку и вытащить из него несколько свинцовых шариков. Всего лишь несколько.

— За каждый вынутый шарик — два года тюрьмы плюс две тысячи долларов штрафа, — напомнил Джордж. — Хорошенькие условия, нечего сказать.

— Но я же не говорю о работе, — возразила Хейзел. — Я хочу, чтобы ты мог вынимать несколько шариков хотя бы здесь, дома Ведь здесь ты ни с кем не соревнуешься, правда? Здесь ты просто отдыхаешь.

— Если бы я попытался схитрить подобным образом, — объяснил Джордж, — другие сделали бы то же самое. Подумай, что бы тогда произошло? Мы все просто вернулись бы назад, в те мрачные времена, когда над людьми довлела зверская конкуренция. Ты этого хочешь?

— Ну что ты! — испугалась Хейзел.

— Вот видишь, — сказал Джордж, — Если люди начинают заигрывать с законом, нарушать его — знаешь, что тогда случается с обществом?

Даже если бы Хейзел затруднилась с ответом, Джордж не смог бы ей помочь — гудок сирены насквозь прошил его череп.

— Оно, надо полагать, разваливается, — неуверенно предположила Хейзел.

— Что разваливается? — тупо спросил Джордж.

— Общество, — смешалась Хейзел. — Или я тебя не так поняла?

— А кто его знает? — ответил Джордж невпопад.

Неожиданно трансляцию балета прервали — передать сводку новостей. Поскольку у диктора, как у всех дикторов, был серьезный дефект речи, некоторое время нельзя было понять, о чем же сводка. Будучи в состоянии крайнего возбуждения, диктор почти полминуты не мог произнести: «Леди и джентльмены!» Наконец, осознав бесплодность своих попыток, он протянул

бюллетень с новостями одной из балерин.

— Все равно, он молодец, — похвалила диктора Хейзел, — Он старался, а это главное. Бог его обделил, но он старался вовсю. На месте его начальства я бы повысила ему зарплату за такое рвение.

— Леди и джентльмены! — балерина начала читать бюллетень. Она, должно быть, была необычайно красива, потому что лицо ее скрывала отвратительнейшая маска. Среди восьми танцовщиц она, безусловно, была самой грациозной и самой сильной физически — ее мешки-компенсаторы были впору девяностокилограммовому мужчине.

Ей тут же пришлось извиниться за свой нежный, теплый, мелодичный голос — выступать с таким голосом по телевидению было просто нечестно Она стала читать снова, стараясь звучать как можно менее привлекательно.

— Гаррисон Бержерон, четырнадцати лет, — прочитала она каркающим, скрипучим голосом, — только что сбежал из тюрьмы, где он содержался по подозрению в организации правительственного переворота. Он обладает редким умом и огромной физической силой, подвержен лишь частичному воздействию компенсаторов. Чрезвычайно опасен.

На экране возникла сделанная в полиции фотография Гаррисона Бержерона — сначала вверх ногами, потом боком, снова вверх ногами и, наконец, как надо. На фотографии Гаррисон был снят во весь рост, а роль фона выполняла метрическая сетка. Рост Гаррисона превышал два метра.

Гаррисон был сверху донизу обвешан металлическими болванками и брезентовыми мешками с дробью. Таких тяжелых компенсаторов не носил больше никто. Гаррисон развивался так быстро, что люди Главного Компенсатора просто не успевали изобретать для него новые помехи и ограничители. Например, вместо маленького радиокомпенсатора для ограничения умственных способностей ему приходилось носить огромные наушники. На глазах у него были очки с очень сильной диоптрией, которые, по замыслу проектировщиков, должны были не только сделать из него полуслепого, но еще и вызывать страшную головную боль.

Металлические доспехи болтались на Гаррисоне без всякой системы. Обычно компенсаторы для сильных людей изготовлялись с военной аккуратностью, выглядели симметрично. Гаррисон же был похож на ходячий склад металлолома. Закон, ставящий между всеми людьми знак равенства, обязывал Гаррисона носить на себе более ста тридцати килограммов.

Внешность Гаррисона тоже нуждалась в компенсации, и

агенты Главного Компенсатора заставляли его носить на носу красную резиновую блямбу, сбривать брови и закрашивать некоторые зубы в черный цвет, превращая ровный ряд в кривую, редкую изгородь.

— Если вы увидите этого человека, — читала балерина, — не пытайтесь, повторяю, не пытайтесь, вступать с ним в какой-либо контакт.

Вдруг раздался громкий скрип — с петель сорвали дверь. По студии пронесся вопль изумления и ужаса. Фотография Гаррисона Бержерона, словно танцуя в такт толчкам землетрясения, подпрыгнула несколько раз на телеэкране.

Джордж Бержерон сразу определил истинную причину землетрясения, и в этом не было ничего удивительного — его собственный дом не раз отплясывал под ту же грохочущую мелодию.

— Боже мой! — произнес Джордж. — Это же Гаррисон!

Однако мысль эта, не успев толком дойти до сознания Джорджа, тут же вылетела прочь — в голове его визгливо заскрежетали тормоза автомобиля.

Когда Джордж снова открыл глаза, фотография Гаррисона уже исчезла. Ее место на экране занял настоящий, живой Гаррисон.

Огромный, по-клоунски неуклюжий, звенящий металлоломом Гаррисон стоял посреди студии. В руке он держал ручку вырванной с корнем входной двери. Перед ним, сжавшись от страха, на коленях стояли балерины, музыканты, дикторы и работники студии.

— Я — ваш император! — провозгласил Гаррисон. — Слышите? Я — ваш император! Вы все должны беспрекословно мне подчиняться.

Он топнул ногой, и студия затряслась.

— Даже сейчас, — выкрикнул Гаррисон, — когда я окован железом, изуродован и измучен, я все равно сильнее и значительнее любого из существовавших до меня властелинов. А теперь смотрите, какой я на самом деле!

Легко, словно бумажную веревку, Гаррисон разорвал ремни, на которых висели его доспехи-компенсаторы. А ведь эти ремни должны были выдерживать груз в две с половиной тонны!

Тррах! Груда металла рухнула на пол.

Гаррисон просунул большие пальцы рук под замок компенсатора мозговой деятельности. Дужки замка хрустнули, как ванильный сухарь. Гаррисон с силой швырнул в стену свои наушники и очки, и они разбились вдребезги.

Наконец, он сорвал с носа резиновую блямбу, и взору

предстал человек, которого испугался бы сам бог-громовержец.

— А теперь я выберу себе императрицу! — объявил Гаррисон, глядя на коленопреклоненную толпу. — Первая, кто осмелится встать на ноги, получит доблестного супруга и трон!

После минутной паузы поднялась балерина, читавшая бюлле-*1* тень. Она качалась, словно ива.

С величайшей учтивостью Гаррисон извлек из ее уха маленький радиокомпенсатор и освободил ее от тяжелых мешков. Затем он убрал с ее лица маску.

Девушка была ослепительно красива.

— Сейчас, — сказал Гаррисон, взяв ее за руку, — мы всем покажем, что такое настоящий танец. Музыка! — приказал он.

Музыканты поспешно взобрались на свои стулья. Гаррисон сорвал с них компенсаторы.

— Покажите лучшее, на что вы способны, — потребовал он, — и я сделаю вас баронами, герцогами и графами.

Заиграла музыка. Сначала она была обычной — дешевой, пустой, фальшивой. Тогда Гаррисон вытащил двух музыкантов из кресел и начал размахивать ими, как дирижерскими палочками, а сам в это время напевал, давая оркестру понять, чего он от них хочет. Затем он вонзил двух музыкантов в их кресла.

Вновь заиграла музыка, на этот раз гораздо лучше.

Некоторое время Гаррисон и его императрица просто слушали музыку, слушали внимательно, как бы стараясь совместить с ней биение своих сердец.

Они замерли на кончиках пальцев.

Гаррисон положил свои большие руки на крошечную талию девушки, давая ей возможность проникнуться чувством невесомости

И вдруг, словно подброшенные волной красоты и грации, они взлетели в воздух!

Они взлетели в воздух вопреки всем земным законам, вопреки законам притяжения и движения.

Они кружились, вертелись, вращались, выделывали антраша, пируэты и коленца.

Они прыгали, как олени на луне

Потолок студии достигал десяти метров, но с каждым прыжком они приближались к нему все ближе.

Было ясно, что они хотят коснуться потолка губами.

Им это удалось.

И тогда, победив притяжение с помощью любви и простого желания, они на мгновение повисли в воздухе, в десяти сантиметрах от потолка, и подарили друг другу долгий, долгий поцелуй.

В эту минуту в студию вошла Диана Мун Глемперс, Главный Компенсатор. Она держала в руках двухстволку десятого калибра. Она дважды нажала на курок, и император с императрицей нашли свою смерть, даже не долетев до пола.

Диана Мун Глемперс перезарядила ружье. Она направила его на музыкантов и велела им надеть свои компенсаторы в течение десяти секунд.

В это время у Бержеронов что-то случилось с телевизором — исчезло изображение. Хейзел повернулась к мужу спросить, в чем дело, но Джордж только что вышел в кухню за банкой пива.

Джордж вернулся в комнату с банкой в руках. Он остановился и подождал, пока в голове отгремит очередной радиосигнал Потом сел на диван.

— Ты плакала? — спросил он жену.

— Угу.

— О чем?

— Точно не помню, — ответила она. — Кажется, по телевизору показывали что-то очень грустное.

— Что именно? — спросил Джордж.

— У меня в голове все почему-то смешалось, — пожаловалась она.

— Не нужно думать о грустных вещах, — посоветовал он.

— Я никогда и не думаю, — ответила Хейзел.

— Вот умница, — похвалил Джордж. И тут же поморщился — в голове отбойный молоток дал короткую очередь.

— Ух ты! Видно, как следует тебя шарахнуло, — огорчилась Хейзел.

— Что ты сказала? Повтори, — пробормотал Джордж,

— Ух ты! — повторила Хейзел. — Видно, как следует тебя шарахнуло.

Перевел с английского М. Загот

Джеймс Боллард
Голоса времени

1

Позднее Пауэрс часто думал об Уайтби и о странных углублениях, которые биолог выдолбил, казалось, без цели, на дне оставленного плавательного бассейна. На дюйм глубиной и длиной в двадцать футов они складывались в какой-то сложный иероглиф, похожий на китайский. Этот труд занял у нее все лето и, забыв о других занятиях, измученный, он долбил их неустанно долгими послеобеденными часами в пустыне. Пауэрс временами приглядывался к нему, останавливаясь на минуту в окне неврологического блока. Он смотрел, как Уайтби отмерял длину углублений и как выносил в маленьком брезентовом ведерке трудолюбиво отколупываемые кусочки цемента. После самоубийства Уайтби никто не интересовался углублениями, лишь Пауэрс часто брал у администратора ключи, открывал ворота, ведущие к бесполезному уже бассейну и долго приглядывался к лабиринту выбитых в цементе борозд, до половины наполненных водой, вытекавшей из испортившихся труб.

Поначалу однако Пауэрс был занят окончанием своей работы в клинике и планированием своего последнего уже ухода. После первых нервных, панических недель он смирился с ситуацией, с тем самым полным спокойствия фатализмом, с каким до тех пор соглашался на судьбу на судьбу своих пациентов. К счастью, редукция физических и умственных градиентов происходила в нем одновременно, летаргия и бессилие притупляли беспокойство, а слабеющий метаболизм принуждал его к концентрации всего внимания на создании осмысленных конструкций мысли. Все увеличивающиеся изо дня в день периоды сна без сновидений становились даже целебными. Он заметил, что ожидал периоды сна, не пробуя будить себя раньше, чем это было необходимо.

Поначалу он постоянно держал на ночном столике будильник и старался наполнять все более короткие часы бодрствования как можно большим числом занятий. Он привел в порядок в библиотеку, каждый день ездил в лабораторию Уайтби, чтобы просматривать свежие партии рентгеновских пленок, выделял себе каждый час и минуту как последние капли воды. К счастью, Андерсен объяснил ему бессмысленность такого поведения.

Отказавшись от работы в клинике, Пауэрс не забросил еженедельных визитов и медицинских обследований в кабинете Андерсена. Это, правда, было уже обычной формальностью, полностью лишенной смысла. Во время последнего визита

Андерсен сделал ему анализ крови; обратил внимание на все большую набряклость мышц лица, слабеющие глазные рефлексы и небритые щеки Пауэрса.

Улыбаясь через ожог, Андерсен некоторое время раздумывал, что ему сказать.

Когда-то он еще пробовал утешать пациентов поинтеллигентней. Но с Пауэрсом, который был способным нейрохирургом и человеком, находящимся в гуще жизни, создававшим оригинальные вещи, разговор не был легким. Мысленно обращался к нему: «Мне чертовски жаль, Роберт, но что же тебе говорить?.. Даже Солнце остывает со дня на день»… Он смотрел, как Пауэрс беспокойно постукивал пальцами по эмалированной поверхности стола, поглядывая временами на схемы скелета, развешанные по стенам кабинета. Помимо запущенного вида — неделю он уже носил одну и ту же не глаженную рубашку и грязные теннисные туфли — Пауэрс производил впечатление человека, владеющего собой и уверенного в себе, как конрадовский охотник, без остатка примирившегося со своим несчастьем.

— Над чем работаешь, Роберт? — спросил он. — Все еще ездишь в лабораторию Уайтби?

— Если только могу. Переправа на ту сторону по дну озера занимает у меня около получаса, а будильник не всегда будит меня вовремя. Может, следовало бы обосноваться там постоянно, — сказал Пауэрс.

Андерсен сморщил лоб.

— Есть ли смысл? Насколько мне известно, работа Уайтби имела абстрактный характер… — он прервался, осознав, что такой комментарий содержит критику неудавшихся исследований самого Пауэрса, но Пауэрс, казалось, этого не замечал, приглядываясь в молчании очертаниям теки на потолке. — Во всяком случае, не лучше бы остаться среди дел и вещей знакомых, перечитать еще раз Тойнби и Шпенглера?

Пауэрс коротко рассмеялся.

— Это было бы последнее дело, на которое мне пришла бы охота. Я хотел бы забыть Тойнби и Шпенглера, а не напоминать их себе. А по правде говоря, я хотел бы забыть все, но мне наверняка не хватит времени. Как много можно забыть за три месяца?

— Вероятно все, если только хочется. И не пробуй соревноваться со временем, — сказал Андерсен.

Пауэрс кивнул головой, повторяя себе мысленно эти слова. Действительно, он пробовал соревноваться со временем. Прощаясь с Андерсоном, он внезапно решил выкинуть будильник

и раз и навсегда освободиться от магии времени.

Чтобы помнить об этом, он снял с руки часы и не глядя передвинул стрелки, после чего сунул часы в карман. По дороге к паркингу он осознавал свободу, которую получил после этого простого действия. Он исследует теперь обходы и боковые улочки коридора времени. Три месяца могут быть вечностью.

Он заметил свой автомобиль и пошел к нему, закрывая глаза рукой от лучей Солнца, проходящими через параболическую выпуклость крыши над лекционным залом. Он как раз собирался сесть в машину, когда заметил, что на покрытом пылью окне кто-то выписал 96 688 365 498 721.

Поглядев через плечо, он узнал припаркованного рядом паккарда. Он наклонился, чтобы заглянуть внутрь него, и увидел молодого, светловолосого мужчину с высоким лбом, который приглядывался к нему через темные солнечные очки. Около него за рулем сидела кудрявая девушка, которую он часто видел вблизи факультета психологии. У девушки были интеллигентные, слегка раскосые глаза и Пауэрс припомнил, что молодые врачи называли ее «девушкой с Марса».

— Калдрен, ты все еще следишь за мной? — спросил он.

Калдрен кивнул.

— Почти все время, доктор, — он остро посмотрел на Пауэрса. — Вы не показываетесь последнее время. Андерсон сказал мне, что вы отказались от работы и двери в вашем кабинете постоянно замкнуты.

Пауэрс пожал плечами.

— Я пришел к выводу, что мне нужен отдых. Есть много дел, которые стоит обдумывать вторично.

Калдрен усмехнулся полупрезрительно.

— Мне очень жаль, доктор. Но не впадайте в депрессию из-за временных затруднений. — В этом момент он заметил, что девушка с интересом приглядывается к Пауэрсу. — Кома очарована вами, — добавил он. — Я дал ей прочитать ваши статьи из «American Journal of Psychiatry» и она старательно их проштудировала.

Девушка мило улыбнулась Пауэрсу, уничтожая на момент враждебность между мужчинами. Когда Пауэрс кивнул головой все направлении, она перегнулась через Калдрена и сказала:

Как раз сегодня я закончила автобиографию Ногухи, великого японского медика, который открыл спирохету. В каком-то смысле вы его мне припоминаете — столько вас в каждом из пациентов, которыми вы занимались.

Пауэрс усмехнулся, потом взглянул на Калдрена. Мгновение они уныло смотрели в глаза друг другу, через минуту правая

щека Калдрена дернулась нервным тиком. Калдрен с усилием овладел мускулами лица, злой, что Пауэрс был некоторое время свидетелем его замешательства.

— Как пошли у тебя сегодня дела в клинике? — спросил Пауэрс. — Все еще у тебя бывают… головные боли?

Калдрен сильно сжал губы, видимо, раздраженный вопросом.

— Кто в конце концов занимается мной, вы или Андерсон? Есть у вас право задавать мне сейчас такие вопросы?

Пауэрс пожал плечами.

— Нет, скорей всего, — сказал он. Внезапно он почувствовал себя страшно усталым, жара вызывала у него чуть ли не головокружение, ему хотелось расстаться с ними как можно скорей. Он открыл дверцу машины, но осознал, что Калдрен может поехать за ним, чтобы столкнуть его где-нибудь по дороге в кювет, или заблокировать своей машиной дорогу так, чтобы он вынужден был ехать за Калдреном в жаре полудня. Калдрен был способен на любое безумство.

— Ну, я должен уже идти, есть еще кое-какие дела, — сказал он, а потом добавил более резко. — Позвони мне, если Андерсон когда-нибудь не сможет тебя принять.

Он махнул им на прощание рукой и отошел. В стекле окна он еще видел, как Калдрен внимательно приглядывается к нему.

Он вошел в здание отдела неврологии и несколько минут стоял чуть ли не счастливый в холодном вестибюле. Наклонам головы поздоровался с медицинскими сестрами и вооруженными револьвером стражником у столика привратника. По каким-то странным причинам, которые он никогда не мог себе уяснить, спальные залы блока всегда были полны зевак, большей частью чудаков и сумасшедших, которые пришли сюда, чтобы предложить больнице свои магические антинаркотические средства. Часть из них были и нормальными людьми. Многие прибыли с тысячемильных расстояний, гонимые, видимо, странным инстинктом, как мигрирующие животные, чтобы осмотреть место, в котором навеки упокоится их род.

Пауэрс прошел коридором, который вел к конторе администрации, взял ключ и через теннисный корт дошел до бассейна на противоположной стороне двора.

Бассейном уже несколько месяцев не пользовались и замок в дверях действовал только благодаря стараниям Пауэрса. Войдя внутрь, он замкнул за собой дверь и, медленно двигаясь по некрашенным доскам, дошел до самого конца — наиболее глубокой части бассейна. Он остановился на трамплине и минуту смотрел на идеограмму Уайтби. Идеограмма была кое-где прикрыл мокрыми листьями и клочками бумаги, но образ все еще

можно было разобрать. Он занимал чуть ли не все дно бассейна и на первый взгляд припоминал как бы огромный солнечный диск с четырьмя радиальными плечами — примитивную юнговскую мандалу.

Раздумывая, что склонило Уайтби выбить незадолго до смерти эту странную фигуру, Пауэрс внезапно заметил что-то движущееся по середине диска. Черное, покрытое скорлупой животное длиной в фут возилось в грязи, с трудом приподнимаясь на задних лапах. Скорлупа животного была изрисована и в какой-то степени напоминала панцирь армадила. Дойдя до края диска, животное на секунду задержалось, заколебалось, после чего отступило обратно к центру, не желая, или не имея возможности перейти узкий ровик.

Пауэрс осмотрелся вокруг, потом вошел в одну из кабин, окружающий бассейн, и сорвал с заржавевших держателей небольшой шкафчик для одежды.

Держа его, он спускался по хромированной лестнице на дно бассейна и приблизился к явно обеспокоенному животному. Оно пробовало бежать, но он схватил его и впихнул в шкафчик.

Животное было тяжелым, весило по крайней мере не меньше кирпича. Пауэрс дотронулся до массивного оливкового панциря, из которого высовывалась треугольная голова, похожая на голову ужа. Он смотрел на ороговевшие конечности, которые видом напомнили ему вдруг шипы птеродактиля. Минуту он приглядывался морганиям глаз с тремя веками, смотревших на него со дня ящика.

— Ожидаешь сильной жары, — сказал он тихо.

— Этот свинцовый зонтик, который на себе носишь, должен тебя охлаждать…

Он закрыл дверку, вылез из бассейна, прошел через контору администратора и направился к своему автомобилю.

«…Калдрен все еще за что-то на меня обижен (написал Пауэрс в своем дневнике). По каким-то причинам не хочет согласиться со своей изоляцией, постоянно вырабатывает новые ритуалы, которые должны заменить ему часы сна. Я должен быть, быть может, сказать ему о своем быстро приближающемся нулевом рубеже, но он наверняка воспринял бы это как последнее, непростительное оскорбление. Я имею в избытке то, чего он так отчаянно жаждет. Неизвестно, что могло бы случиться. К счастью, эти мои ночные кошмары в последнее время пока ослабели…»

Отодвинув дневник в сторону, Пауэрс наклонился над столом и некоторое время смотрел через окно на белое дно высохшего озера, тянущееся до самого горизонта. На расстоянии трех миль,

на противоположном берегу, в ясном воздухе второй половины дня вращалась чаша радиотелескопа; с его помощью Калдрен неустанно вслушивался в Космос, бродя в миллионах кубических парсеков пустоты, как кочевники, открывающие море на берегах Персидского залива.

За спиной Пауэрса мурлыкал климатизатор и холодная струя воздуха расплывалась на светло-голубых стенок комнаты, едва видных в сумерках.

Снаружи воздух был ясным и тяжелым, из зарослей позолоченных кактусов тут же под окнами клиники выливались волны жара, разливаясь по острым террасам двадцатиэтажного здания неврологии. Там, в молчащих спальнях, изолированных замкнутыми ставнями, неизлечимых спали своим бессонным сном. Было их уже в клиники больше пятисот, обитателей форпоста гигантской армии сомнамбуликов, выполняющей свой последний марш. Едва пять лет минуло с тех пор, как в первый раз распознали симптомы наркомы, но огромные правительственные больницы уже были готовы к приему тысяч. Случаи наркомы становились со дня на день все более многочисленными.

Пауэрс почувствовал себя усталым. Он глянул на руку, туда, где обычно носил часы, задавая себе вопрос, сколько еще времени до восьми, до начала его сна на этой неделе. Он засыпал сейчас всегда перед сумерками, и знал, что вскоре подойдет его последний рассвет.

Часы были в кармане и он напомнил себе, что решил его уже никогда не использовать. Так что он сидел, присматриваясь к книжным полкам, располагавшимся напротив письменного стола. На них был ряд переплетенных в зеленое публикаций Комиссии по Атомной Энергии, которые он принес сюда из библиотеки Уайтби, как и статьи, в которых Уайтби описал свою работу в Тихом океане после взрыва водородной бомбы. Многие из них Пауэрс знал чуть не наизусть, читал их сотни раз, стремясь понять последние открытия умершего биолога. Насколько легче было бы забыть Тойнби!

Черная стена где-то в фоне сознания бросила тень на его мысли и на секунду у него потемнело в глазах. Он вытянул руку за дневником, думая о девушке, которую видел в машине Калдрена (Кома, как назвал ее Калдрен; еще одна сумасшедшая шутка Калдрена) и ее замечанию о Ногухи. Аналогия касалась, вероятно, больше Уайтби, чем его. Чудовища в лаборатории были только порождениями воображения Уайтби, как к примеру, та панцирная жаба, которую он нашел утром в бассейне. Думая о Коме и о дружеской улыбке, которую она ему подарила, он

записал в дневнике.

«Проснулся в 6.33 утра. Последний визит у Андерсона. Он дал мне понять, что дальнейшие визиты лишены смысла и лучше буду чувствовать себя в одиночестве. Заснуть в восемь? (Предопределенность сроков меня поражает).»

Он остановился на секунду, потом добавил:

«Прощай, Эниветок!»

2

С девушкой он встретился на следующий день в лаборатории Уайтби. Он поехал туда сразу после завтрака, забрав с собой зверька, найденного в бассейне; он хотел заняться им, прежде чем тот умрет. Единственный панцирный мутант, на которого он наткнулся до этого, едва не оказался причиной его смерти. Месяц назад, когда он ехал вокруг озера на автомобиле, то ударил передним колесом в зверька, уверенный, что попросту раздавит его. Но насыщенный свинцом панцирь животного выдержал, хотя внутренности были размножжены, сила удара столкнула машину в кювет. Он взял тогда с собой панцирь, взвесил его позднее в лаборатории и обнаружил, что тот содержал около 600 граммов свинца.

Многие разновидности растений и животных начали производить тяжелые материалы, которые должны были служить вам радиационная защита. В горах, лежащих по ту сторону пляжа, двое старых золотоискателей пробовали заставить работать брошенные восемьдесят лет назад золотодобывающие машины. Они заметили, что растущие вокруг шахты кактусы покрыты желтыми пятнами. Анализ показал, что растения начали поглощать количества золота, оплачивающиеся при переработке, хотя содержание золота в залежи было ниже границы оплачиваемости. Таким образом старая шахта начала в конце концов приносить прибыль.

Проснувшись в то утро в 6.45 на десять минут позднее, чем в предыдущий день (он констатировал это, слушая по радио одну из постоянных утренних программ) — он неохотно съел завтрак, около часа запаковывал книги, после чего адресовал посылки брату.

Получасом позднее он уже был в лаборатории Уайтби. Лаборатория помещалась в геодезическом куполе стофутового диаметра, построенном рядом с квартирой, на западном берегу озера, на расстоянии около мили от летней резиденции Калдрена. Вилла не использовалась со времени самоубийства Уайтби.

Большинство экспериментальных растений и животных вымерло, прежде чем Пауэрс получил разрешение на доступ в лабораторию.

Сворачивая в подъездную аллею, Пауэрс увидел Кому, стоявшую на вершине купола. Ее стройная фигура ярко выделялась на фоне ясного утреннего неба.

Она помахала ему приветственно рукой, соскользнула по

стеклянным плитам купола и соскочила на дорогу рядом с машиной.

— Добрый день, — сказала она улыбаясь. — Я пришла посмотреть ваш зоопарк.

Калдрен утверждал, что вы меня не впустите, если он будет сопровождать меня поэтому я ему сказала, что пойду одна.

И пока Пауэрс в молчании рылся в карманах, разыскивая ключи, она добавила:

— Если хотите, я выстираю вам рубашку.

Пауэрс усмехнулся, глядя на свои покрытые пылью, пропотевшие манжеты.

— Неплохая, мысль, — сказал он. Выгляжу я действительно несколько запущенно. — Он открыл двери и взял Кому за руку. Не знаю также, почему Калдрен болтает такие глупости. Он может приходить сюда, когда только захочет.

— Что у вас там, в ящике? — спросила Кома, указывая на шкафчик, который он нес.

— Наш дальний родственник, которого я только что открыл. Очень интересуя особа. Сейчас я его вам представлю.

Передвижные перегородки длили здание на четыре части. Две из них служили складом, наполненным запасными контейнерами, аппаратурой и кормам для животных. Они прошли как раз в третью, в которой размещался гигантский рентгеновский аппарат, 250-мегаперовый Дж*Е*Макситрон, установленный вблизи подвижного круглого стола. Везде вокруг лежали защитные бетонные блоки, похожие на большие кирпичи.

В четвертой части помещался зоопарк Пауэрса. На скамьях в раковинах были расставлены виварии, на вентиляционных крышках были наклеены графики и записи, разных очертаний и цветов. На полу виднелись электрические провода и резиновые трубы. Пока они шли вдоль контейнеров, за матовыми стеклами двигались тени живущих внутри существ. В глубине ниши, рядом со столом Пауэрса, они услышали шедший из клетки шум.

Поставив ящичек, Пауэрс взял со стола кулек орешков и подошел к клетке.

Маленький, черноволосый шимпанзе в пилотском шлеме приветствовал их, повиснув на решетке, веселым верещанием, после чего, оглядываясь через плечо, отскочил к пульту, установленному на задней стенке клетки. Он начал поспешно нажимать клавиши и клетка наполнилась мозаикой цветных огней.

— Ловкач, — сказал Пауэрс, похлопывая шимпанзе по спине. Потом он высыпал в лапу тому горсть орешков. — Чересчур умен для этого, а? — добавил он, когда шимпанзе ловким движением

фокусника, демонстрирующего свое искусство, бросил орешки себе в рот, все время вереща.

Смеясь, Кола взяла несколько орешков и дала их обезьяне.

— Он великолепен. Ведет себя так, словно разговаривает с вами.

Пауэрс кивнул головой.

— Да, он действительно со мной разговаривает. Он располагает двумястами словами, но не может справиться с разделением слогов.

Из холодильника, стоявшего около стола, он вынул полбуханки нарезанного хлеба и вручил ее шимпанзе, который тот час же, словно только того и дожидался, схватил с пола тостер и поставил его на столе посредине клетки.

Пауэрс нажатием кнопки включил ток и через минуту с тостера долетел шелест нагревающейся проволоки.

— Это один из интеллигентнейших экземпляров, какие мы имеем. Уровень его интеллигенции равняется более-менее разуму пятилетнего ребенка, но в определенных отношениях шимпанзе гораздо более автономен, — сказал Пауэрс.

Из тостера выскочили два кусочка хлеба, которые шимпанзе тут же схватил, после чего, словно нехотя ударив лапой в шлем дважды, прыгнул к будке, построенной в углу клетки, где с рукой, с полной свободой свешивавшейся через окошечко, начал спокойно и не спеша есть.

— Он сам себе построил этот дом, — сказал Пауэрс, выключая ток. — Не плохо, а? — он показал одновременно на брезентовое ведро, из которого торчало несколько уже засохших стеблей пеларгонии. — Он следит притом за цветами, сам себе чистит клетку, безустанно щебечет, осыпая нас потоком шуток. В высшей степени, как видите, великолепный и забавный экземпляр.

Кома не могла удержаться от смеха.

— Но для чего этот шлем? — спросила она.

Пауэрс заколебался.

— Это для самозащиты. У него временами болит голова. Все его предшественники… — он прервался и поглядел в сторону. — Пойдемте, поговорим с другими жильцами, — сказал он.

Они в молчании прошли на другой конец зала.

— Начнем сначала, — сказал Пауэрс и снял стеклянную крышку с одного из контейнеров. Кола заглянула внутрь. В мелкой воде среди камешков и ракушек она заметила маленькое, округлое существо, облепленное словно бы сеткой щупалец.

— Морской анемон. А точнее, бывший морской анемон. Примитивное кишечнополостное, — сказал Пауэрс и показал

пальцем на отвердевший хребет существа. — Он залепил отверстие и превратил канальчик во что-то, что можно бы назвать зародышем позвоночника. Позднее щупальца переродится в нервную систему, уже сейчас реагирует на цвет. Взгляните. — Он взял фиолетовый платок Комы предложил его над контейнером. Щупальца начали сокращаться и расслабляться, потом свиваться, словно хотели локализовать впечатление.

— Любопытно, что щупальца полностью не реагирует на белый цвет. В нормальных условиях щупальца реагируют на смены давления, как барабанная перепонка в человеческом ухе. И сейчас щупальца словно слышат краски. Это означает, что существо приспосабливается к существованию вне воды, к жизни в статичном мире, полном резких, контрастных цветов.

— Но что все это значит? — спросила Кома.

— Еще минуту терпения, — сказал Пауэрс.

Они прошли вдоль скамьи до группы контейнеров в форме барабанов, сделанных из антимоскитной сетки. Над первым из них висела огромная, увеличительная микрофотография чертежа, напоминавшего синоптическую карту, а над ней надпись: «Дрозофила — 15 ренг./мин.» Пауэрс постучал пальцем в маленькое окошечко барабана.

— Фруктовая мушка. Ее огромные хромосомы прекрасно подходят для исследований, — сказал он, наклонился и дотронулся пальцем до огромного улья в форме буквы «Ъ», висящего на стенке барабана. Из улья выползло несколько мух. — В нормальных условиях каждая из них живет отдельно. Здесь они создали форму общественной жизни и начали выделять что-то вроде разведенной сладковатой жидкости, напоминающей мед.

— А зачем это, — спросила Кола, касаясь пальцем чертежа.

— Схема действия ключевых генов, — сказал Пауэрс. Он провел пальцем по стрелкам, ведущим от центра до центра. Над стрелками виднелась надпись «лимфатические железы», а ниже «запирающие мышцы, темплет».

— Это немного походит на перфокарту пианолы, правда? — спросил Пауэрс.

— Или ленту компьютера. Достаточно выбить рентгеновскими лучами один из центров, и уже меняется черта, возникает что-то новое.

Кома посмотрела на второй контейнер и с отвращением стиснула губы.

Через ее плечо пауэрс увидел, что она смотрит на огромное, похожее на паука насекомое. Оно имело размеры человеческой руки, а волосатые конечности толщиной, по меньшей мере, с человеческий палец. Мозаичные глаза напоминали огромные

рубины.

— Это не выглядит приятно, — сказала Кола. — А что это за веревочная лестница, которую он плетет? — Когда она поднесла палец к губам, паук двинулся, залез в глубину клетки и стал выбрасывать из себя спутанную массу нитей, которые продолговатыми петлями повисли под потолком клетки.

— Паутина, — сказал Пауэрс, — с той только разницей, что состоит она из нервной ткани. Те лестницы, которые вы видите, являются наружной нервной системой, словно бы продолженным мозгом, который паук может выкачивать из себя в зависимости от обстоятельств. Мудрое изобретение. Это намного лучше, чем наш собственный мозг.

Кома на несколько шагов отступила от клетки.

— Ужасно. Не хотела бы я иметь с ним дело.

— Он не так страшен, как выглядит. Эти огромные глаза, которые в вас всматриваются, слепы. Их чувствительность уменьшается, зрачок реагирует только на гамма-лучи. Стрелки ваших часов светящиеся. Когда вы двинули рукой перед окном, паук прореагировал. После четвертой мировой войны он действительно окажется в своей стихии.

Когда они вернулись к столу, Пауэрс включил кофеварку и подал стул Коме. Потом он открыл ящичек, вынул из него закованную в панцирь жабу и положил ее на куске бумаги на столе.

— Узнаете? Это товарищ наших детских лет, обычная жаба. Она построила себе, как видите, достаточно солидное бомбоубежище. — Он положил жабу в раковину, открыл кран и смотрел, как вода мягко стекает по панцирю. Вытер руки о рубашку и вернулся к столу.

Кома убрала подальше на глаза волосы и смотрела на него с любопытством.

— Ну скажите же мне наконец, что все это значит, — попросила она.

Пауэрс зажег сигарету.

— Это ничего не значит. Тератологи годами производят чудовищ. Вы когда-нибудь слышали о так называемой «молчащей паре»?

Кома покачала головой.

Минуту Пауэрс задумчиво смотрел на нее.

— Так называемая «молчащая пара» является одной из самых старых проблем современной генетики, не позволяющая себя разгадать тайна двух пассивных генов, которые появляются у небольшого в процентах числа живых организмов и не имеют ни одной ясно определенной функции в строение или развитии этих

организмов. Много лет биологи пробовали оживить их, а скорее принудить к действию, но трудность была в том, что эти гены, даже если существуют, не дают себя легко отделить среди других, активных генов, находящихся в оплодотворенных яйцеклетках, а кроме того, нелегко подвергнуть их действию достаточно узкого пучка рентгеновских лучей так, чтобы не повредить остальной хромосомы. И все же, в результате десятилетнего труда биолог по фамилии Уайтби изобрел эффективный метод полного облучения всего организма, базирующийся на наблюдениях, которые он сделал в области радиологических повреждений на островке Эниветок.

Минуту царило молчание.

— Уайтби заметил, — продолжал дальше Пауэрс, — что повреждения, являвшиеся следствием взрыва, были большими, чем это следовало по величине энергии, по непосредственному облучению. Это было результатом того, что протеиновая структура в генах запасала энергию таким же способом, как и колеблющаяся в резонанс мембрана.

— Вы помните аналогию с мостом, распадающимся под влиянием шага полка, идущего в ногу? Уайтби пришло в голову, что если бы ему удалось определить сначала критическую резонансную частоту структуры в каком-то выбранном молчащем гене, он мог бы облучать небольшой дозой весь организм, а не только органы размножения, и действовать лишь на молчащий ген, без повреждения остальных хромосом, структуры которых реагировали бы резонансно на совсем другой вид частоты. — Рукой, в которой он держал сигарету, Пауэрс обвел вокруг, — Вы видите здесь плоды этой изобретенной Уайтби техники «резонансного перемещения».

Кома кивнула.

— Молчащие гены этих организмов были разбужены? — спросила она.

— Да, всех этих. То, что вы тут видите, это лишь несколько из тысяч экземпляров, которые прошли через эту лабораторию. Результаты, можно сказать, поразительные.

Он встал и опустил противосолнечные жалюзи. Они сидели тут же под выгнутой крышей купола и все более сильное солнце становилось трудно выдерживать. В полумраке внимание Комы привлек стробоскоп, сверкающий в одном из контейнеров. Она встала и подошла туда, присматриваясь мгновение к высокому подсолнечнику с толстым ребристым стеблем и просто невероятно огромным диском. Построенная вокруг цветка так, что видно было только его верхнюю часть, виднелась труба, сложенная грязно-белых, мастерски подогнанных камешков с

подписью:

«Мел: 60000000 лет.»

Рядом на скамье были установлены три меньших трубы с этикетками: «Песчаник девонский: 290000000 лет», «Асфальт: 20 лет», «Полихлорвинил: 6 месяцев».

— Вы видите эти влажные белые диски на лепестках? — спросил Пауэрс, подходя к Коме. — В какой-то степени они регулируют метаболизм растения. Оно буквально видит время. Чем старше окружение, тем медленнее метаболизм. В контакте с трубой из асфальта его годовой цикл развития длится неделю, в контакте с полихлорвинилом — два часа.

— Видит время, — повторила за ним Кома. Она взглянула на Пауэрса, в задумчивости прикусывая нижнюю губу. — Это невероятно. Неужели это создания будущего?

— Не знаю, — сказал Пауэрс. Но если и так, то их Ашр будет чудовищно сюрреалистичен.

3

Он вернулся к столу, вынул две чашки из ящика, налил в них кофе и выключил кофеварку.

— Некоторые утверждают, что организм, имеющие молчащую пару генов, — предвестники какого-то всеобщего продвижения кривой эволюции, что молчащие гены — это что-то вроде кода, послания, которое мы, низшие организмы, носим в себе для использования высшими, которые должны появляться после нас. Быть может, мы открыли этот код слишком рано, — сказал Пауэрс.

— Что вы под этим понимаете?

— Потому что, делая выводы из смерти Уайтби, опыты, проделанные тут, в лаборатории, не окончились удачей. Каждый буквально каждый из облучаемых им организмов вошел в фазу полностью некоординированного развития, создавая высокоспециализированные органы чувств, назначения которых мы не можем даже отгадать. Последствия этого развития катастрофические — анемон буквально разлетится на кусочки, дрозофилы пожрут друг друга и так далее. Осуществится ли будущее, заключенное в этих растениях и животных, когда-нибудь, или это лишь наша экстраполяция — кто может сказать? Иногда мне кажется, что эти вновь созданные органы чувств лишь пародия на планированную реализацию.

Экземпляры, которые вы тут видите, пока еще в ранней фазе второго цикла развития. С течением времени их вид будет все более странным и невообразимым.

Кома наклонила голову.

— Так, но что такое зоопарк без надзирателя? Что ждет человека?

Пауэрс пожал плечами.

— Более-менее один человек из ста тысяч имеет молчащие гены. Может, они есть, у вас, может, у меня? Никто еще не отважился поддаться полному облучению. Не упоминая уже о том, что это равносильно самоубийству, опыты, результаты которых мы видим здесь показывают, что самоубийство это было бы жестоким и ужасающим.

Он выпил кофе, чувствуя внезапно огромную усталость и скуку. Изложение результатов многолетней работы очень его утомило.

Девушка наклонилась к нему.

— Вы выглядите очень бледным, — сказала она заботливо. — Вы плохо спите?

Пауэрс принудил себя усмехаться.

— Слишком хорошо, — сказал он. — Сон не доставляет мне никаких трудностей.

— Ох, если бы это можно было сказать о Калдрене, — произнесла Кома. — Спит он слишком мало, я каждую ночь слышу, как он ходит по комнате. Но все же это лучше, чем быть неизлечимым. Как вы думаете, может, следовало применить метод облучения к пациентом, спящим в клетке? Может, это разбудило бы их, прежде чем придет конец. Может, кто-нибудь из них является носителем этих молчащих генов?

— Каждый из них имеет их, — сказал Пауэрс. — Эти два факта в сущности стоят друг с другом в тесной связи. Он был теперь уже чрезвычайно уставшим и раздумывал, не попросить ли девушку оставить его одного. Потом все же перешел на другую сторону стала и вытащил из-под него магнитофон. Включив его, он перемотал пленку и отрегулировал громкость.

— Мы часто говорили друг с другом об этом, Уайтби и я, — сказал он. — В последней фазе этих разговоров я начал их записывать. Уайтби был великим биологом, так что послушаем что он сам мог сказать по этому поводу. Именно в этом суть дела. — Он нажал на клавишу и добавил. — Я проигрывал это уже тысячу раз, так что лента немного попорчена.

Голос пожилого мужчины, резкий и раздраженный, поднимался над помехами и Кома без труда разобрала слова.

Уайтби: ради бога, Роберт, погляди на статистику ФАО. Несмотря пятипроцентного роста продукции с акра в течение последних пятнадцати лет Мировое производство пшеницы падает почти на два процента. Та же самая история повторяется ad nausean. Это касается всех остальных продуктов — корнеплодов и зерновых, молока и сои, мяса — все падает. Сравни это с целой массой параллельных явлений — от изменений в области путей миграции до удлиняющихся год от года периодов зимовки у зверей — и ты увидишь, что общая закономерность неотвратима.

Пауэрс: Естественный прирост в Европе и Южной Америке не показывает никакого снижения.

Уайтби: Конечно, нет, но об этом я уже говорил. Пройдет сто лет, пока такой крошечный упадок плодовитости окажет какое-нибудь влияние в областях, где всеобщий контроль рождаемости создает искусственный резервуар. Посмотри на стороны Дальнего Востока, а особенно на те, где смертность новорожденных держится на одном и том же уровне. Население Суматры, например, демонстрирует спад больше чем на пятнадцать процентов за последние двадцать лет. Это статистически

значимый спад! Ты отдаешь себе отчет в том, что еще двадцать или тридцать лет назад последователи неомальтузианства кричали о «взрыве» в естественном приросте населения. Оказывается, что это не взрыв, а наоборот. Добавочным факторам является…

В этом месте лента, видимо была перерезана и склеена. Уайтби более уже спокойным голосом говорил:

…попросту, так как меня это интересует, скажи мне, сколько ты ночью спишь?

Пауэрс: Не знаю точно. Около восьми часов.

Уайтби: Пресловутые восемь часов. Спроси любого, сколько времени отнимает у него сон, и он автоматически ответит, что восемь часов. В действительности спит около десяти часов, как и большинство людей. Я неоднократно проверял это на себе. Я сплю около одиннадцати часов. А еще тридцать лет назад люди посвящали на сон не более восьми часов, а веком раньше шесть или семь. В своих «Жизнеописаниях» Вазари пишет, что Микеланджело спал не дольше четырех-пяти часов в сутки, рисуя весь день, и это в возрасте восьми-десяти лет, а потом еще работал по ночам анатомического стала, с лампой над головой. Сейчас мы считаем это чем-то по разительным, но современники не видели здесь ничего необычного. Как ты думаешь, каким способом древние, от Платона до Шекспира, от Аристотеля до Фомы Аквинского, могли достичь так многого за своего жизнь? Так как у них было шесть или семь часов в сутки дополнительно. Очевидно, кроме фактора времени у нас еще и более низкая степень метаболизма. Добавочный фактор, который никто не принимает во внимание.

Пауэрс: Можно предположить, что этот увеличивающийся период сна является формой компенсации, какой-то массовой попыткой к бегству от огромного стресса городской жизни в конце двадцатого века.

Уайтби: Можно бы, но это было бы ошибкой. Это попросту биохимическая проблема. Темплеты рибонукленовой кислоты, которыми начинается протеиновая цепочка в каждом живом организме, использованы, а матрицы, которые определяют свойства протоплазмы — становятся бесформенными. И ничего удивительного, если принять во внимание, что они работают беспрерывно около миллиардов лет. Самое время на капитальный ремонт. В той самой степени, в которой ограничено время жизни каждого организма, существования колонии дрожжей или любого другого вида, тем же способом ограничена во времени жизнь всего органического мира. Всегда считалось, что кривая эволюции идет в гору, хотя в действительности она давно уже достигла

своей вершины и теперь снижается, ко всеобщему биологическому кольцу. Это, признаюсь, ужасающая и трудная для усвоения картина будущего, но эта картина единственная правдивая. Через пол миллиона лет наши потомки, которых сейчас мы воображаем себе как существа с огромным мозгом, путешествующие среди звезд будут скорее всего голыми дикарями с заросшими лбами, с воем бегущими по больнице, абсолютно как неолитический человек попавший в ужасающую инверсию времени.

Поверь, мне жаль их также, как себя самого. Мой полный провал, абсолютный недостаток права на какое-нибудь моральное или биологическое бытование уже сейчас заключен в каждой клетке моего тела…

Лента окончилась, кассета крутилась еще минуту прежде чем остановиться.

Пауэрс выключил магнитофон и инстинктивно потер напрягшиеся мышцы лица. Кома сидела в молчании, смотря на него и слушая стук косточек в коленке, которым забавлялся шимпанзе.

— Уайтби считал, — прервал молчание Пауэрс, — что молчащие гены являются последней отчаянной попыткой живой природы удержаться, как говориться, голову над прибывающей водой. Жизнь всех организмов зависит от количества энергии, излучаемой Солнцем. В момент, когда это количество достигнет критического пункта, мы перейдем линию смерти и ничто не сохранит нас от полной гибели. В защитных целях у живых организмов образовалась аварийная система, которая позволяет приспособиться к радиологически более горячему климату. Мягкокожие организмы создают панцири, содержащие большие количества тяжелых металлов — защитные щиты от излучения. Уайтби утверждал, что все это заранее проигранное дело, но я временами сомневаюсь… — он улыбнулся Коме и пожал плечами. — Ну, поговорим о чем-нибудь другом. Как долго вы знаете Калдрена?

— Более-менее три недели, хотя кажется, чего прошла уже тысяча лет, — сказала Кома.

— Что вы о нем думаете? В последнее время я как-то не контактировал с ним.

Кома улыбнулась.

— Я сама не слишком часто его вижу. Он постоянно приказывает мне спать.

Калдрен способный человек, но живет он только для себя. Вы играете в его жизни значительную роль. Собственно, вы являетесь единственным моим серьезным соперником.

— Я думал, он просто меня не выносит.

— Это лишь видимость. В действительности он неустанно о вас думает.

Потому постоянно следит за вами. — Она внимательно взглянула на Пауэрса. — Мне кажется, он чувствует себя в чем-то виноватым.

— Виноватым? — удивился Пауэрс. — Он чувствует себя виноватым? Я считал, что это мне нужно чувствовать вину.

— Вам? Почему? — Кома заколебалась, но потом спросила. — Кажется, вы провели на нем. Какие-то эксперименты?

— Да, — сказал Пауэрс. — Но эти эксперименты удались не полностью, как и многие другие, к которым я был причастен. Если Калдрен чувствует себя виноватым, то это, быть может, идет от того, что он чувствует себя в какой-то степени ответственным за мое фиаско.

Он поглядел на сидящую девушку и ее интеллигентные темные глаза.

— Да, думаю, следует вам об этом сказать. Вы говорили, что Калдрен целыми ночами ходит по комнате, что не может спать. В действительности эта нехватка сна является у него нормальным состоянием.

Кома кивнула головой.

— Вы… — она сделала движение рукой, словно что-то отрезая.

— Я наркотизировал его, закончил Пауэрс. — С хирургической точки зрения операция прекрасно удалась. За нее можно бы получить Нобелевскую премию. В нормальных условиях периоды сна у человека регулирует гипоталамус; поднимая уровень сознания он дает отдых волосковым структурам мозга и дренирует накопившиеся в них токсины. Однако, когда некоторые из управляющих петель оказываются разорваны, пациент не получает, как в нормальных условиях, сигнал ко сну и дренаж происходит в сознательном состоянии. Все, что он чувствует, это род временного помрачнения, который проходит чрез несколько часов. В физическом смысле Калдрен увеличивает наверняка свою жизнь на двадцать лет. Психе же добивается по каким-то неизвестным причинам сна, что в результате дает бури, временами терзающие Калдрена. Все это дело лишь большая и трагическая ошибка.

Кома нахмурила лоб.

— Я об этом догадывалась. В статьях, опубликованных в журналах нейрохирургов, вы называете своего пациента буквами К.А. Аналогия с Кафкой неоспорима.

— Возможно, скоро я выеду отсюда и наверное никогда уже

не вернусь, — сказал Пауэрс. — Не могли бы вы проследить, чтобы Калдрен не забрасывал своих визитов в клинику? Ткани вокруг шрама все еще требуют периодического контроля.

— Попробую. Временами у меня появляется выражение, что я сама — еще один из последних документов Калдрена, — сказала Кома.

— Документов? Каких документов?

— Вы ничего о них не знаете? Это собрание так называемых окончательных утверждений о человеческом роде, которые собирает Калдрен. Собрание сочинений Фрейда, Квартеты, Бетховена, репортажи с Нюрнбергского процесса, электронная повесь и тому подобное… — Кома прервалась видя, что Пауэрс не слушает ее. — Что вы рисуете?

— Где?

Она показала на бумагу, Пауэрс понял, что бессознательно, но с огромной точностью рисовал четырехрукое солнце, идеограмму Уайтби.

— Ах, это… это ерунда, так себе, каракум, — сказал он, почувствовал, что рисунок обладал какой-то странной, непреодолимой силой.

Кома встала, прощаясь.

— Навестите нас когда-нибудь, доктор. Калдрен столько хотел бы вам продемонстрировать. Он достал где-то старую опию последних сигналов, переданных экипажем «Меркурия-7» сразу после их посадки на Луну.

Вы помните эти странные сообщения, которые они записали незадолго до смерти, полные какого-то поэтического бреда о белых садах. Это мне немного напоминает поведение растения здесь, в вашей лаборатории.

Она сунула руки в карманы и вынула из одного из них карточку.

— Калдрен просил, чтобы я при возможности показала вам это, — сказала она.

Это была библиотечная карточка из каталога обсерватории. Посредине виднелось написанное число:

96 688 365 496 720

— Много воды утечет, пока с такой скоростью. Мы дойдем до нуля, — с сарказмом произнес Пауэрс. — Я соберу целую коллекция, пока это окончится.

Когда она вышла, он выбросил карточку в мусорную корзинку, сел у стола и целый час разглядывал вырисованную на бумаге идеограмму.

На полпути к его летнему дому шоссе разветвлялось, ведя налево, среди пустых холмов, к давно неиспользованному

военному стрельбищу, расположенному над одним из отдаленных соленых озер. Тут же за подъездными воротами было выстроено несколько малых бункеров и наблюдательных вышек, один или два металлических барака и покрытые низкой крышей здание складов. Вся площадь была окружена белыми холмами, которые отрезали ее от окружающего мира.

Пауэрс любил бродить пешком вдоль стрелковых позиций. Замыкаемых бетонными щитами на линии горизонта. Абстрактная правильность размещения объектов на поверхности пустыни вызывала в нем чувство, что он является муравьем, разгуливающим по шахматной доске, на которой расставлено две армии, одну в форме бункеров и вышек, другую — мишеней.

Встреча с Комой внезапно заставила его осознать, как бессмысленно и не так он проводил несколько своих последних месяцев. Прощай, Эниветок, — написал он в дневнике, но в сущности систематическое забывание было ничем иным как запоминание, каталогизированием вспять, перестановкой книг в библиотеке мысли и установкой их в нужном месте, но корешком к стене.

Взобравшись на одну из наблюдательных вышек, он оперся на балюстраду и стал смотреть в направлении мишеней. Ракеты и снаряды выгрызли местами целые куски бетона, но очертания огромных, стоярдовых дисков, раскрашенных красным и голубым, все еще были видны. Полчаса он стоял, смотря на них, а мысли его были бесформенны. Потом без раздумья он сошел с вышки и прошел к ангару.

Внутри было холодно. Он ходил среди заржавевших электрокаров и пустых бочек, пока в противоположном конце ангара, за грудой дерева и мотками проволоки, не пошел целые мешки с цементом, немного грязного песка и старую бетономешалку.

Получасом позднее он подогнал автомобиль к ангару, прицел к заднему бамперу бетономешалку, нагруженную песком, цементом и водой, которую он вылил из лежащих вокруг бочек, после чего загрузил еще несколько мешков цемента в багажник и на заднее сидение. Наконец он выбрал из груды деревяшек несколько прямых досок, впихнул их в окно автомобиля и двинулся чрез озеро в направлении центральной мишени.

Следующие два часа он работал без передышки посредине огромного голубого диска, вручную приготовляя бетон, перенося его и вливая в примитивные формы, которые соорудил из досок. Потом он формовал бетон в шестидюймовую стенку, окружающую диск. Он работал беспрерывно, размешивая бетон рычагом домкрата и заливая колпаком, снятым с колеса. Когда он кончил

и отъехал, оставляя инструменты на месте, стена, которую построил, уже имела немногим более тридцати футов длины.

4

7 июня. В первый раз я осознал краткость дня. Когда я имел еще двадцать часов в сутки, базой моей временной ориентации был полдень; завтрак и ужин сохранили свои давший ритм. Сейчас, когда мне осталось только одиннадцать часов в сознании, они являются постоянный барьером, подобный фрагменту рулетки. Я вижу, сколько еще осталось на катушке, но не могу снизить темпа, в котором развивается лента. Время провожу в медленном паковании библиотеки.

Пачки слишком тяжелые, поэтому не двигаю их. Число клеток стало до 400 000.

Проснулся в 8:10. Засну в 9:15. (Кажется, я потерял часы, понадобилось ехать в город чтобы купить себе новые).

14 июня. Мне осталось девять с половиной часов. Я оставляю время позади как автостраду. Последняя неделя каникул всегда проходит быстрее, чем первая. При этой скорости перемен мне осталось, наверное, еще четыре или пять недель. Сегодня утром я пробовал вообразить себе эту мою последнюю неделю — последние три, два, один, конец — и внезапно меня охватил такой приступ страха, непохожий ни на что из пережитого до сих пор. Прошло полчаса, пока я оказался в состоянии сделать себе поддерживающий укол.

Калдрен ходит за мной как тень. Написал на воротах мелом: 96 688 365 408 702. Доводим почтальона до сумасшествия. Проснулся в 9:05. Засну в 18:36.

19 июня. Восемь и три четверти часа. Утром мне звонил Андерсон. Я хотел положить трубку, по как-то мне удалось до конца сохранить вежливость и обсудить последние формальности. Он восхитился моим стоицизмом, применил даже слово «героический». Этого я не чувствую. Отчаяние прописывает все — отвагу, надежду, дисциплину — все так называемые добродетели. Как трудно сохранить этот внеличный принцип согласия с фактами, который находится в основе научной традиции. Я пробую думать о Галилее перед лицом инквизиции, о Фрейде, терпеливо сносящем боль своей пораженной раком челюсти.

В городе встретил Калдрена. Разговаривали о Меркурии-7. Калдрен убежден, что экипаж корабля сознательно решил остаться на Луне, что это решение они приняли, ознакомившись с «Космической информацией».

Таинственные посланцы Ориона убедили пришельцев с Земли, что всякое исследование пространства никчемно, что за

него взялись слишком поздно, когда вся жизнь Вселенной уже подходит к концу. К. утверждает, что некоторые генералы авиации принимают этот бред всерьез, но подозреваю, что это еще одна сумасшедшая попытка Калдрена утешить меня.

Я должен выключить телефон. Какой-то тип непрерывно звонит мне, требуя платы за пятьдесят мешков, цемента, которые я, но его словам, купил у него десять дней назад. Твердит, что помог мне погрузить их на грузовик. Помню, что я ездил на фургоне Уайтби в город, но речь шла ведь о покупке свинцовых экранов. Что я мог бы сделать с этим цементом. Именно эти глупости висят у меня над головой сейчас, когда приближается окончательный конец. (Мораль: не следует слишком усердно забывать Эниветок). Проснулся в 9:40. Засну в 16:15.

25 июня. Семь с половиной часов. Калдрен снова вынюхивал что-то у лаборатории, Позвонил мне. Когда я взял трубку, то услышал какой-то голос, записанный на пленку, захлебывающийся целой цепочкой цифр, как ошалевший компьютер. Эти его шутки становятся утомительны. Вскоре надо навестить ею, хотя бы для того, чтобы объясниться. Это будет, впрочем, и повод увидеться с девушкой с Марса.

Мне хватает теперь еды раз в день, подкрепленной вливанием глюкозы. Сон все время «черный» и нерегенерирующий. Прошлой ночью я сделал 16-миллиметровый фильм о первых трех часах и сегодня утром посмотрел его в лаборатории. Это был первый настоящий фильм ужасов. Я выглядел как полуживой труп. Проснулся в 10:25. Засну в 15:45.

3 июля. Пять и три четверти часа. Почти ничего сегодня не сделал.

Углубляющаяся летаргия. С трудом добрался до лаборатории дважды чуть не съезжая с шоссе. Концентрировался настолько, что накормил животных и сделал запись в лабораторном журнале. Прочитал также записки Уайтби, приготовленные на самый конец эксперимента и решился на 40 рентген в минуту и расстояние — 350 сантиметров.

Все уже готово.

Проснулся в 11:05. Засну в 15:15.

Он потянулся, перекатил голову по подушке, фокусируя взгляд на тенях, которые бросали на потолок оконные занавески. Потом он взглянул на свои пупки и увидел Калдрена, сидящего на кровати и внимательно приглядывавшегося к нему:

— Привет, доктор, — сказал Калдрен, гася сигарету. — Поздняя ночь. Вы выглядите утомленным.

Пауэрс приподнялся на локте и взглянул на часы. Был двенадцатый час.

Мгновение у него мутилось в голове, он перекинул ноги на край постели, оперся локтями о колени и кулаками начал массировать себе лицо.

Он заметил, что комната была полна дыма.

— Что ты тут делаешь? — спросил он Калдрена.

— Пришел пригласить вас на ленч, — сказал Калдрен и показал на телефон.

— Это не действует, потому я приехал. Надеюсь, вы простите мне это вторжение. Я звонил у дверей, наверное, с полчаса. Удивительно, что вы не слышали.

Пауэрс кивнул, встал и некоторое время пробовал разгладить стрелки своих помятых хлопчатобумажных брюк. Неделю уже он не менял одежды, брюки были влажными и издавали легкий запах. Когда он шел в ванную, Калдрен показал на штатив, стоящий около кровати. — Что это, доктор? Вы начинаете снимать драли?

Пауэрс некоторое время смотрел на него, потом на штатив и тогда заметил, что дневник был раскрыт. Раздумывая, прочитал ли Калдрен последние записи, он взял дневник, вошел в ванную и захлопнул за собой дверь. Из шкафчика над раковиной он вынул шприц и ампулу. После инъекции он на минуту оперся о двери, ожидая эффекта.

Калдрен стоял в комнате, забавляясь, чтением наклеек на пачках книг, которые Пауэрс оставил посредине комнаты.

— Хорошо, съем с тобой ленч, — сказал Пауэрс, внимательно смотря на него. Калдрен исключительно владел собой сегодня. Пауэрс разглядел в его поведении даже уважение.

— Прекрасно, — сказал Калдрен. — Кстати говоря, вы решили пересилиться?

— спросил он.

— Какое это имеет значение? Ты же теперь под надзором Андерсона.

Калдрен пожал плечами.

— Приезжайте около двенадцати, — сказал он. — Это позволит вам умыться и переодеться. Что это за пятна у вас на рубашке? Похоже на известь.

Пауэрс пригляделся к пяткам, а потом попробовал стряхнуть с рубашки белую пыль. После ухода Калдрена он разделся, принял душ и вынул из чемодана свежий костюм.

До связи с Комой Калдрен жил в одиночестве в старом летнем домике на северном берегу озера. Это была семиэтажная диковинка, построенная эксцентричным миллионером-математиком, в форме бетонной ленты, которая обвивалась вокруг себя как ошалевший уж. Только Калдрен разгадал загадку

строения геометрической модели, и снял его у агента за относительно низкую цену. Из окна лаборатории Пауэрс видел его вечерами, переходящего неустанно с одного уровня на другой, взбирающегося в лабиринте наклонных плоскостей и террас до самой крыши, где он торчал часами как эшафот на фоне неба, следя в пространстве дороги волк, которые ловит завтра.

Когда Пауэрс в полдень подъехал, он увидел его, стоящего на выступе здания на высоте ста пятнадцати футов, с головой драматично поднятой к небу.

— Калдрен! — крикнул он словно в ожидании, что внезапный крик выбьет у того опору из-под ног.

Калдрен глянул вниз и со строгой улыбкой плавно описал рукой полукруг.

— Входите! — крикнул он и снова обратил взгляд к небу.

Пауэрс вылез и оперся на автомобиль. Когда-то, несколько месяцев назад, он принял такое приглашение, вошел и в течение трех минут оказался в каком-то коридоре без выхода. Прошло полчаса, прежде чем Калдрен нашел его там.

Итак, он, он ждал, пока Калдрен спустится со своего гнезда, перескакивая с террасы на террасу, после чего на лифте поднялся вместе с ним наверх.

С коктейлями в руках они вошли на широкую, застекленную платформу-студию; вокруг них вилась белая бетонная лента, словно зубная паста, выдавленная из какого-то огромного тюбика. Перед ними, на перекрещивающихся и параллельных уровнях, видна была серая, геометрическая по форме мебель, гигантские фотографии, повешенные на наклоненных до половины сетчатых клетках или старательно описанные экспонаты, разложенные на низких, черных столах. Выше виднелось одно слово высотой в двадцать футов:

ТЫ

Калдрен указал на него рукой.

— Нелегко было бы, наверное, выдумать что-то более важное? — сказал он и до дна выпил бокал. — Это моя лаборатория, доктор, — сказал он с гордостью. — Намного важнее вашей.

Пауэрс усмехнулся про себя и остановился перед первым экспонатом, старой лентой энцефалографа, там и тут прерываемой бледными чернильными каракулями. Лента была описана. Эйнштейн, А; Волны альфа, 1922.

Обходя вместе с Калдреном экспонаты, он понемногу пил из стакана, наслаждаясь чувством возбуждения, которое давали ему амфетамины. Через час или два это чувство исчезает и мозг снова

станет рыхлым как промокашка.

Калдрен ораторствовал, объясняя ему значение так называемых окончательных Документов.

— Это, доктор, последние записи, финальные утверждения, продукты полной фрагментизации. Когда я соберу достаточное их количество, то построю себе из них новый мир. — Он взял со стола толстый том в картонном переплет и начал перелистывать страницы.

— Ассоциативные тесты двенадцати осужденных в Нюрнберге. Я должен включить их в коллекцию…

Пауэрс шел за ним, не слушая. Его внимание привлекло нечто, стоявшее в углу и напоминавшее машину для записей. Из зияющих щелей аппарата свисали длинные, темные ленты. Некоторое время он забавлялся мыслью, что, возможно, Калдрен начал спекулировать на бирже, которая около двенадцати лет постоянно регистрировала спад курсов.

— Доктор, — услышал он вдруг слова Калдрена, — я говорил вам о Меркурии-7? — Калдрен указал на густо исписанные страницы.

— Это описание последних сигналов, переданных по радио на Землю.

Пауэрс с любопытством разглядывал листки. Кое-где он смог прочитать отдельные слова: «Голубые… люди… ужасный цикл… орион… телеметрия.» Он кивнул головой.

— Любопытно, — обратился он к Калдрену. — А что это за ленты там, у телетайпа?

Калдрен усмехнулся.

— Я месяц ждал, пока вы меня о них спросите. Прошу, посмотрите.

Подойдя к машинам Пауэрс поднял одну из лент. Над машиной виднелась надпись: Аургия 225-Ж, Интервал: 69 часов. Он читал:

96 688 365 498 695
96 688 365 498 694
96 688 365 498 693
96 688 365 498 692

— Это мне напоминает что-то, — сказал он и выпустил ленту. — Что значит этот ряд чисел?

Калдрен пожал плечами.

— Никто не знает!

— Как это? Что-то они должны представлять?

— Да, убывающую арифметическую прогрессию. Обратный счет, если хотите, — ответил Калдрен.

Пауэрс поднял другую ленту, свисающую из машины направо и обозначенной: Ариес 44P951. Интервал: 49 дней. Он читал:

876 567 988 347 779 877 654 434
876 567 988 347 779 877 654 433
876 567 988 347 779 877 654 432

Пауэрс огляделся вокруг.

— Сколько длится отдельный сигнал? — спросил он.

— Несколько секунд, естественно. Они очень сжаты. Их расшифровывает компьютер обсерватории. Первый раз их приняли где-то лет двадцать назад — в Джодрелл Бэнк. Сейчас никто не обращает на них внимания, — сказал Калдрен.

Пауэрс смотрел на последнюю ленту:

6554
6553
6552
6551

— Приближается к концу, — констатировал он. Он прочитал надпись, приклеенную к крышке машины: «Не идентифицированный источник радиоизлучения, Canes Venatici. Интервал: 97 недель». Он подал ленту Калдрен сказал:

— Скоро будет конец.

Калдрен покачал головой. Он взял со стола там толщиной в телефонную книгу и минуту листал страницы. Его лицо вдруг стало серьезным, в глазах виднелась глубокая, печальная задумчивость.

— Сомневаюсь, что это конец, — сказал он.

— Это только четыре последних цифры. Все выражается более чем пятисотмиллионным числом.

Он подал там Пауэрсу, который прочитал название: «Главные последовательности серийных сигналов, принятых радиообсерваторией Джодрелл Бэнк. Манчестерский университет, Англия, время 0012-59, 21 мая 1972 года.

Источник: NJC9743, Canes Venatici» в молчании листал страницы, густо исписанные цифрами, миллионами цифр на тысячах страниц. Пауэрс тряхнул головой, снова взял ленту и задумчиво посмотрел на нее.

— Компьютер расшифровывает только четыре последние цифры, — объяснил Калдрен. — Все число является пятнадцатисекундным пучком. Первый такой сигнал компьютер расшифровал два года.

— Интересно, — сказал Пауэрс. — Но что это все значит?

— Отчет, как видите. NJC9743 где то на Canes Venatici. Их огромные спирали ломаются и шлют нам прощальный привет. Бог весть, знают ли они о нашем существовании, но дают нам знать о себе, подавая сигнал на водородной волне, в надежде, что кто-то в Космосе их услышит, — он прервался. Некоторые объясняют это иначе, но существует довод, свидетельствующий о правомерности лишь одной гипотезы.

— Какой? — спросил Пауэрс.

Калдрен показал ленту с Canes Venatici.

— То, что где-то высчитано, что Вселенная окончится в тот момент, когда цифры дойдут до нуля.

Пауэрс инстинктивно пропустил ленту сквозь пальцы.

— Большая забота с их стороны, что напоминают нам о ходе времени.

— Да, — тихо сказал Калдрен. — Приняв во внимание закон обратной пропорциональности к квадрату расстояния до источника, сигналы передаются с мощностью около трех миллионов мегаваттов, умноженных во сто раз. Это примерно мощностью небольшого созвездия. Вы правы, забота — хорошее слово.

Внезапно он схватил Пауэрса за руку, стиснул его ладонь и поглядел ему в глаза вблизи. У него дергалось горло.

— Ты не одинок, доктор. Это голоса времени, которое шлет тебе прощальный привет. Думай о себе как о части огромного целого. Каждая мелочь в твоем теле, каждая песчинка, каждая галактика носит в себе одно и то же клеймо. Ты сказал, что знаешь о них, как идет время, так что все остальное не имеет значения. Не нужны никакие часы.

Пауэрс взял руку Калдрен и крепко пожал ее.

— Благодарю, Калдрен. Это хорошо, что ты понимаешь, сказал он. Медленно он подошел к окну и поглядел на белое дно озера. Напряженность, существовавшая между ним и Калдреном, исчезла, и он чувствовал, что его долг, наконец, оплачен. Он хотел теперь как можно скорей попрощаться с ним и забыть его лицо, как забывал лица многих других пациентов, обнаженных мозгов которых он касался пальцами. Он подошел к машинам, оторвал несколько витков лент и сунул их в карман.

— Я возьму несколько, чтобы помнить, — сказал он. — Попрощайся от моего имени с Комой, пожалуйста.

Он подошел к дверям и еще глянул на Калдрена, стоящего в тени двух огромных букв, со взглядом, опущенным в пол.

Когда он отъезжал, то заметил, что Калдрен вышел на крышу здания.

Пауэрс наблюдал за ним, стоящим с поднятой рукой, в

зеркальце автомобиля, до того момента, пока он не исчез за поворотом.

5

Внешний круг был уже почти готов. Не хватало лишь дуги длиною в десять футов, но кроме этого весь периметр мишени был обрамлен стенкой около шести дюймов высотой, а внутри заключался ребус. Три концентрических круга, самый большой около ста футов в диаметре, отделенные друг от друга десятифутовыми разрывами, образовывали край герба, складывавшегося из четырех частей и разделенных перекладинами гигантского креста. Посредине, на скрещении перекладин была помещена маленькая округлая плита, возвышавшаяся примерно на фут над уровнем мишени.

Пауэрс работал быстро, насыпая песок и цемент в бетономешалку, доливая воды так, чтобы образовывался раствор, после чего поспешно вливал его в деревянные формы и разгонял лопатой в узкие канальчики.

Через десять минут он кончил, снял формы прежде, чем затвердел бетон и погрузил их на заднее сиденье автомобиля. Вытер ладони о брюки, подошел к бетономешалке и перекатил ее на несколько десятков футов, в тень ближнего холма. Не глянув даже на огромный символ, который он так терпеливо строил множество пополуденных часов, он сел в автомобиль и отъехал, поднимая клубы белой пыли, замутившей голубую глубину тени.

В лаборатории он был в третьем часу. Выскочил из машины, зажег в вестибюле все лампы, поспешно задернул все противосолнечные заслоны и крепко привязал их к крюкам, вбитым в пол, превращая все здание в стальную палатку.

Растения и животные, неподвижно дремавшие в контейнерах, понемногу начала оживать, тотчас реагируя на разливающийся вокруг потоп жаркого света ламп. Только шимпанзе не обратил на это внимания. Он сидел на полу клетки, нервно втискивая тестовые кубики в полиэтиленовую коробку и яростным воем возвещая о каждой неудачной попытке.

Пауэрс подошел к клетке и заметил кусочки разбитого стекла из уничтоженного шлема. Вся мордочка шимпанзе была покрыта кровью. Пауэрс поднял с пола остатки пеларгонии, которую шимпанзе выкинул через прутья клетки, потряс цветком, чтобы привлечь на минуту его внимание, а потом быстро закинул в клетку черный шарик, который вынул из коробочки в ящике стола. Шимпанзе быстрым движением подхватил его, минуту развлекался, подбрасывая его вверх, после чего кинул себе в рот. Не ожидая результата, Пауэрс снял пиджак, открыл тяжелые задвигаемые двери, ведущие в рентгеновский зал, скрывающие

металлический эмиттер Макситрона, а потом установил свинцовые защитные плиты вдоль задней стены зала.

Немного позднее он включил генератор.

Анемон двинулся. Плавясь в теплом море излучения, поднимающиеся вокруг него и направляемый немногочисленными воспоминаниями морского существования, он двинулся через контейнер, слепо бредя к бледному математическому солнцу.

Щупальца задрожали. Тысячи дремлющих, до тех пор равнодушных клеток начали размножаться и перегруппировываться, каждая черпая освобожденную энергию из своего ядра. Цепочки выползли, структуры нагромоздились в многослойные линзы, концентрируя ожившие спектральные линии дрожащих звуков, танцующих как волны фосфоресценции вокруг темного купола камеры.

Медленно сформировался образ, открывающий огромный черный фонтан, из которого начал бить бесконечный луч ослепительно ясного света. Около него появилась фигура, регулирующая прилив ртом. Когда она ступила на пол, из-под ног ее брызнули краски, а из рук, которыми она перебирала по скамьям и контейнерам, взорвалась мозаика голубых и фиолетовых пузырей, лопающихся в темноте как вспышки звезд.

Фотоны шептали. Непрерывно, словно приглядываясь блестящим вокруг себя звукам, анемон расширялся. Его нервная система объединилась, создавая новый источник стимулов, которые плыли из тонких перепонок хребтовой хорды.

Молчащие очертания лаборатории начали потихоньку набухать волнами звука из дуги света, отбиваясь эком от скамей и устройств. Их острые контуры резонировали теперь сухим, пронзительным полутоном. Плетеные пластиковые стулья бренчали дискантом стаккато, четырехугольный стол отвечал непрерывным двутоном.

Не обращая внимания на эти звуки, так как он их уже понял, анемон обратился к потолку, который звучал как панцирь, одетый в голоса, плывущие из лучащихся ламп. Проникая через узенький краешек неба, голосом чистым и мощным, полным бесконечным числом полутонов, пело Солнце…

Не хватало еще нескольких минут до рассвета, когда Пауэрс покинул лабораторию и завел автомобиль. Позади него осталось в темноте здание, освещенное белым светом Луны, стоящей над холмами. Он вел машину по извилистой подъездной аллеи, бегущей вниз, к дороге вдоль берегов озера, слушал скрежет шин, врезающихся в острый гравий покрытия. Потом он переключил скорость и нажал на педаль акселератора.

Глядя на известковые холмы, вдоль которых он ехал, все еще неразличимые в темноте, он осознал, что хотя не замечал их очертаний, сохранил в мозгу их образ и форму. Это было неопределенное чувство, источником ему служило почти физическое впечатление, он воспринимал его словно прикосновениями глаз непосредственно из котловин и впадин между взгорьями. Несколько минут он поддавался этому чувству, не стараясь даже определить его точнее, создавая в мозгу странные конфигурации очертаний.

Дорога сворачивала сейчас у группы домиков, выстроенных на берегу озера, тут же у подножия холмов он внезапно почувствовал огромную тяжесть массива, возвышающегося на фоне темного неба — острой скалы из блестящего мела — и осознал тождественность этого чувства с зарегистрированным так сильно в его памяти. Ведь смотря на скалы он осознал те миллионы лет, которые прошли с мгновения, когда она впервые поднялась из магмы земной скорлупы. Острые хребты, поднимающиеся в трехстах футов под ним, темные впадины и щели, нагие глыбы, лежащие вдоль шоссе, — все это имело собственное выражение, которое принимал в мозгу тысячью голосов — суммой всего времени, которой проплыло в течение всей жизни массива — было психическим образом так определенным и ясным, словно он его только что увидел.

Бессознательно он сбросил скорость и, отводя взгляд от взгорья, чувствовал, как на него обрушилась вторая волна времени. Картина была шире, но основывалась на более короткой перспективе, она била из широкого круга озера и изливалась на острые, разрушающиеся уже известняковые скалы, как мелкие волны, бьющие о мощный выступ континента.

Он закрыл глаза, оперся о спинку сиденья и направил автомобиль на разрыв, разделяющий два этих течения времени, чувствуя, как картины усиливаются и углубляются в его мозгу. Подавляющий возраст пейзажа и едва слышные голоса, доходящие от озера и белых холмов, казалось, переносили его в прошлое, вдоль бесконечных коридоров к первому порогу мира.

Он свернул на шоссе, ведущее к стрельбищу. На обеих сторонах ложбины лица холмов кричали, отражаясь эхом в непроницаемых полях времени как два гигантских, противоположных полосах магнита. Когда он, наконец, вывел автомобиль на открытое пространство озера, ему казалось, что он чувствует в себе тождественность каждого зернышка песка и кристалла соли, зовущих его с цепи окрестных холмов.

Запарковав автомобиль вблизи мандалы, он медленно приближался к наружному кругу, очертания которого уже

проглядывали в свете приближающейся зари. Над собой он слышал звезды, космических голосов, которые наполняли небо, с одного конца по другой, как настоящий небосклон времени. Как накладывающиеся радиосигналы, перекрещивающиеся в пространственных углах неба, падали словно метеор из самых узких щелей пространства. Над собой он видел красную точку Сириуса — и слушал его голос, длящийся много, много миллионов лет — приглушенный спиральной Туманностью Андромеды, гигантскую карусель исчезнувших вселенных, голоса которых были почти так же стары как и сам космос. Он знал теперь, что небосклон был бесконечной вавилонской башней — песней времени тысяч галактик, накладывавшихся друг на друга в его сознании. Когда он приближался к центру мандалы, наклонил еще голову, чтобы взглянуть на сверкающий уступ Млечного пути.

Дойдя до внутреннего круга Мандалы, едва в нескольких шагах от центральной плиты, он почувствовал, что хаос голосов утихает и он слышит один, доминирующий голос. Он взошел на плиту и поднял взгляд к темному небу, смотря на созвездия, на галактические острова и за них, слушая слабые правечные голоса, доходящие до него через миллионолетия. В кармане он чувствовал ленту и направил взгляд к отдаленному Гончему Псу, слыша его мощный голос.

Как нескончаемая река, так широкая, что ее берега даже исчезают за горизонтом, к нему плыл непрерывно огромный поток времени, наполняющего небо и Вселенную и охватывающий все, что в них содержится. Пауэрс знал, что плывущее медленно и величественно время имело свой источник у истоков самого Космоса. Когда поток коснулся его, он почувствовал на себе его гигантскую тяжесть, поддался ей, легко уносимый вверх гребнем волны. Его медленно сносило, поворачивало лицом в направлении прилива. Вокруг затуманились контуры холмов и озера, у него остались только космические часы — неустанно смотрящие ему в глаза образ мандалы. Всматриваясь в нее он чувствовал, как понемногу исчезает его тело, сливаясь с огромным континуумом потока, несущего его к центру великого канала, за надежды, но к отдыху, во все более тихие реки вечности.

Когда тени исчезли, уходя в ложбины холмов, Калдрен вышел из автомобиля и неуверенно приблизился к бетонному наружному кругу. В пятидесяти метрах дальше, в центре мандалы, стояла на коленях у трупа Пауэрса Кома, касаясь руками лица умершего. Порыв ветра пошевелил песок и принес

под ноги Калдрена обрывок ленты. Калдрен поднял его, осторожно свернул и сунул в карман. Утро было холодное, поэтому он поднял воротник пиджака, одновременно наблюдая за Комой.

— Уже шестой час, — обратился он к ней через несколько минут. — Пойду вызову полицию. Ты останься с ним. — Он прервался и немного погодя добавил: — Не позволяй им повредить часы.

Кома поглядела на него:

— Ты сюда уже не вернешься?

— Не знаю, — сказал он и кивнул ей на прощание головой. Отвернулся и пошел в направлении автомобиля.

Он доехал до шоссе, тянувшегося вдоль озера и нескольких минутами позднее остановил машину перед лабораторией Уайтби.

Внутри было темно, окна закрыты, а генератор в рентгеновском зале работал. Калдрен вошел внутрь и включил свет. Дотронулся ладонью до генератора. Берилловый цилиндр был нагрет. Круглый лабораторный стол все еще медленно вращался, установленный на один оборот в минуту. Полукругом, в нескольких футах от стола лежала груда контейнеров и клеток, накиданных одна на другого. В одной из них огромное, похожее на паука растение почти смогло выбраться из вивария. Ее длинные прозрачные щупальца все еще цеплялись за края клетки, но тело растекалось в липкую, круглую лужицу слизи. В другой чудовищный паук запутался в паутине и висел посредине гигантского, трехмерного фосфоресцирующего клубка, конвульсивно вздрагивая.

Все экспериментальные животные и растения были мертвые. Шимпанзе лежал на спине посреди руки своей клетки с расколотым шлемом, закрывающим глаза.

Калдрен приглядывался к нему некоторое время, потом сел к столу и поднял телефонную трубку. Набирая номер он заметил кружок киноленты, лежащей на столе. Он всматривался минуту в надпись, потом положил ленту в карман. После разговора с полицейским постом он погасил в доме лампы, сел в машину и медленно отъехал.

Когда он доехал до дома, через вьющиеся балконы и террасы виллы просвечивало солнце. Он въехал лифтом наверх и прошел в свои музей. Там он раздвинул занавесы и приглядывался отражениям солнечных лучей в экспонатах.

Потом он передвинул кресло к окну, сел в него и неподвижно всматривался в полосы света.

Два или три часа позднее он услышал голос зовущей его

Комы. Через полчаса она ушла, но потом звал кто-то другой. Он встал и задвинул все занавеси во фронтонных окнах, чтобы его оставили в покое.

Он вернулся на кресло и в полулежащей позиции смотрел на экспонаты. В полусне он то и дело протягивал руку, чтобы уменьшить приток света, попадающего через щели между занавесями, лежал и думал — так же, как потом долгие месяцы — о Пауэрсе и его странной мандале о семи человеках экипажа и их путешествии к белым садам Луны и о голубых людях с Ориона, которые говорили о старых, чудесных мирах, согреваемых золотистыми шарами солнцеотдаленных галактических островов, которые навсегда исчезли в умноженной смерти Космоса.

Роберт Шекли
Специалист

Фотонный шторм разразился без предварительного предупреждения, обрушился на Корабль из-за плеяды красных звезд-гигантов. Глаз едва у спел с помощью Передатчика подать второй и последний сигнал тревоги, как шторм уж бушевал вовсю.

Для Передатчика это был третий дальний перелет и первый в жизни шторм световых лучей. Когда Корабль заметно отклонился от курса, принял на себя удар фронта волны и чудовищно накренился, Передатчик перепугался не на шутку. Однако страх тотчас рассеялся, уступив место сильнейшему возбуждению.

«Чего бояться, — подумал Передатчик, — разве не готовили меня как раз к таким аварийным ситуациям?»

Когда налетел шторм, Передатчик беседовал с Питателем, но сразу же резко оборвал разговор. Он надеялся, что Питатель благополучно выпутается. Жаль юнца — это его первый дальний рейс.

Нитевидные проволочки, составляющие большую часть тела Передатчика, были протянуты по всему Кораблю. Передатчик быстро поджал их под себя — все, кроме тех, что связывали его с Глазом, Двигателем и Стенками. Теперь все зависело от них. Пока не уляжется шторм, остальным членам Команды придется рассчитывать только на свои силы.

Глаз расплющил по Стенке свое дисковидное тело и высунул наружу один из органов зрения. Остальные он сложил и, чтобы сосредоточиться, втянул их внутрь.

Пользуясь органом зрения Глаза Передатчик вел наблюдение за штормом. Чисто зрительные восприятия Глаза он переводил в команды для Двигателя, который направлял Корабль наперерез волнам. Почти одновременно Передатчик увязывал команды по курсу со скоростью; это делалось для Стенок, чтобы те увеличили жесткость и лучше противостояли ударам.

Действия координировались быстро и уверено: Глаз измерял силу волн. Передатчик сообщал информацию Двигателю и Стенкам. Двигатель вел Корабль вперед в очередную волну, а Стенки смыкались еще теснее, чтобы принять удар.

Увлекшись стремительной, слаженной общей работой, Передатчик и думать забыл о собственных страхах. Думать было некогда. В качестве корабельной системы связи он должен был с рекордной быстротой переводить и передавать сигналы,

координируя информацию и командуя действиями.

Спустя каких-нибудь несколько минут шторм утих.

— Отлично, — сказал Передатчик. — Посмотрим, есть ли повреждения. — Во время шторма нити его спутались, но теперь он распутал их и протянул по всему Кораблю, включив каждого члена Команды в свою цепь. — Двигатель!

— Самочувствие превосходное, — отозвался Двигатель. Во время шторма он активизировал челюсти-замедлители, умеряя атомные взрывы в своем чреве. Никакой буре не удалось бы застигнуть врасплох столь опытного астронавта, как Двигатель.

— Стенки!

Стенки рапортовали поочередно, и это заняло уйму времени. Их было более тысячи — тонких прямоугольников, составляющих оболочку Корабля. Во время шторма они, естественно, укрепляли стыки, повысив тем самым упругость всего Корабля. Однако в одной или двух появились глубокие вмятины.

Доктор сообщил, что он цел и невредим. Он состоял в основном из рук и во время шторма цеплялся за какой-то Аккумулятор. Теперь он снял со своей головы нить, тянущуюся от Передатчика, отключился таким образом от цепи и занялся изрешеченными Стенками.

— Давайте-ка побыстрее, — сказал Передатчик, не забывая, что предстоит еще определить местонахождение Корабля. Он предоставил слово четырем Аккумуляторам. — Ну, как вы там? — спросил он.

Ответа не было. Аккумуляторы сладко спали. Во время шторма их рецепторы были открыты, и теперь все четверо раздувались от избытка энергии. Передатчик подергал своими ниточками, но аккумуляторы не шелохнулись.

— Пусти-ка меня, вызвался Питатель. Бедняга не сразу догадался прикрепиться к Стенке своими всасывающими трубками и успел-таки хлебнуть лиха, но петушился ничуть не меньше, чем всегда. Из всех членов Команды Питатель был единственным, кто никогда не нуждался в услугах Доктора: его тело регенерировало самостоятельно.

Он торопливо пересек пол на своих щупальцах — их было около двенадцати — и лягнул ближайший — Аккумулятор. Огромный конус, напоминающий гигантскую копилку, приоткрыл было один глаз, но тут же закрыл его снова. Питатель вторично лягнул Аккумулятор, на этот раз вовсе безрезультатно. Тогда он дотянулся до предохранительного клапана, расположенного в верхней части Аккумулятора, и выпустил часть запаса энергии.

— Сейчас же прекрати, — буркнул Аккумулятор.

— А ты проснись и рапортуй по всей форме.

Аккумуляторы раздраженно заявили, что они вполне здоровы и что любому дураку это ясно. На время шторма их пригвоздили к полу монтажные болты.

Остальная часть поверки прошла быстро. Мыслитель был здоров и бодр, а Глаз восторженно расхваливал красоты шторма. Произошел только один несчастный случай.

Погиб Ускоритель. Двуногий, он не был так устойчив, как остальные члены Команды. Шторм застал его посреди пола, швырнул на Стенку, которая к тому моменту успела резко увеличить свою жесткость, и переломал ему какие-то жизненно важные кости. Теперь даже Доктор был бессилен помочь.

Некоторое время все молчали. Гибель какой-то части Корабля — дело не шуточное. Корабль — это единое целое, состоящее исключительно из членов Команды. Утрата одного из них — удар по всей Команде.

Особенно серьезно обстояло дело именно сейчас. Корабль только-только доставил груз в порт, отделенный от Центра Галактики несколькими тысячами световых лет. После шторма координаты Корабля были совершенно неизвестны.

Глаз подполз к одной из Стенок и выставил орган зрения наружу. Стенки пропустили его и тотчас сомкнулись снова. Высунувшись из корабля, орган зрения удлинился настолько, чтобы обозревать всю звездную сферу. Картина была сообщена Передатчику, который доложил о ней Мыслителю.

Мыслитель — гигантская бесформенная глыба протоплазмы лежал в углу каюты. В нем хранилась память всех его предков-космопроходцев. Он рассмотрел полученную картину, мгновенно сравнил ее с массой других, запечатленных в его клетках, и сообщил:

— В пределах досягаемости нет ни одной планеты, входящей в Галактическое Содружество.

Передатчик машинально перевел каждому сообщение, которого опасались больше всего на свете.

С помощью Мыслителя Глаз определил, что Корабль отклонился от курса на несколько сот световых лет и находится на окраине Галактики.

Каждый член Команды хорошо понимал, что это означает. Без Ускорителя, который разгоняет Корабль до скорости, во много раз превышающей световую, им никогда не вернуться домой. Обратный перелет без Ускорителя продлится дольше, чем жизнь каждого из них.

— Нам остается избрать одну из двух возможных линий поведения. Первая: пользуясь атомной энергией Двигателя, направить Корабль к ближайшей галактической планете. Это

займет приблизительно двести световых лет. Возможно, Двигатель и доживет до конца пути, но остальные наверняка не доживут. Вторая: найти в зоне нашего местонахождения примитивную планету, населенную потенциальными Ускорителями. Выбрать одного из них и обучить, чтобы он разгонял наш Корабль на пути к галактической территории.

Изложив все варианты, отысканные в памяти предков, Мыслитель умолк.

После быстро проведенного голосования оказалось, что все склоняются в пользу второго предложения Мыслителя. Да и выбора-то по правде говоря, не было. Только второй вариант оставлял хоть какую-то надежду на возвращение домой.

— Хорошо, — сказал Мыслитель. — А теперь поедим. Полагаю, все мы это заслужили.

Тело погибшего Ускорителя сбросили в пасть Двигателя, который тут же проглотил его и преобразовал атомы в энергию.

Из всех членов Команды только Двигатель питался атомной энергией.

Чтобы накормить остальных, Питатель поспешно подзарядился от ближайшего Аккумулятора. После этого он преобразовал находящиеся внутри него питательные вещества в продукты, которые потребляли другие члены Команды. Химия тела у Питателя непрестанно изменялась, перерождалась, адаптировалась, приготовляя различные виды питания.

Глаз употреблял в пищу только сложные цепочки молекул хлорофилла. Изготовив для него такие цепочки, Питатель скормил Передатчику углеводороды, а стенкам — хлористые соединения. Для Доктора он воспроизвел точную копию богатых кремнием плодов, к которым тот привык на родине.

Наконец трапеза окончилась, и Корабль снова был приведен в порядок. В углу сном праведников спали Аккумуляторы.

Глаз расширял свое поле зрения, насколько мог, настраивая главный зрительный орган на высокочувствительную телескопическую рецепцию. Даже в столь чрезвычайных обстоятельствах Глаз не устоял перед искушением и начал сочинять стихи. Он объявил во всеуслышание, что работает над новой эпической поэмой «Периферическое свечение». Поскольку никто не желал выслушать эту поэму, Глаз ввел ее в Мыслителя, который сберегал в памяти решительно все, хорошее и плохое, истинное и ложное.

Двигатель никогда не спал. По горло полный энергией, полученной из праха Ускорителя, он вел Корабль вперед со скоростью, в несколько раз превышающей скорость света.

Стенки спорили, кто из них во время последнего отпуска был

пьянее всех.

Передатчик решил расположиться поудобнее. Он отцепился от Стенок, и его круглое тельце повисло в воздухе, подвешенное на сети пересекающихся нитей.

На мгновение он вспомнил об Ускорителе. Странно — ведь все они дружили с Ускорителем, а теперь сразу о нем позабыли. Дело тут отнюдь не в черствости, а в том, что Корабль — это единое целое. Об утрате одного из членов скорбят, но при этом главное — чтобы не нарушилось единство.

Корабль проносился мимо солнц галактической окраины.

Мыслитель рассчитал, что вероятность отыскать планету Ускорителей составляет примерно четыре к пяти, и проложил спиральный маршрут поисков. Неделю спустя им повстречалась планета первобытных Стенок. На бреющем полете можно было увидеть, как эти толстокожие прямоугольники греются на солнце, лазают по горам, смыкаются в тоненькие, но широкие плоскости, чтобы их подхватил легкий ветерок.

Все корабельные Стенки тяжело вздыхали, охваченные острой тоской по родине. До чего же похоже на их родную планету!

Со Стенками вновь открытой планеты еще не вступала в контакт ни одни галактическая экспедиция, и они не подозревали о своем великом предназначении — влиться в обширное Содружество Галактики.

Спиральный маршрут проходил мимо множества миров — и мертвых, и слишком юных для возникновения жизни. Повстречали планету Передатчиков. Паутина линии связи раскинулась здесь чуть ли не на половину континента.

Передатчик жадно рассматривал планету, прибегнув к помощи Глаза. Его охватила жалость к самому себе. Вспомнился дом, семья, друзья. Вспомнилось и дерево, которое он собирался купить, когда вернется.

На какое-то мгновение Передатчик удивился: что делает он в заброшенном уголке Галактики, и к тому же в качестве корабельного прибора?

Однако он стряхнул с себя минутную слабость. Обязательно найдется планета Ускорителей — надо только поискать как следует.

По крайней мере он на это надеялся.

Корабль стремительно несся по неисследованной окраине, мимо длинной вереницы бесплодных миров. Но вот на пути попалась целая россыпь планет, населенных первобытными Двигателями, которые плавали в радиоактивном океане.

— Какая богатая территория, — обратился Питатель к Передатчику, — Галактике следовало бы выслать сюда отряд

контакторов.

— Возможно, после нашего возвращения так и поступят, ответил Передатчик.

Они были очень дружны между собой — их связывало чувство еще более теплое, чем всеобъемлющая дружба членов Команды. Дело не только в том, что оба были младшими членами Команды, хотя их взаимная привязанность объяснялась и этим. Оба выполняли сходные функции — вот где коренилось родство душ. Передатчик переводил информацию, Питатель преобразовывал пищу. Они и внешне-то были схожи. Передатчик представлял собой центральное ядро с расходящимися во все стороны нитями, Питатель — центральное ядро с расходящимися во все стороны трубочками.

Передатчик считал, что после него наиболее сознательное существо на Корабле — это Питатель. По-настоящему Передатчик нйкоща не понимал, как протекают сознательные процессы у некоторых членов Команды.

Еще солнца, еще планеты. Двигатель начал перегреваться. Как правило, он применяется только при старте и посадке, а также при точном маневрировании внутри планетной системы. Теперь же в течение многих недель он работал беспрерывно со сверхсветовой и досветовой скоростью. Начинало сказываться напряжение.

С помощью Доктора Питатель привел в действие систему охлаждения Двигателя. Грубое средство, но приходилось довольствоваться малым. Перестроив атомы азота, кислорода и водорода, Питатель создал охлаждающую жидкость. Доктор порекомендовал Двигателю длительный отдых. Он предупредил, что бравый ветеран не протянет и недели при таком напряжении.

Поиски продолжались, но настроение Команды постепенно падало. Все понимали, что в Галактике Ускорители встречаются редко, не то что расплодившиеся Стенки и Двигатели.

От межзвездной пыли на Стенках появились оспины. Стенки жаловались, что по приезде домой разорятся, так как им необходимо будет пройти полный курс лечения в косметическом салоне. Передатчик заверил их, что все расходы примет на себя фирма.

Даже Глаз налился кровью, оттого что непрерывно таращился в пространство.

Подлетели еще к одной планете. Сообщили ее характеристики Мыслителю, который надолго задумался над ними.

Спустились поближе — так, что можно было различить отдельные предметы.

Ускорители! Примитивные Ускорители!

Стремительно развернулись назад, в космос, строить дальнейшие планы. Питатель приготовил двадцать три опьяняющих напитка, чтобы отпраздновать событие.

Корабль на трое суток вышел из строя.

— Ну как, все готовы? — еле слышно спросил Передатчик на четвертые сутки. Он мучился: с похмелья горели все нервные окончания.

Ну и хватил же он лишку! У него сохранилось смутное воспоминание о том, как он обнимал Двигателя и приглашал по возвращении поселиться на одном дереве.

Сейчас Передатчик содрогался при одной мысли об этом. Остальные члены Команды чувствовали себя не лучше. Стенки пропускали воздух — они слишком ослабли, чтобы сомкнуться как следует. Доктор валялся без чувств.

Хуже всех пришлось Питателю. Поскольку его система приспосабливалась к любому горючему, кроме атомного, он отведал все им же приготовленные зелья, в том числе неустойчивый иод, чистый кислород и взрывчатый сложный эфир. Вид у него был весьма жалкий. Трубочки, обычно красивого цвета морской воды, покрылись оранжевыми подтеками. Его пищеварительный тракт работал вовсю, очищаясь от всевозможной гадости, и Питатель маялся поносом.

Трезвыми остались только Мыслитель и Двигатель. Мыслитель пить не любил — свойство необычное для астронавта, но характерное для Мыслителя, а Двигатель не умел.

Все прислушались к поразительным сообщениям, которые без запинки выкладывал Мыслитель. Рассмотрев поверхность планеты при помощи Глаза, Мыслитель обнаружил там металлические сооружения. Он выдвинул устрашающую гипотезу, будто Ускорители на этой планете создали у себя механическую цивилизацию.

— Так не бывает, — категорически заявили три Стенки, и большинство Команды с ними согласилось. Весь металл, по их мнению, или был запрятан глубоко под землей или валялся в виде ничего не стоящих ржавых обломков.

— Не хочешь ли ты сказать, будто они делают из металла вещи? — осведомился Передатчик. — Прямо из обыкновенного мертвого металла? А что из него можно сделать?

— Ничего нельзя сделать, — решительно сказал Питатель. Такие изделия беспрерывно ломались бы. Ведь металл не чувствует, когда его разрушает усталостный износ.

Однако Мыслитель оказался прав. Глаз увеличил изображение, и каждый увидел, что Ускорители понаделали из

неодушевленного металла большие укрытия, экипажи и прочие предметы.

Причину столь странного направления цивилизации трудно было установить сразу, но ясно было, что это недоброе предзнаменование. Однако, как бы там ни было, самое страшное осталось позади. Планета Ускорителей найдена. Предстояла лишь сравнительно легкая задача — уговорить одного из туземцев.

Едва ли это будет так уж сложно. Передатчик знал, что даже среди примитивных народов священные принципы Галактики — сотрудничество и взаимопомощь — нерушимы.

Команда решила не совершать посадки в густонаселенном районе. Разумеется, нет причин опасаться недружелюбной встречи, но установить связь с этими существами как с племенем — дело отряда контактеров. Команде же нужен только один индивид. Поэтому они выбрали почти необитаемый земельный массив и совершили посадку, едва эту часть планеты окутала ночь.

Почти сразу же удалось обнаружить одиночного Ускорителя.

Глаз адаптировался, чтобы видеть в темноте, и все стали следить за движениями Ускорителя. Через некоторое время тот улегся возле костра. Мыслитель разъяснил, что это распространенный среди Ускорителей обычай отдыха.

Перед самым рассветом Стенки расступились, а Питатель, Передатчик и Доктор вышли из Корабля.

Питатель ринулся вперед и похлопал туземца по плечу. Вслед за ним протянул линию связи и Передатчик.

Ускоритель раскрыл органы зрения, моргнул ими и сделал странное движение органом, предназначенным для поглощения еды. После этого он вскочил на ноги и пустился бежать.

Три члена Команды были ошеломлены. Ускоритель даже не дал себе труда выяснить, чего хотят от него трое инопланетян!

Передатчик быстро удлинил какую-то нить и на расстоянии пятнадцати метров ухватил Ускорителя за конечность. Ускоритель упал.

— Обращайтесь с ним поласковее, — посоветовал Питатель. — Возможно, его испугал наш вид. — У него даже все трубки затряслись от смеха при мысли, что Ускорителя, наделенного множеством органов, одного из самых чудных существ в Галактике, может испугать чей-то облик.

Вокруг упавшего Ускорителя засуетились Питатель и Доктор, подняли его и перенесли на Корабль.

Стенки снова сомкнулись. Ускорителя выпустили из цепкого захвата и приготовились к переговорам.

Едва освободясь, Ускоритель вскочил на ноги и метнулся к тому месту, где только что сомкнулись Стенки. Он неистово забарабанил в них верхними конечностями, отверстие для поглощения еды у него дрожало.

— Перестань, — возмутилась Стенка. Она напружинилась, и Ускоритель рухнул на пол. Мгновенно вскочив, он снова кинулся вперед.

— Остановите его, — распорядился Передатчик. — Он может ушибиться.

Один из Аккумуляторов проснулся ровно настолько, чтобы подкатиться под ноги Ускорителю. Ускоритель упал, снова поднялся и помчался вдоль Корабля.

Линии Передатчика тянулись и по передней части Корабля, так что он перехватил Ускорителя на самом носу. Ускоритель стал отдирать нити, и Передатчик поспешно отпустил его.

— Подключи его к системе связи! — вскричал Питатель. Быть может, удастся воздействовать на него убеждением!

Передатчик протянул к голове Ускорителя нить и замахал ею, подавая понятный всей Галактике знак установления связи. Однако Ускоритель вел себя поистине странно: он продолжал увертываться, отчаянно размахивая куском металла, который держал в руке.

— Как вы думаете, что он намерен делать с этой штукой? спросил Питатель. Ускоритель атаковал борт Корабля, заколотив металлом по одной из Стенок. Стенка инстинктивно ожесточилась, и металл звякнул об пол.

— Оставьте его в покое, — сказал Передатчик. — Дайте ему время утихомириться.

Передатчик посовещался с Мыслителем, но они так и не решили, что делать с Ускорителем. Тот никак не шел на установление связи. Каждый раз когда Передатчик протягивал ему свою нить. Ускоритель выказывал все признаки необоримого ужаса. До поры до времени дело зашло в тупик.

Предложение отыскать на этой планете другого Ускорителя Мыслитель тут же отверг. Он считал, что поведение Ускорителя типично и, если обратиться к другому, результат не изменится. Кроме того, первый контакт с планетой прерогатива отряда контактеров.

Если они не найдут общего языка с этим Ускорителем, то на данной планете уже не свяжутся с другим.

— Мне кажется, я понял, в чем беда, — заявил Глаз. Он вскарабкался на Аккумулятор, как на трибуну. — Здешние Ускорители создали механическую цивилизацию. Но каким способом? Вообразите только, они разработали свои пальцы, как

доктор, и научились изменять форму металлов. Они пользовались своими органами зрения, как я. Вероятно, развивали и бесчисленное множество прочих органов. — Он сделал эффектную паузу. — Здешние Ускорители утратили специализацию!

По этому поводу спорили несколько часов. Стенки утверждали, что разумное существо без специализации немыслимо. В Галактике таких нет. Однако факты были налицо — города Ускорителей, их экипажи… Этот Ускоритель, как и остальные, по-видимому, умел многое.

Он умел делать все, только не ускорять!

Частично эту несообразность объяснил Мыслитель.

— Данная планета не первобытна. Она сравнительно древняя и должна была бы вступить в Содружество много тысячелетий назад. Поскольку этого не произошло, местные Ускорители несправедливо лишились прав, принадлежавших им от рождения. Они даровиты, их специальность — ускорение, но ускорять им было нечего. В итоге, естественно, их культура развивалась патологически. Что это за культура, мы можем только догадываться. Однако, если исходить из имеющихся данных, есть все основания полагать, что местные Ускорители… неконтактны.

Мыслителю была свойственна манера самые поразительные заявления делать самым невозмутимым тоном.

— Вполне возможно, — продолжал непреклонный мыслитель, что местные Ускорители не пожелают иметь с нами ничего общего. В таком случае вероятность того, что мы найдем другую планету Ускорителей, составляет приблизительно один к двумстам восьмидесяти трем.

— Нельзя с уверенностью утверждать, что он не станет сотрудничать, пока мы не добились контакта с ним, — заметил Передатчик. Ему было крайне трудно поверить, что разумное существо способно отказаться от добровольного сотрудничества.

— А как это сделать? — спросил Питатель.

Разработали план действий. Доктор медленно подошел к Ускорителю; тот попятился. Тем временем Передатчик просунул нить сквозь Стенку наружу, протянул вдоль Корабля и снова втянул внутрь, как раз позади Ускорителя.

Пятясь, Ускоритель уперся спиной в Стенку, и Передатчик ввел нить в его голову, во впадину связи, расположенную в центре мозга.

Ускоритель без чувств рухнул на пол.

Когда ускоритель пришел в себя, Питатель и Доктор держали его за руки и за ноги, иначе он оборвал бы линию связи. Тем временем Передатчик, пользуясь своим искусством, изучал язык

Ускорителя.

Задача оказалась не слишком сложной. Все языки Ускорителей принадлежали к одной и той же группе, и этот случай не был исключением. Передатчику удалось уловить на поверхности коры достаточно мыслей, чтобы представить себе строй чуждой речи.

Он попытался наладить общение с Ускорителем.

Ускоритель хранил молчание.

— По-моему, он нуждается в пище, — сказал Питатель. Все вспомнили, что Ускоритель находится на борту Корабля почти двое суток. Питатель изготовил одно из стандартных блюд, любимых Ускорителями, и подал его чужаку.

— О господи! Бифштекс! — воскликнул Ускоритель.

По переговорным цепям Передатчика вся Команда испустила радостный клич. Ускоритель произнес первые слова!

Передатчик проанализировал слова и покопался в памяти. Он знал сотни две языков Ускорителей, а простейших диалектов — еще больше. Передатчик установил, что Ускоритель разговаривает на смешении двух наречий.

Насытившись, Ускоритель огляделся по сторонам. Передатчик перехватил его мысли и разнес их по всей Команде.

Ускоритель воспринимал окружающее как-то необычно. Корабль казался ему буйством красок. По Стенкам пробегали волны. Прямо перед ним находилось нечто вроде гигантского черно-зеленого паука, чья паутина опутала весь Корабль и протянулась к головам остальных невиданных существ. Глаз почудился ему странным зверьком без меха — существом, которое находилось где-то на полпути между освежеванным кроликом и яичным желтком (что это за диковинки, никто на Корабле не знал).

Передатчика покорила новая точка зрения, которую он обнаружил в мозгу Ускорителя. Никогда до сих пор не видел он мира в таком свете. Теперь, когда Ускоритель это заметил, Передатчик не мог не признать, что у Глаза и вправду смешная внешность. Попытались войти в контакт.

— Что вы за создания такие, черт вас возьми? — спросил Ускоритель; он заметно успокоился к исходу вторых суток. Зачем вы схватили меня? Или я просто свихнулся?

— Нет, — успокоил его Передатчик, — твоя психика вполне нормальна. Перед тобой торговый Корабль Галактики. Штормом нас занесло в сторону, а наш Ускоритель погиб.

— Допустим, но при чем тут я?

— Нам бы хотелось, чтобы ты присоединился к нашей команде, — ответил Передатчик, — и стал новым Ускорителем.

Ускорителю растолковали обстановку и он задумался. В мыслях Ускорителя Передатчик улавливал внутреннюю борьбу. Тот никак не мог решить, наяву ли все с ним происходит или нет. Наконец Ускоритель пришел к выводу, что он не сошел с ума.

— Слушайте, братцы, — сказал он, — я не знаю, кто вы такие, и в чем тут дело, но мне пора отсюда убираться. У меня кончается увольнительная, и если я не появлюсь в самое ближайшее время, мне не миновать дисциплинарного взыскания.

Передатчик попросил Ускорителя пояснить, что такое «дисциплинарное взыскание», и послал полученную информацию Мыслителю.

«Эти Ускорители заняты склокой» — таково было заключение Мыслителя.

— Но зачем? — спросил Передатчик. В мыслях он с грустью допустил, что Мыслитель, очевидно, прав: Ускоритель не выказывал особенного стремления сотрудничать.

С удовольствием выручил бы вас, ребята, — продолжал Ускоритель, — но откуда вы взяли, что я могу придать скорость такому огромному агрегату? Да ведь чтобы только-только сдвинуть ваш Корабль с места, нужен целый танковый дивизион.

— Одобряете ли вы войны? — спросил по предложению Мыслителя Передатчик.

— Никто не любит войну — особенно те, кому приходится проливать кровь.

— Зачем же вы воюете?

Органом приема пищи Ускоритель скорчил какую-то мину, которую Глаз зафиксировал и передал Мыслителю. «Одно из двух: или ты убьешь, или тебя убьют. А вам, друзья, известно, что такое война?»

— У нас нет войн, — отчеканил Передатчик.

— Счастливые, — горько сказал Ускоритель. — А у нас есть. И много.

— Конечно, — подхватил Передатчик. К этому времени он успел получить у Мыслителя исчерпывающее объяснение. — А хотел бы ты с ними покончить?

— Конечно.

— Тогда лети с нами. Стань Ускорителем.

Ускоритель встал и подошел к Аккумулятору. Усевшись на него. Ускоритель сжал кулаки.

— Какого черта ты тут мелешь? Как я могу прекратить все войны? — осведомился он. — Даже если бы я обратился к самым важным шишкам и сказал…

— Этого не нужно, — прервал его Передатчик. — Достаточно отправиться с нами в путь. Доставишь нас на базу. Галактика

вышлет на вашу планету отряд контактеров. Тогда войнам придет конец.

— Черта с два, — ответил Ускоритель. — Вы, миляги, значит, застряли здесь? Ну и прекрасно. Никаким чудищам не удастся завладеть Землей.

Ошеломленный Передатчик пытался проникнуть в ход мыслей собеседника. Неужели Ускоритель его не понял? Или он сказал что-нибудь невпопад?

— Я думал, ты хочешь прекратить войны, — заметил он.

— Ну, ясно, хочу. Но не хочу, чтобы нас заставляли их прекратить. Я не предатель. Лучше уж буду воевать.

— Никто вас не заставит. Вы просто прекратите сами, потому что не будет необходимости воевать.

— А ты знаешь, почему мы воюем?

— Само собой разумеется.

— Неужто? Интересно послушать.

— Вы, Ускорители, слишком долго были отделены от основного потока Галактики, — объяснил Передатчик. У вас есть специальность — ускорение, но вам нечего ускорять. Поэтому у вас нет настоящего дела. Вы играете вещами металлами, неодушевленными предметами, — но не находите в этом подлинного удовлетворения. Лишенные Истинного призвания, вы воюете просто от тоски. Как только вы займете свое место в Галактическом Содружестве — и, смею вас уверить, это почетное место, ваши войны прекратятся. К чему воевать — ведь это противоестественное занятие, — когда можно ускорять? Кроме того, исчезнет ваша механическая цивилизация, поскольку нужды в ней уже не будет.

Ускоритель покачал головой — жест, который Передатчик истолковал как признак растерянности.

«А что это такое — ускорение?»

Передатчик попытался растолковать как можно яснее, но, поскольку ускорение не входило в его компетенцию, у него самого было лишь общее представление о предмете.

— Ты хочешь сказать, что этим и должен заниматься каждый житель Земли?

— Безусловно, — подтвердил Передатчик. — Это ваша великая профессия.

На несколько минут Ускоритель задумался.

«По-моему, тебе нужен врач-психиатр или что-нибудь в этом роде. Никогда в жизни я не мог бы это сделать. Я начинающий архитектор. К тому же… ну, да это трудно объяснить».

Однако Передатчик уже воспринял возражение Ускорителя, в мыслях которого появилась особь женского пола. Да не одна, а

две или три. Притом Передатчик уловил ощущение одиночества, отчужденности.

Ускоритель был преисполнен сомнений.

Он боялся.

— Когда мы попадем в Галактику, — сказал Передатчик, горячо надеясь, что нашел нужные доводы, — ты познакомишься с другими Ускорителями. И с Ускорительницами. Вы Ускорители, все похожи друг на друга, так что ты с ними непременно подружишься. А что касается одиночества на Корабле, так здесь его просто не существует. Ты еще не понял, в чем суть Содружества. В содружестве никто не чувствует себя одиноким.

Ускоритель надолго задумался над идеей существования внеземных Ускорителей. Передатчик силился понять, почему эта идея настолько поразила его собеседника. Галактика кишит Ускорителями, Питателями, Передатчиками — и многими другими видами разумных существ в бесконечных вариантах и повторениях.

— Все же не верится, что кто-нибудь способен покончить со всеми войнами, — пробормотал Ускоритель. — Откуда мне знать, что это не ложь?

У Передатчика появилось такое ощущение, словно его ударили в самое ядро. Должно быть. Мыслитель был прав, утверждая, что эти Ускорители не станут сотрудничать. Значит, деятельность Передатчика прекратится? Значит, он вместе со своей Командой проведет остаток жизни в космосе только из-за тупости горстки Ускорителей?

Однако даже эти горькие мысли не приглушили чувства жалости к Ускорителю.

Какой ужас, думал Передатчик. Вечно сомневаться, не решаться, никому не верить. Если эти Ускорители не займут подобающего им места в Галактике, кончится тем, что они истребят друг друга. Им давным-давно пора вступить в содружество.

— Как мне убедить тебя? — воскликнул Передатчик.

В отчаянии он подключил Ускорителя ко всем цепям. Он открыл Ускорителю грубоватую покладистость Двигателя, бесшабашный нрав Стенок; показал ему поэтические склонности Глаза и дерзкое добродушие Питателя. Он распахнул настежь собственный мозг и продемонстрировал Ускорителю свою родную планету, семью и дерево, которое мечтал приобрести по возвращении.

Он развернул перед Ускорителем картины, которые показали историю каждого из представителей разных планет. У них были разные моральные понятия, но всех их объединяли узы

Галактического Содружества.

Ускоритель созерцал все это, никак не реагируя. Немного погодя он покачал головой. Ответ был выражен жестом неуверенным, смутным, но явно отрицательным.

Передатчик приказал Стенкам открыться. Те повиновались, и Ускоритель ошарашенно уставился в образовавшийся проем.

— Ты свободен, — сказал Передатчик. — Отключи только линию связи и ступай.

— А как же вы?

— Поищем другую планету Ускорителей.

— Какую? Марс? Венеру?

— Не знаем. Остается только надеяться, что поблизости есть другая.

Ускоритель посмотрел в проем — и перевел взгляд на Команду. Он колебался, и лицо его ясно отражало внутреннюю борьбу.

— Все, что вы мне показали, — правда?

Отвечать не пришлось.

— Ладно, — внезапно заявил Ускоритель, — поеду. Я, конечно, круглый дурак, но я поеду. Если вы так говорите, значит, так оно и есть.

Передатчик видел, что мучительные колебания, которых стоило Ускорителю согласие, лишили его ощущения реальности происходящего. Он действовал, как во сне, когда решения принимаются легко и беспечно.

— Осталось лишь маленькое затрудненьице, — прибавил Ускоритель с истерическим легкомыслием. — Ребята, будь я проклят, если умею ускорять. Вы, кажется, упоминали о сверхсветовой? Да я не дам и мили в час.

— Да нет же, уверяю тебя, ты умеешь ускорять, — убеждал его Передатчик, сам не вполне веря в то, что говорит. Он хорошо знал, на что способны Ускорители, но этот…

— Ты только попробуй.

— Обязательно, — согласился Ускоритель. — Во всяком случае, тогда я уж наверняка проснусь.

Пока Корабль готовили к старту, Ускоритель разговаривал сам с собой.

Странно, — бормотал ускоритель. — Я-то думал, что туристский поход — лучший отдых, а в результате у меня появились кошмары!

Двигатель поднял Корабль в воздух. Стенки сомкнулись еще раньше, а теперь Глаз направлял Корабль прочь от планеты.

— Мы вышли из зоны притяжения, — сообщил Передатчик. Прислушиваясь к Ускорителю, он молил судьбу пощадить разум

этого бедняги. — Сейчас Глаз и Мыслитель зададут курс, я передам тебе, а ты ускоряй в заданном направлении.

— Ты сумасшедший, пролепетал Ускоритель. — Ты ошибся планетой. И вообще, хорошо бы вы исчезли, кошмарные видения.

— Ты теперь участник Содружества, — возразил доведенный до отчаяния Передатчик. — Вот тебе курс. Ускоряй!

Какое-то мгновение Ускоритель бездействовал. Он медленно стряхивал с себя оцепенение, начиная сознавать, что все это ему не приснилось. Он ощутил Содружество. Он ощутил спаянность Глаза с Мыслителем, Мыслителя с Передатчиком, Передатчика с Ускорителем, всех четверых со стенками, с остальными членами Команды — всех со всеми.

— Что это такое? — растерянно спросил Ускоритель. Он проникался единством Корабля, безмерной теплотой, близостью, достигаемой только в Содружестве.

Он стал ускорять.

Ничего не получилось.

— Попробуй еще разок, — взмолился Передатчик.

Ускоритель заглянул себе в душу. Ему открылся бездонный колодец сомнения и страха. Смотрясь в него, как в зеркало, он видел лишь искаженное ужасом лицо.

Мыслитель осветил ему этот колодец.

Ускорители веками не расставались с сомнением и страхом. Ускорители воевали из страха, убивали из сомнения.

Но на дне колодца… там скрывалась тайна ускорения!

Человек, Специалист, Ускоритель — теперь он целиком влился в Команду, растворился в ней и как бы обнял Мыслителя и Передатчика за плечи.

Внезапно Корабль рванулся вперед с восьмикратной световой скоростью. И эта скорость все возрастала.

Кордвейнер Смит
Игра с Крысодраконом

Ломберный стол

Да это черт знает что за профессия — светострелок! Разъяренный Андерхилл закрыл за собой дверь. Что толку носить форму, похожую на военную, если люди не понимают, как нужен твой труд?

Он сел за свое рабочее место, откинул голову на подголовник и по самые брови надвинул шлем.

Он стал ждать, пока аппаратура в шлеме разогреется, и ему опять вспомнилась девушка, которую он только что встретил в коридоре. Она посмотрела сперва на шлем, потом презрительно на него.

«Мяу», — только это она и сказала. Однако его словно ударили хлыстом.

Кто он такой, по ее мнению — дурак, бездельник, ничтожество, одетое в форму? Неужели она не знает, что светострелок, поработавший полчаса, потом два месяца валяется на больничной койке?

Шлем разогрелся. Теперь Андерхилл ощущал вокруг космическое пространство и мог легко делить его мысленно на квадраты и кубы. Здесь, в этой пустоте, его подстерегал гложущий страх перед лицом бесконечности, и невыносимая тревога охватывала его каждый раз, как он обнаруживал хотя бы малейший след инертной пыли.

Он расслабился — и опять, как всегда, заявила о себе успокаивающая надежность Солнца, привычный часовой механизм планет и Луны. Лишь около полутонны пыли ощущал он сейчас в пространстве, да и та была далеко от плоскости эклиптики, в стороне от трасс, по которым двигались люди. Здесь же, внутри Солнечной системы, не с кем было драться, ничто не бросало вызова человеку, не вырывало ни у кого из тела живую душу, обнажая ее сочащиеся кровью корни.

В Солнечную систему извне не залетало ничто никогда. Не снимай с себя шлем хоть целую вечность — все равно ты, пока остаешься в пределах системы, будешь всего лишь чем-то вроде ясновидца-астронома, будешь чувствовать, что твой разум находится под надежной защитой пульсирующего, обжигающе жаркого Солнца.

Вошел Вудли.

— В мире все по-прежнему, — сказал Андерхилл. — Никаких происшествий. Не удивительно, что наши шлемы придумали и начали сажать нас, светострелков, в корабли только тогда, когда начали переходить в плоскоту и двинулись за пределы системы. А вообще-то не так уж плохо, наверно, жилось в древние времена. Переходить в плоскоту не было надобности. Не нужно было отправляться к звездам, чтобы заработать себе на жизнь. Не нужно было увертываться от Крыс, участвовать в Игре. Светострелков не было, потому что в них не было необходимости — правда, Вудли?

— Угу, — буркнул тот.

Вудли было двадцать шесть лет, и через год он должен был уйти в отставку. Он уже присмотрел для себя ферму. За спиной у него было десять лет этой трудной работы, и его считали одним из лучших. Он не слишком задумывался о работе, честно, не жалея себя, отдавал вое силы, а в перерывах не вспоминал о ней до тех пор, пока не нужен был снова.

Вудли никогда не добивался расположения Партнеров; может быть, поэтому никто из Партнеров расположения к нему и не испытывал. Некоторые из них прямо-таки терпеть его не могли. Его даже подозревали в том, что временами он плохо думает о Партнерах, но, поскольку ни один из Партнеров ни разу не придал своей мысленной жалобе необходимую членораздельность, светострелки и Творцы величия человечества не предъявляли к нему претензий.

Андерхилла до сих пор все не покидало изумление перед собственной профессией. Она постоянно занимала его мысли, и сейчас он с воодушевлением опять говорил об их работе:

— Что происходит с нами в плоскоте, как по-твоему? Это похоже на смерть? Сам ты видел кого-нибудь, из кого вырвана душа?

— Вырванная душа — это не более, чем оборот речи, — ответил Вудли. До сих пор никто еще познает точно, есть у нас душа или нет. Но кое-что я однажды видел. Видел, что было с Догвудом. Из него вышло что-то странное, мокрое и будто клейкое на вид — и знаешь, что они сделали с Догвудом? Увели наверх, в ту часть больницы, в которую нас с тобой никогда не клали, туда, куда отправляют тех, на кого напал в верходали крысодракон и кто все-таки остался жив.

Вудли сел, взял в рот то, что древние называли «трубкой», и зажег в ней нечто, называемое табаком. Довольно-таки противная привычка, но когда Вудли это делал, он выглядел смелым и уверенным.

— Послушай, что я скажу тебе, юноша. Тебе не нужно ни о чем этом тревожиться. Работать светострелком становится все легче. Лучше становятся Партнеры. Я видел, как они убили двух крысодраконов за какие-нибудь полторы миллисекунды. Пока светострелки работали одни, без Партнеров, всегда была вероятность, что мы не успеем убить крысодракона достаточно быстро и не защитим свой перешедший в плоскоту корабль — ведь меньше чем за четыреста миллисекунд человеческому мозгу здесь не управиться. Партнеры изменили все. Они опережают крысодраконов. И будут опережать всегда. Знаю — не очень-то легко бывает, когда допускаешь Партнера к себе в сознание.

— А разве им легко, когда они допускают нас? — сказал Андерхилл.

— О них не беспокойся. Они не люди. Они пусть заботятся о себе сами. Я только знаю, что от неосторожного обращения с Партнерами нас спятило больше, чем от крысодраконов. А вообще говоря, сам ты много знаешь таких, кто бы пострадал от крысодраконов?

Андерхилл посмотрел на свои пальцы, одни зеленые, а другие лиловые в резком свете, исходящем от включенного шлема, и стал на них считать. Большой палец — «Андромеда», пропавшая без вести со всем экипажем и пассажирами; указательный и средний — «Платформа-43» и «Платформа-56», на которых все до единого мужчины, женщины и дети оказались мертвыми или безумными, а шлемы светострелков была пережжены. Безымянный, мизинец, большой палец другой руки — первые три военных корабля, чьи экипажи стали жертвами крысодраконов, стали уже тогда, когда люди поняли: откуда-то со дна пространства появляется, чтобы нанести смертельный удар, что-то непредсказуемое и злое.

При переходе в плоскоту ощущение было немного странное. Такое, будто…

Будто ничего особенного не произошло.

Будто тебя совсем-совсем слабо ударило током.

Будто, кусая, ты почувствовал боль в зубе.

Будто перед глазами у тебя вспыхнул очень яркий свет.

И однако за это мгновение сорокатысячетонный корабль, поднимавшийся над Землей, исчезал, переходя каким-то образом в два измерения, и появлялся вновь в половине светового года или в пятидесяти световых годах от места исчезновения.

Только-только ты сидел в боевом отсеке, шлем включен и работает, и в голове у тебя, как часовой механизм, тикала вместившаяся в нее целиком вся солнечная система. То ли за секунду, то ли за год (он не мог бы сказать, за сколько именно)

сквозь тебя пробегает что-то вроде разряда — и вот ты уже в верходали, в леденящих душу пространствах между звезд, где сами эти звезды ощущаются, как маленькие бугорки на внутренней стороне сферы твоего телепатического восприятия, а планеты не ощущаются вообще.

И где-то в этих пространствах ждала смерть, отвратительная и страшная, какую человек узнал только тогда, когда осмелился выйти в межзвездные просторы. Судя по всему, «драконы» боялись света солнц и держались от них подальше.

«Драконы». Так называли их люди. Для обыкновенного человека за этим словом не стояло ничего — ничего, кроме прыжка в плоскоту, смерти, разбившей тебя, как удар молота, или темной, надрывной ноты безумия, погасившей свет твоего разума.

Но для телепата это были «драконы».

За долю секунды, истекавшую между осознанием того, что в бездонной черной пустоте космоса шевелится что-то враждебное, и всесокрушающим ударом по всему живому внутри корабля, в воображении телепатов возникало нечто напоминающее драконов древних легенд Земли — хищные звери коварней всех хищных зверей, вместе взятых, демоны реальнее демонов, вихри ненависти, голодные и живые, родившиеся из вещества, распыленного между звезд.

Известно о них стало по возвращении одного чудом уцелевшего корабля: в нем по чистой случайности у телепата, обязанность которого была поддерживать связь с Землей, оказался наготове источник мощного светового излучения, он направил его на внешне невинные клубы космической пыли — и «дракон», появившийся было в панораме его сознания, рассеялся, превратился в ничто, а остальным людям на корабле, не телепатам, даже в голову не пришло, что они только что были на волосок от гибели.

После этого все стало просто — почти все.

В экипаж межзвездного корабля стали обязательно включать телепатов. Способности их резко возрастали благодаря специальным шлемам-усилителям. Шлем через электронные реле контролировал мощные излучатели света.

Нужен был только свет — и ничего больше.

Свет уничтожал «драконов», позволял кораблям между прыжками от звезды к звезде возвращаться в три измерения.

Вместо ста шансов к одному против человечества теперь стало шестьдесят к сорока в его пользу.

Мало того. Телепатов стали тренировать, развивать их чувствительность, чтобы любой из них мог обнаружить «дракона» меньше чем за миллисекунду.

Но выяснилось, что расстояние в миллион километров «дракон» покрывает меньше чем за две миллисекунды. Ни один человек не успевал за такой промежуток времени включить и направить на «дракона» мощный луч света.

Попробовали одевать корабли в свет.

Такая защита вскоре стала недостаточной.

В то время как люди узнавали повадки «драконов», те в свою очередь узнавали повадки людей. Каким-то образом они тоже научились уплощаться и в таком виде перемещались в пространстве с огромной скоростью.

Теперь, чтобы уничтожить их, был необходим свет, по яркости сравнимый с солнечным. Его могли дать только световые ядерные заряды.

Светострелок метал в «дракона» миниатюрную ядерную бомбу, при взрыве которой несколько граммов изотопа магния целиком превращались в электромагнитное излучение видимой части спектра.

Однако корабли исчезали по-прежнему.

Людям даже не хотелось разыскивать исчезнувшие корабли, потому что они заранее знали, что там увидят. Ужасно было привозить на Землю разом триста мертвых тел или триста сумасшедших, которых нужно будить, кормить, мыть, укладывать спать, потом будить и кормить снова, и так до конца их дней.

Телепаты пытались заглядывать в головы к тому, кого «драконы» лишили разума, но только гейзеры обжигающего ужаса находили они там, ужаса, бьющего из первооснов личности, из вулканического источника самой жизни.

И тогда на выручку пришли Партнеры.

Вместе Человеку и Партнеру оказалось под силу то, что было не по плечу одному только Человеку. У Человека был разум. У Партнера была мгновенная реакция.

В своих крохотных, с футбольный мяч величиной и в шесть фунтов весом, кораблях Партнеры неслись рядом с огромными кораблями Человека и вместе с ними переходили в плоскоту.

Корабли-крошки были необычайно быстрыми.

И каждый нес дюжину световых бомб с наперсток величиной.

Посредством включаемых движением мысли боевых реле светострелки бросали кораблики с Партнерами прямо в «драконов».

Что человеческому сознанию представлялось драконом, Партнеру представлялось огромной крысой.

И даже там, в безжалостной пустоте, Партнер повиновался древнему, как жизнь, инстинкту. Партнер нападал со скоростью, превосходящей человеческую, нападал снова и снова, пока не

погибнет «крыса» или он сам. Почти всегда гибла «крыса».

Как только прыжки от звезды к звезде стали безопасными для кораблей, торговля расцвела, увеличилось население колоний и возрос спрос на Партнеров.

Андерхилл и Вудли принадлежали всего лишь к третьему поколению светострелков, однако им казалось, будто профессия их существовала всегда.

Подключение сознания к космосу при посредстве специального шлема, устойчивая телепатическая связь с Партнером, подготовка психики к бою, от исхода которого зависит все, — с такой нагрузкой синапсы человеческого мозга подолгу справляться не могли. После получасового боя Андерхилл нуждался в двух месяцах отдыха. После десяти лет работы Вудли нужно было уходить на пенсию. Оба они были молоды. Оба — из лучших в своем деле. Но физические и психические возможности их были не безграничны. Очень многое зависело от того, какой Партнер тебе достанется, и от везения.

Тасовка

В комнату вошли Папаша Мунтри и девочка по имени Вест. Они тоже были светострелками. Команда боевого отсека (точнее, та часть ее, что состояла из людей) была вся в сборе.

Папаша Мунтри, краснолицый, сорокапятилетний, жил, пока ему не пошел сороковой год, мирной жизнью фермера. Только тогда, довольно-таки поздно, обнаружились его парапсихические способности, и ему позволили, несмотря на возраст, стать светострелком. Справлялся с работой он хорошо.

Сейчас он смотрел на угрюмого Вудли и погруженного в свои мысли Андерхилла.

— Ну, как, молодые люди? К бою приготовились?

— Папаша все рвется в бой, — сказала, засмеявшись, девочка по имени Вест.

Она была еще совсем маленькая. Смеялась как дети ее возраста звонко. Уж про нее-то никак нельзя было подумать, что она в шлеме светострелка снова и снова вступает в жестокое единоборство со смертью.

Андерхилла очень позабавило, когда он однажды увидел, как один из самых медлительных Партнеров уходил счастливый после контакта с сознанием девочки по имени Вест.

Обычно Партнера мало волновало сознание человека, с которым на время путешествия его соединяла судьба. По-видимому, все Партнеры придерживались того мнения, что

сознание человека сложно и невероятно захламлено. Превосходство человеческого разума ни один Партнер под сомнение не ставил, однако лишь очень немногие Партнеры перед этим превосходством преклонялись.

Партнеры привязывались к людям. Они готовы были драться бок о бок с ними. Готовы были даже умереть за них. Но когда Партнер привязывался к кому-нибудь так, как, например, Леди Май или Капитан Гав были привязаны к Андерхиллу, к интеллектуальному превосходству последнего это не имело никакого отношения. Все зависело от сходства темпераментов.

Андерхилл прекрасно знал, что Капитан Гав считает его глупым. Что нравилось в нем Капитану Гаву, так это дружелюбие, бодрость духа и пронизывающая все его подсознательные мыслительные процессы ироническая усмешка, а также радость, с которой он идет в бой. Зато человеческую речь, историю человечества, абстрактные идеи, науку Капитан Гав отбрасывал как несусветную чушь, что вполне явственно и ощущало сознание Андерхилла.

Вест подняла на него глаза.

— Поспорю, что вы смошенничаете.

— Нет!

Андерхилл почувствовал, как уши его краснеют. Во время своего ученичества он, когда светострелки разыгрывали Партнеров, однажды попытался схитрить, чтобы заполучить себе в пару красивую молодую кошку по имени Мурр, которая ему особенно полюбилась. Так легко было обороняться и нападать вместе с ней, так привязана была она к нему — и он забыл на время, что учили его вовсе не для того, чтобы они с Партнером приятно проводили время.

Одной попыткой все и кончилось. Его уличили, и он надолго стал всеобщим посмешищем.

Папаша Мунтри взял пластиковую чашку и встряхнул кости, решавшие, с кем из Партнеров предстоит быть в паре в этом путешествии каждому светострелку. Старший по возрасту, он бросал кости первым.

И тут же скорчил недовольную гримасу. Судьба преподнесла ему старого, вечно голодного жадюгу, внутренний мир которого, казалось, исходит слюной — так переполнен он был образами еды, целых океанов, доверху наполненных несвежей рыбой. Когда-то Папаша Мунтри рассказывал, что, поработав в паре с этим обжорой, он потом несколько недель подряд поглощал невероятные количества рыбьего жира — настолько глубоко вошел в его сознание телепатический образ рыбы. Но Партнер этот, столь жадный до еды, был не менее жадным до опасности.

На его счету было шестьдесят три убитых крысодракона, больше, чем у любого другого Партнера на службе в межзвездных кораблях людей.

Следующей бросала кости маленькая Вест. Ей выпал Капитан Гав. Увидев это, она улыбнулась.

— Как он мне нравится! — сказала она. — Так здорово драться вместе с ним! Он такой пушистый и мягкий у тебя в голове, такой милый!

— Уж куда милее! — буркнул Вудли. — Я ведь тоже бывал с ним в паре. Лукавей его никого на корабле нет.

— Злой человек, — сказала девочка. Сказала констатируя, не упрекая.

Андерхилл посмотрел на нее, и по коже у него пробежали мурашки.

Он не понимал, как это можно сохранять спокойствие, имея дело с Капитаном Гавом. В голове у Капитана лукавства и в самом деле было хоть отбавляй.

Жаль, подумал Андерхилл, что никто, кроме кошек, абсолютно никто на всем белом свете не годится в Партнеры. Кошка, когда войдешь с ней в телепатический контакт, оказывается как раз то, что надо. Трудности боя ей по плечу, хотя мотивы и желания ее, безусловно, мало похожи на человеческие.

Кошка готова с тобой общаться, когда ты телепатически посылаешь ей конкретные образы, но она сразу отгородит от тебя свой внутренний мир и заснет, если начнешь читать ей мысленно Шекспира или попытаешься объяснить, что такое пространство.

Как-то не укладывалось в голове, что Партнеры, такие серьезные и собранные здесь, в космосе — это те самые грациозные зверьки, которых еще тысячи лет назад люди на Земле держали в своих домах, украшая их присутствием свою жизнь. Андерхилл не раз ловил себя на том, что, увидев самую обыкновенную кошку, забывал, что это не Партнер, и, как полагается по уставу при встрече с Партнерами, отдавал ей честь.

Он высыпал кости на стол.

Ему повезло — ему выпала Леди Май.

Такой ясной головы, как у нее, он не встречал ни у какого другого Партнера. В Леди Май благородная родословная персидской кошки достигла одной из своих высочайших вершин.

Впервые вступив с ней в телепатический контакт, он удивился этой ясности. Он вспомнил вместе с Леди Май время, когда она еще была котенком. Вспомнил все ее любовные встречи. Увидел ее глазами целую галерею светострелков, в паре с которыми она дралась, и хоть и с трудом, но узнал их всех. Увидел себя, несущего радость, веселого и желанного.

Вудли выпало то, чего он заслуживал, — мрачный, весь в шрамах старый кот, личность куда более бледная, чем Капитан Гав. От животного в нем было больше, чем в других Партнерах, он был тупой зверюга с самыми низменными наклонностями. Даже телепатические способности не смогли облагородить его. Еще в молодости половину ушей ему отгрызли соперники.

Он удовлетворял требованиям, предъявляемым к бойцу, и только.

Папаша Мунтри посмотрел на светострелков.

— Ну что ж, теперь каждый идет за своим Партнером. А я сообщу, что мы готовы выходить в верходаль.

Расклад

Андерхилл набрал цифры на замке клетки Леди Май. Разбудил ее ласково, взял на руки. Она лениво потянулась, выпустила когти, замурлыкала, потом перестала и лизнула ему запястье. Шлемов ни на нем, ни на ней еще не было, и потому ни он, ни она не знали, что сейчас творится в голове у другого, но судя по тому, как Леди Май топорщила усы и двигала ушами, она была довольна, что оказалась именно его Партнером.

Он заговорил с нею вслух, хотя знал, что человеческая речь для кошки лишена смысла.

— Как же это не стыдно людям зашвыривать такое милое крошечное существо в холодную пустоту, чтобы оно носилось там и охотилось на крыс, которые больше и страшнее нас всех, взятых вместе? Ведь ты не просилась в этот бой, правда?

В ответ она лизнула его руку, замурлыкала, опять провела по его щеке длинным пушистым хвостом и уставилась на него сверкающими золотыми глазами.

Их взгляды встретились, и несколько мгновений они смотрели друг на друга; он — сидя на корточках, она — стоя на задних лапах, а когтями передних слегка впиваясь в его колено. Никаким словам не преодолеть было бесконечности, лежавшей между глазами человека и глазами кошки, однако достаточно было короткого взгляда, чтобы расстояние это перешагнула любовь.

— Ну, нам пора, — сказал он.

Она послушно вошла в свой маленький шарообразный корабль. Андерхилл надел на нее миниатюрный шлем светострелка и закрепил его удобно и надежно у нее на затылке. Укрепил на ее лапах мягкие подушечки, чтобы, опьяненная битвой, она не нанесла ран самой себе.

— Готова? — спросил он ее негромко.

В ответ она, насколько позволяла державшая ее теперь сбруя, выгнула спину и тихонько замурлыкала.

Он захлопнул крышку и стал смотреть, как намертво запечатывается кораблик. Теперь на несколько часов Леди Май была запаяна внутри, а потом, когда она исполнит свой долг, электросварщик снимет крышку и освободит ее.

Обеими руками он поднял кораблик и вложил в стартовую трубу. Закрыл дверцу трубы, запер ее, набрав цифры, а потом сел в свое кресло и надел шлем.

Он снова нажал на тумблер. Он сидел в небольшой каюте, *очень небольшой, очень теплой,* остальные три светострелка были тут же, до них можно было дотронуться рукой, и свет ярких ламп в потолке, казалось, давил на его сомкнутые веки.

Когда шлем начал разогреваться, стены как бы растаяли. Те трое, кто был с ним в каюте, утратили очертания и казались теперь кучками тлеющих углей, — это горело, дышало жаром живое сознание.

Когда шлем разогрелся еще больше, Андерхилл ощутил Землю, ощутил, как уходит из пут ее тяготения корабль, ощутил Луну, она была сейчас по ту сторону Земли, ощутил планеты и жаркую, ясную, спасительную щедрость Солнца, не подпускающего «драконов» к родине человечества.

И наконец в его телепатическое сознание вошло все на многие миллионы миль вокруг. Он ощутил пыль, которую еще раньше заметил над плоскостью эклиптики. Ощутил — и словно волна тепла и нежности прошла сквозь него, как в него вливается внутренний мир Леди Май. На вкус мир этот был как ароматизированное масло, такой же нежный, чистый и немного острый. Этот мир освобождал от напряжения и взбадривал. Теперь Андерхилл чувствовал, как рада ему Леди Май.

Наконец они снова стали одним целым.

Где-то в закоулке его сознания, закоулке таком же крохотном, как самая малюсенькая игрушка его детства, еще были каюта и корабль, и Папаша Мунтри там взял микрофон и начал докладывать капитану корабля.

Телепатическое сознание Андерхилла восприняло мысль задолго до того, как слух его уловил формулирующие ее слова:

— В боевом отсеке все на местах. К переходу в плоскоту готовы.

Игра

Андерхилла всегда немного раздражало, что Леди Май все воспринимает раньше его.

Сцепив зубы, он приготовился к мгновенной муке перехода, но узнал от Леди Май о том, что переход уже произошел, еще до того, как сотряслись собственные его нервы.

Земля словно упала куда-то далеко-далеко, и прошло несколько миллисекунд, прежде чем он нашел Солнце в верхнем заднем правом углу своего телепатического сознания.

«Хороший прыжок, — подумал он. — Четыре-пять таких прыжков, и мы на месте назначения».

Леди Май в нескольких сотнях миль от корабля откликнулась: «О теплый, о щедрый, о великан! О смелый, о добрый, о нежный и огромный Партнер! О как хорошо, хорошо, тепло, тепло, тепло с тобой вместе драться, с тобой, с тобой…»

Он знал, что это собственное его сознание придает словесную форму ее смутным, полным огромного расположения к нему мыслям, переводит их на язык понятных ему образов.

Ни его, ни ее обмен приветствиями, однако, не поглотил целиком. Андерхилл вгляделся дальше, чем могла увидеть она, — не изменилось ли что-нибудь в пространстве вокруг? Было как-то странно, что ты можешь делать два дела сразу. Когда на нем был шлем светострелка, внутренним зрением он мог оглядывать космос и в то же время ловить праздные мысли Леди Май — например, полную нежности и любви мысль о сыне, у которого золотистая мордочка, а на груди мягкий, невероятно пушистый белый мех.

Все еще обегая взглядом космос, он уловил предупреждение от нее: **«Прыгаем снова!»**

Да, второй прыжок. Звезды были другие. Солнце осталось позади, немыслимо далеко. Страшно далеко было теперь даже до ближайших к кораблю звезд. В таких вот местах, в таком вот открытом космосе и появлялись крысодраконы. Андерхилл искал опасность, готовый, едва найдет, метнуть Леди Май прямо на нее.

Внезапно его пронизал ужас, острый, как боль от перелома руки или ноги. Это Вест только что нашла нечто огромное, длинное, черное, заостренное, прожорливое, леденящее душу. И Вест метнула на это Капитана Гава.

Андерхилл попытался сохранить ясную голову. «Берегитесь!» телепатически крикнул он остальным, начиная в то же время перемещать Леди Май.

С какого-то места на поле боя в его сознание ворвалась хищная ярость Капитана Гава — это персидский кот, подлетая к скоплению пыли, угрожавшей кораблю и людям внутри его, бросал световые бомбы.

Хоть и ненамного, но Капитан Гав промахнулся.

Скопление пыли перестало быть похожим на электрического ската и приобрело форму копья.

Длилось все это меньше трех миллисекунд.

— К-а-п-и-т-а-н… — медленно начал Папаша Мунтри.

Но Андерхилл уже знал, что он скажет: «Капитан, скорей!», и до того как Папаша Мунтри договорит свою фразу, бой кончится.

Теперь в игру вошла Леди Май.

Вот когда нужна молниеносная реакция Партнера — она и решает все. Леди Май реагировала на опасность быстрей, чем он. Огромная крыса, несущаяся прямо на нее, вот что такое была для Леди Май эта опасность.

Световые бомбы Леди Май бросала с недоступной для него точностью.

Он был связан с ней, но угнаться за ней не мог.

Сознание Андерхилла приняло страшную рваную рану, нанесенную столь не похожим на человека врагом. Никто на Земле не знал подобных ран, этой раздирающей, безумной боли, начавшейся с ощущения ожога в пупке. Он почувствовал, что его корчит.

Но еще ни одна мышца у него не успела дернуться, а Леди Май уже нанесла их общему врагу ответный удар.

Через равные расстояния на общем протяжении в сто тысяч миль вспыхнули пять световых ядерных бомб.

Боль исчезла.

Он пережил мгновение страшного в своей свирепости, чисто животного восторга, охватившего Леди Май, когда она приканчивала врага. А потом ее разочарование — кошки всегда бывали разочарованы, когда обнаруживали, что враг, казавшийся им огромной крысой, бесследно исчезал в миг своей гибели. И только потом докатилась до него волна страданий, боли и страха, испытанных ею во время боя.

И опять укол боли — при переходе в плоскоту.

Корабль прыгнул снова.

Андерхилла достигла обращенная к нему мысль Вудли: «Не беспокойся ни о чем. Мы с этим старым негодяем вас подменим».

Еще два укола боли, два новых прыжка.

Когда Андерхилл пришел в себя, внизу сияли огни космической станции Каледония.

Потребовалось огромное усилие, чтобы ввести сознание в нужный режим, но когда это ему удалось, он, как всегда, точно и бережно вернул кораблик Леди Май назад, в трубу запуска.

Она была полумертвой от усталости, но он ощущал биение ее сердца, ее прерывистое дыхание и ее благодарность.

На Каледонии его положили в госпиталь.

Врач говорил с ним приветливо, но твердо:

— Крысодракон вас только задел. Случай редчайший, вам необыкновенно повезло. Наука не скоро поймет, что тут было, слишком быстро все происходит, но уверен, что продлись соприкосновение хоть на несколько десятых миллисекунды дольше, вам бы не миновать вечной койки. Что за кошка с вами работала?

Андерхилл заговорил, и ему казалось, что произносит слова он страшно медленно. Ведь слова так медлительны и безрадостны рядом с мыслью, ясной, острой, стремительной, из разума в разум! Но обычные люди, такие, как этот врач, понимают только слова.

— Не называйте наших Партнеров кошками, — с трудом проговорил Андерхилл. — Правильно называть их Партнерами. Они дерутся за нас, и они с нами в паре. Как чувствует себя мой Партнер?

— Не знаю, — смущенно ответил врач. — Мы это выясним. А пока, дружище, отбросьте от себя все заботы. Помочь вам может только отдых. Вы хорошо спите? Не дать ли вам снотворного?

— Я сплю хорошо, — ответил Андерхилл. — Я только хочу знать, что с Леди Май.

В разговор включилась сестра. Ее что-то раздражало.

— А что с людьми на корабле, вы знать не хотите?

— С ними все в порядке, — сказал Андерхилл. — Это я знал еще до того, как меня сюда доставили.

Он потянулся, вздохнул и широко улыбнулся им. Напряжение начало покидать врача и сестру, теперь они видели в нем человека, а не больного.

— Я себя чувствую хорошо, — сказал он. — Но когда мне можно будет пойти к Партнеру, вы мне об этом сразу скажите.

И его как громом поразила внезапная мысль. Он резко повернулся к врачу.

— Ведь Леди Май не отправили на корабле дальше? Неужели отправили?

— Выясню сейчас же, — сказал врач. Он дружески сжал плечо Андерхилла и вышел из комнаты.

Сестра сняла салфетку с бокала холодного фруктового сока.

Андерхилл попытался ей улыбнуться. Что-то с этой девушкой было не так. Пожалуй, лучше было бы, если бы она ушла. Сперва говорила с ним приветливо, теперь отдалилась снова. До чего же это докучно быть телепатом! Контакта не получается, а ты все

равно лезешь из кожи, чтобы установить его.

Вдруг она резко повернулась к нему:

— А ну вас светострелков с вашими проклятыми кошками!

Уже, громко топая, она выходила в коридор, когда он ворвался в тайники ее сознания. Там он увидел себя излучающим сияние героем в замшевой форме светострелка и в шлеме, так похожем на корону древних царей, сверкающую драгоценными камнями. Увидел собственное свое лицо, красивое, мужественное и светлое. И увидел ее ненависть.

Она ненавидела Андерхилла. Ненавидела за то, что он (так она считала) богат, горд и непонятен, за то, что он лучше и красивее таких, как она.

Он оторвал от этих тайников чужой души свой внутренний взгляд, но, зарываясь лицом в подушку, успел еще увидеть образ Леди Май.

«Да, она кошка, — подумал он. — Кошка, не более того!»

Но видел он Леди Май совсем другой, чем ее видела медицинская сестра, — быстрой настолько, что это не укладывалось в воображении, проницательной, умной, невероятно грациозной, прекрасной, легко обходящейся без слов и ничего не требующей.

Где женщина, которая могла бы с ней сравниться?

Артур Кларк
Девять миллиардов имен Бога

— Заказ необычный. — Доктор Вагнер старался говорить как можно степеннее. — Насколько я понимаю, мы первое предприятие, к которому обращаются с просьбой поставить автоматическую счетную машину для тибетского монастыря. Не сочтите меня любопытным, но уж очень трудно представить, зачем вашему… э… учреждению нужна такая машина. Вы не можете объяснить, что вы собираетесь с ней делать?

— Охотно, — ответил лама, поправляя складки шелкового халата и не спеша убирая логарифмическую линейку, с помощью которой производил финансовые расчеты. — Ваша электронная машина «Модель пять» выполняет любую математическую операцию над числами, вплоть до десятизначных. Но для решения нашей задачи нужны не цифры, а буквы. Вы переделаете выходные цепи, как мы вас просим, и машина будет печатать слова, а не числа.

— Мне не совсем ясно…

— Речь идет о проблеме, над которой мы трудимся уже три столетия, со дня основания нашего монастыря. Человеку вашего образа мыслей трудно это понять, но я надеюсь, вы без предвзятости выслушаете меня.

— Разумеется.

— В сущности, это очень просто. Мы составляем список, который включит в себя все возможные имена бога.

— Простите…

— У нас есть основания полагать, — продолжал лама невозмутимо, — что все эти имена можно записать с применением всего лишь девяти букв изобретенной нами азбуки.

— И вы триста лет занимаетесь этим?

— Да. По нашим расчетам, потребуется около пятнадцати тысяч лет, чтобы выполнить эту задачу.

— О! — Доктор Вагнер был явно поражен. — Теперь я понимаю, для чего вам счетная машина. Но в чем, собственно, смысл всей этой затеи?

Лама на мгновение замялся. «Уж не оскорбил ли я его?» спросил себя Вагнер. Во всяком случае, когда гость заговорил, ничто в его голосе не выдавало недовольства.

— Назовите это культом, если хотите, но речь идет о важной составной части нашего вероисповедания. Употребляемые нами имена Высшего Существа — Бог, Иегова, Аллах и так далее всего

— навсего придуманные человеком ярлыки. Тут возникает довольно сложная философская проблема, не стоит сейчас ее обсуждать, но среди всех возможных комбинаций букв кроются, так сказать, действительные имена бога. Вот мы и пытаемся выявить их, систематически переставляя буквы.

— Понимаю. Вы начали с комбинации АААААА… и будете продолжать, пока не дойдете до ЯЯЯЯЯЯ…

— Вот именно. С той разницей, что мы пользуемся азбукой, которую изобрели сами. Заменить литеры в пишущем устройстве, разумеется, проще всего. Гораздо сложнее создать схему, которая позволит исключить заведомо нелепые комбинации. Например, ни одна буква не должна повторяться более трех раз подряд.

— Трех? Вы, конечно, хотели, сказать — двух.

— Нет, именно трех. Боюсь, что объяснение займет слишком много времени, даже если бы вы знали наш язык.

— Не сомневаюсь, — поспешил согласиться Вагнер. Продолжайте.

— К счастью, вашу автоматическую счетную машину очень легко приспособить для нашей задачи. Нужно лишь правильно составить программу, а машина сама проверит все сочетания, и отпечатает итог. За сто дней будет выполнена работа, на которую у нас ушло бы пятнадцать тысяч лет.

Далеко внизу лежали улицы Манхеттена, но доктор Вагнер вряд ли слышал невнятный гул городского транспорта. Мысленно он перенесся в другой мир, мир настоящих гор, а не тех, что нагромождены рукой человека. Там, уединившись в заоблачной выси, эти монахи из поколения в поколение терпеливо трудятся, составляя списки лишенных всякого смысла слов. Есть ли предел людскому безрассудству? Но нельзя показывать, что ты думаешь.

Клиент всегда прав.

— Несомненно, — сказал доктор, — мы можем переделать «Модель пять», чтобы она печатала нужные вам списки. Меня заботит другое — установка и эксплуатация машины. В наши дни попасть в Тибет не так — то просто.

— Положитесь на нас. Части не слишком велики, их можно будет перебросить самолетом. Вы только доставьте их в Индию, дальше мы сделаем все сами.

— И вы хотите нанять двух инженеров нашей фирмы?

— Да, на три месяца, пока не будет завершена программа.

— Я уверен, что они выдержат срок. — Доктор Вагнер записал что — то на блокноте. — Остается выяснить еще два вопроса…

Прежде чем он договорил, лама протянул ему узкую полоску бумаги.

— Вот документ, удостоверяющий состояние моего счета в Азиатском банке.

— Благодарю. Как будто… да, все в порядке. Второй вопрос настолько элементарен, я даже не знаю, как сказать… Но вы не представляете себе, сколь часто люди упускают из виду самые элементарные вещи. Итак, какой у вас источник электроэнергии?

— Дизельный генератор мощностью пятьдесят киловатт, напряжение 110 вольт. Он установлен пять лет назад и вполне надежен. Благодаря ему жизнь у нас в монастыре стала гораздо приятнее. Но вообще — то его поставили, чтобы снабжать энергией моторы, которые вращают молитвенные колеса.

— Ну, конечно, — подхватил доктор Вагнер. — Как я не подумал!

С балкона открывался захватывающий вид, но со временем ко всему привыкаешь. Семисотметровая пропасть, на дне которой распластались шахматные клеточки возделанных участков, уже не пугала Джорджа Хенли. Положив локти на сглаженные ветром камни парапета, он угрюмо созерцал далекие горы, названия которых ни разу не попытался узнать.

«Вот ведь влип! — сказал себе Джордж. — Более дурацкую затею трудно придумать!» Уже которую неделю «Модель пять» выдает горы бумаги, испещренной тарабарщиной. Терпеливо, неутомимо машина переставляет буквы, проверяет все сочетания, и, исчерпав возможности одной группы, переходит к следующей. По мере того, как пишущее устройство выбрасывает готовые листы, монахи тщательно собирают их и склеивают в толстые книги.

Слава Богу, еще неделя, и все будет закончено. Какие — такие расчеты убедили монахов, что нет надобности исследовать комбинации из десяти, двадцати, ста букв, Джордж не знал. И без того его по ночам преследовали кошмары: будто в планах монахов произошли перемены и верховный лама объявил, что программа продлевается до 2060 года… А что, они способны на это!

Громко хлопнула тяжелая деревянная дверь, и рядом с Джорджем появился Чак. Как обычно, он курил одну из своих сигар, которые помогли ему завоевать расположение монахов. Ламы явно ничего не имели против всех малых и большинства великих радостей жизни.

Пусть они одержимые, но ханжами их не назовешь. Частенько наведываются вниз, в деревню…

— Послушай, Джордж, — взволнованно заговорил Чак. — Неприятные новости!

— Что такое? Машина капризничает?

Большей неприятности Джордж не мог себе представить. Если начнет барахлить машина, это может, — о ужас! — задержать их отъезд. Сейчас даже телевизионная реклама казалась ему голубой мечтой. Все — таки что — то родное…

— Нет, совсем не то. — Чак сел на парапет; удивительный поступок, если учесть, что он всегда боялся обрыва. — Я только что выяснил, для чего они все это затеяли.

— Не понимаю. Разве нам это не известно?

— Известно, какую задачу поставили себе монахи. Но мы не знали для чего. Это такой бред…

— Расскажи что — нибудь поновее, — простонал Джордж.

— Старик верховный только что разоткровенничался со мной. Ты знаешь его привычку — каждый вечер заходит посмотреть, как машина выдает листы. Ну вот, сегодня он явно был взволнован если его вообще можно представить себе взволнованным. Когда я объяснил ему, что идет последний цикл, он спросил меня на своем ломаном английском, задумывался ли я когда — нибудь, чего именно они добиваются. Конечно, говорю. Он мне и рассказал.

— Давай, давай, как — нибудь переварю.

— Ты послушай: они верят, что когда перепишут все имена бога, а этих имен, по их подсчетам, что — то около девяти миллиардов, — осуществится божественное предначертание. Род человеческий завершит то, ради чего был сотворен, и можно будет поставить точку. Мне вся эта идея кажется богохульством.

— И что же они ждут от нас? Что мы покончим жизнь самоубийством?

— В этом нет нужды. Как только список будет готов, Бог сам вмешается и подведет черту. Амба!

— Понял: как только мы закончим нашу работу, наступит конец света.

Чак нервно усмехнулся.

— То же самое я сказал верховному. И знаешь, что было? Он поглядел на меня так, словно я сморозил величайшую глупость, и сказал: «Какие пустяки вас заботят».

Джордж призадумался.

— Ничего не скажешь, широкий взгляд на вещи, — произнес он наконец. — Но что мы — то можем тут поделать? Твое открытие ничего не меняет. Будто мы и без того не знали, что они помешанные.

— Верно, но неужели ты не понимаешь, чем это может кончиться? Мы выполним программу, а судный день не наступит. Они возьмут, да нас обвинят. Машина — то наша. Нет, не нравится мне все это.

— Дошло, — медленно сказал Джордж. — Пожалуй, ты прав. Но ведь это не ново, такое и раньше случалось. Помню, в детстве у нас в Луизиане объявился свихнувшийся проповедник, твердил, что в следующее воскресенье наступит конец света. Сотни людей поверили ему, некоторые даже продали свои дома. А когда ничего не произошло, они не стали возмущаться, не думай. Просто решили, что он ошибся в своих расчетах, и продолжали веровать. Не удивлюсь, что некоторые из них до сих пор ждут конца света.

— Позволь напомнить, мы не в Луизиане. И нас двое, а этих лам несколько сот. Они славные люди, и жаль старика, если рухнет дело всей его жизни. Н я все — таки предпочел бы быть где — нибудь в другом месте.

— Я об этом давно мечтаю. Но мы ничего не можем поделать, пока не выполним контракт, и за нами не прилетят.

— А что, если подстроить что — нибудь?

— Черта с два! Только хуже будет.

— Не торопись, послушай. При нынешнем темпе работы двадцать часов в сутки — машина закончит все в четыре дня. Самолет прилетит через неделю. Значит, нужно только во время очередной наладки найти какую — нибудь деталь, требующую замены. Так, чтобы оттянуть программу денька на два, не больше. Исправим, не торопясь. И если сумеем все верно рассчитать, мы будем на аэродроме в тот миг, когда машина выдаст последнее имя. Тогда им уже нас не перехватить.

— Не нравится мне твой замысел, — ответил Джордж. — Не было случая, чтобы я не довел до конца начатую работу. Не говоря уже о том, что они сразу заподозрят неладное. Нет уж, лучше дотяну до конца, будь что будет.

— Я и теперь не одобряю нашего побега, — сказал он семь дней спустя, когда они верхом на крепких горных лошадках ехали вниз по извилистой дороге. — И не подумай, что я удираю, потому что боюсь. Просто мне жаль этих бедняг, не хочется видеть их огорчения, когда они убедятся, что опростоволосились.

Интересно, как верховный это примет?..

— Странно, — отозвался Чак, — когда я прощался с ним, мне показалось, что он нас раскусил и отнесся к этому совершенно спокойно. Все равно машина работает исправно, и задание скоро будет выполнено. А потом, впрочем, в его представлении никакого «потом» не будет.

Джордж повернулся в седле и поглядел вверх. С этого места в последний раз открывался вид на монастырь. Приземистые угловатые здания четко вырисовывались на фоне закатного неба; тут и там, точно иллюминаторы океанского лайнера, светились

огни. Электрические, разумеется, питающиеся от того же источника, что и «Модель пять». «Сколько еще продлится это сосуществование?» — спросил себя Джордж. Разочарованные монахи способны сгоряча разбить вдребезги вычислительную машину. Или они преспокойно начнут все свои расчеты сначала?..

Он ясно представлял себе, что в этот миг происходит на горе.

Верховный лама, и его помощники сидят в своих шелковых халатах, изучая листки, которые рядовые монахи собирают в книги. Никто не произносит ни слова. Единственный звук — нескончаемая дробь, как от вечного ливня: стучат по бумаге рычаги пишущего устройства. Сама «Модель пять» выполняет свои тысячу вычислений в секунду бесшумно. «Три месяца… — подумал Джордж. — Да тут кто угодно свихнется!»

— Вот он! — воскликнул Чак, показывая вниз, в долину. Правда, хорош?

«Правда», — мысленно согласился Джордж. Старый, видавший виды самолет серебряным крестиком распластался в начале дорожки. Через два часа он понесет их к свободе и разуму. Эту мысль хотелось смаковать, как рюмку хорошего ликера. Джордж упивался ею, покачиваясь в седле.

Гималайская ночь почти настигла их. К счастью, дорога хорошая, как и все местные дороги. И у них есть фонарики.

Никакой опасности, только холод досаждает. В удивительно ясном небе сверкали знакомые звезды. «Во всяком случае, подумал Джордж, — из — за погоды не застрянем». Единственное, что его еще тревожило.

Он запел, но вскоре смолк. Могучие, величавые горы с белыми шапками вершин не располагали к бурному проявлению чувств.

Джордж посмотрел на часы.

— Еще час, и будем на аэродроме, — сообщил он через плечо Чаку. И добавил чуть погодя:

— Интересно, как там машина — уже закончила? По времени — как раз.

Чак не ответил, и Джордж повернулся к нему. Он с трудом различил лицо друга — обращенное к нему белое пятно.

— Смотри, — прошептал Чак, и Джордж тоже обратил взгляд к небесам. (Все когда — нибудь происходит в последний раз.) Высоко над ними, тихо, без шума одна за другой гасли звезды.

Перевод Л. Жданова

Гарри Гаррисон
Смертные муки пришельца

Где-то вверху, скрытый за вечными облаками планеты Вескер, гремел и ширился грохот. Услышав его, торговец Джон Гарт остановился и, приставив руку к здоровому уху, прислушался. При этом ботинки его слегка увязли в грязи. В плотной атмосфере звук то разрастался, то ослабевал, однако всё более приближаясь.

— Такой же шум, как от твоего космического корабля, — сказал Итин, с бесстрастной вескерской логикой медленно расчленяя мысль, чтобы лучше обдумать её. — Однако твой корабль всё ещё стоит на том месте, где ты его посадил. Хотя мы его и не видим, он должен быть там, потому что только ты умеешь управлять им. А если бы даже это удалось кому-нибудь ещё, мы услышали бы, как корабль поднимается в небо. Но так как мы раньше ничего не слышали, а такой грохот производит только космический корабль, то это должно означать…

— Да, ещё один корабль, — перебил его Гарт, слишком поглощённый своими мыслями, чтобы дожидаться, пока замкнётся медлительная цепь вескерских логических построений.

Разумеется, это другой космический корабль, и его появление было лишь вопросом времени; несомненно, этот корабль идёт по курсу с помощью радиолокационной установки, как в своё время ориентировался и Гарт. Его собственный корабль будет ясно виден на экране вновь прибывающего корабля, и тот, наверно, сядет как можно ближе к нему.

— Тебе лучше не задерживаться, Итин, — предупредил Джон Гарт. — Добирайся по воде, чтобы скорей попасть в деревню. Скажи всем, чтобы они шли в болото, подальше от твёрдой земли. Корабль приземляется, и всякий, кто очутится под ним при посадке, будет изжарен.

Маленькая вескерская амфибия почувствовала неминуемую опасность. Прежде чем Гарт кончил говорить, ребристые уши Итина сложились наподобие крыльев летучей мыши, и он молча скользнул в соседний канал. Гарт захлюпал дальше по грязи, стараясь идти как можно быстрее. Он как раз достиг края поляны, на которой стояла деревня, когда грохот перешёл в оглушительный рёв, и космический корабль пробился сквозь низкие слои облаков. Пламя метнулось книзу. Гарт прикрыл глаза и, испытывая противоречивые мысли, стал смотреть, как растёт силуэт чёрно-серого корабля.

Проведя почти целый год на планете Вескер, он теперь вынужден был подавлять в себе тоску по человеческому обществу. Хотя тоска эта — глубоко похороненный пережиток стадного чувства — настойчиво напоминала Гарту о его родстве с остальным обезьяньим племенем, он по-коммерчески деловито подводил в уме черту под столбиком цифр и подсчитывал итог. Весьма вероятно, что прилетел ещё один торговый корабль, и если это так, то его монополии на торговлю с жителями Вескера приходит конец. Впрочем, это мог быть и какой-нибудь иной корабль, и именно поэтому Гарт остановился в тени гигантского папоротника и вытащил из кобуры револьвер.

Космический корабль высушил сотню квадратных метров грязи, грохот замер, и посадочные ноги с хрустом вонзились в потрескавшуюся землю. Раздался скрежет металла, и корабль застыл на месте, между тем как облако дыма и пара медленно оседало во влажном воздухе.

— Гарт, эй ты, вымогатель, грабитель туземцев, где ты? — прокричал на корабле громкоговоритель.

Очертания космического корабля были лишь слегка знакомы, но ошибиться относительно резких звуков этого голоса Гарт не мог. Выйдя на открытое место, он улыбнулся и, засунув в рот два пальца, пронзительно свистнул. Из нижней части корабля выдвинулся микрофон и повернулся к нему.

— Ты что тут делаешь, Сингх? — крикнул Гарт, обернувшись в сторону микрофона. — Неужели так обленился, что не смог найти для себя планету и явился сюда красть прибыль у честного торговца?

— Честного! — взревел усиленный громкоговорителем голос. — И это я слышу от человека, которому довелось повидать больше тюрем, чем публичных домов, а это, смею вам доложить, цифра не маленькая. Чертовски жаль, товарищ моей молодости, но я не могу присоединиться к тебе, чтобы вместе с тобой заняться эксплуатацией этой зачумлённой дыры. Я держу путь к миру, где легче дышится, где ничего не стоит сколотить себе состояние. А сюда забрался лишь потому, что представился случай неплохо заработать, взяв на себя обязанности водителя такси. Я привёз тебе друга, идеального товарища, человека, занятого делами совсем другого рода. А тебе он охотно поможет. Я бы вылез и поздоровался с тобой, если бы не боялся, что по возвращении меня засадят в карантин. Я выпускаю пассажира через тамбур: надеюсь, ты не откажешься помочь ему выгрузить багаж.

Итак, другого торговца на планете пока не предвидится, об этом можно не беспокоиться. Однако Гарту не терпелось поскорей

узнать, что за пассажир вздумал посетить этот далёкий мир, купив себе билет лишь в один конец. И что таилось за скрытой насмешкой, звучавшей в голосе Сингха? Гарт обошёл космический корабль, направляясь к тому месту, откуда была спущена лестница, и, взглянув вверх, увидел в грузовом отсеке человека, безуспешно пытавшегося справиться с большой корзиной. Человек обернулся, и Гарт, увидев высокий воротник священника, понял, над чем насмехался Сингх.

— Что вам здесь нужно? — спросил Гарт: несмотря на попытку овладеть собой, он выпалил эти слова самым нелюбезным тоном.

Прибывший если и заметил, что его приняли странно, то не обратил на это внимания, так как продолжал улыбаться и протягивать руку, спускаясь по лестнице.

— Отец Марк, — представился он, — из миссионерского общества Братьев. Я очень рад…

— Я спрашиваю, что вам здесь нужно? — Голос Гарта звучал спокойно и холодно. Он знал теперь, как нужно было действовать при сложившихся обстоятельствах.

— Это же совершенно очевидно, — сказал отец Марк по-прежнему добродушно. — Наше миссионерское общество впервые собрало средства для посылки духовных эмиссаров на другие планеты. Мне посчастливилось…

— Забирайте свой багаж и возвращайтесь на корабль. Ваше присутствие здесь нежелательно, к тому же вы не имеете разрешения на высадку. Вы будете обузой, а здесь, на Вескере, некому заботиться о вас. Возвращайтесь на корабль.

— Я не знаю, кто вы такой, сэр, и почему вы лжёте, — ответил священник. Он всё ещё был спокоен, но улыбка исчезла с его лица. — Я очень хорошо изучил космическое право и историю этой планеты. Здесь нет ни болезней, ни животных, которых можно было бы опасаться. К тому же это открытая планета, и до тех пор, пока Космическое управление не изменит её статуса, я имею такое же право находиться тут, как и вы.

Закон был, конечно, на стороне миссионера, просто Гарт пытался его обмануть, надеясь, что тот не знает своих прав. Однако ничего из этого не вышло. У Гарта оставался ещё один весьма неприятный выход, и ему следовало прибегнуть к нему, пока не поздно.

— Возвращайтесь на корабль, — крикнул он, уже не скрывая своего гнева. Спокойным жестом он вытащил револьвер из кобуры, и чёрное дуло оказалось в нескольких дюймах от живота священника. Тот побледнел, но не пошевельнулся.

— Какого дьявола ты хорохоришься, Гарт! — захрипел в

громкоговорителе сдавленный голос Сингха. — Парень заплатил за проезд, и ты не имеешь права прогонять его с этой планеты.

— Я имею право, — сказал Гарт, поднимая револьвер и целясь священнику между глаз. — Даю ему тридцать секунд, чтобы он вернулся на борт корабля, а не то я спущу курок.

— Ты что, рехнулся или разыгрываешь нас? — задребезжал раздражённый голос Сингха. — Если ты шутишь, то неудачно, и, во всяком случае, это тебе не поможет. В такую игру могут играть двое, только я тебя обставлю.

Послышался грохот тяжёлых подшипников, и телеуправляемая четырёхпушечная башня на борту корабля повернулась и нацелилась на Гарта.

— Спрячь револьвер и помоги отцу Марку выгрузить багаж, — скомандовал громкоговоритель; в голосе Сингха снова послышались юмористические нотки. — При всём желании ничем не могу помочь, дружище. Мне кажется, тебе сейчас самое время побеседовать с отцом миссионером. А с меня довольно — я имел возможность разговаривать с ним всю дорогу от Земли.

Гарт сунул револьвер в кобуру, остро переживая свою неудачу. Отец Марк шагнул вперёд; на его губах снова заиграла обаятельная улыбка; вынув из кармана библию, он поднял её над головой.

— Сын мой, — сказал он.

— Я не ваш сын, — с трудом выдавил из себя Гарт, весь кипевший от гнева после понесённого поражения.

Ярость в нём клокотала, он сжал кулаки; однако он заставил себя разжать пальцы и ударил священника ладонью. И всё же тот рухнул от удара, а вслед за ним шлёпнулась в густую грязь и раскрывшаяся библия.

Итин и другие вескеряне наблюдали за происходящим внимательно, но, по-видимому, бесстрастно, а Гарт не счёл нужным ответить на их невысказанные вопросы. Он направился к своему дому, но, почувствовав, что вескеряне всё ещё неподвижно стоят, обернулся.

— Прибыл новый человек, — сказал он. — Ему нужно будет помочь перенести вещи. Можете поставить их в большой склад, пока он сам что-нибудь не построит.

Гарт смотрел, как они заковыляли по лужайке к кораблю, затем вошёл в дом и получил некоторое удовлетворение, хлопнув дверью так, что одна из створок треснула. С таким же болезненным удовольствием он откупорил последнюю бутылку ирландского виски, которую он хранил для особого случая. Что ж, случай, конечно, особый, хотя и не совсем такой, какого ему

хотелось. Виски было хорошее и частично заглушало неприятный вкус во рту. Если бы его тактика сработала, успех оправдал бы всё. Но он потерпел неудачу, и к горечи поражения примешивалась мучительная мысль о том, что он выставил себя в дурацком свете. Сингх улетел, не попрощавшись. Неизвестно, какое впечатление создалось у него об этом происшествии, но по возвращению на Землю он, конечно, будет рассказывать удивительные истории. Ладно, беспокойство за свою репутацию можно отложить и до следующего раза, когда он пожелает снова завербоваться. А теперь надо наладить отношения с миссионером. Сквозь завесу дождя Гарт разглядел, что священник старается установить складную палатку, а все жители деревни выстроились рядами и молча наблюдали. Само собой разумеется, никто из них не предложил помощи. К тому времени как палатка была поставлена и в неё были сложены корзины и ящики, дождь прекратился. Уровень жидкости в бутылке значительно понизился, и Гарт почувствовал себя более подготовленным к неизбежной встрече. По правде говоря, он искал повода заговорить с миссионером. Если оставить в стороне всю эту противную историю, после года полного одиночества казалось привлекательным общение с любым человеком, кем бы он ни был.

«Не согласитесь ли вы пообедать со мной? Джон Гарт», — написал он на обороте старой накладной. Но, может быть, старик слишком напуган и не придёт? Пожалуй, это не лучший способ наладить отношения. Пошарив под койкой, он нашёл подходящий ящичек и положил в него свой револьвер. Когда Гарт открыл дверь, Итин, конечно, уже поджидал своего учителя, так как сегодня была его очередь исполнять обязанности Собирателя Знаний. Торговец протянул ему записку и ящик.

— Отнеси-ка это новому человеку, — приказал он.

— Нового человека зовут Новый Человек? — спросил Итин.

— Нет! — резко ответил Гарт. — Его зовут Марк. Но ведь я прошу тебя только отнести это, а не вступать в разговор.

Каждый раз, когда Гарт выходил из себя, вескеряне с их педантичным мышлением выигрывали раунд.

— Ты не просишь вступать в разговор, — медленно произнёс Итин, — но Марк, может быть, и попросит. А другие интересуются, как его зовут, и если я не буду знать его име…

Он осёкся, так как Гарт захлопнул дверь. Впрочем, это не имело значения: при следующей встрече с Итином — через день, через неделю или даже через месяц — монолог будет возобновлён с того самого слова, на котором он кончился, и мысль будет разжёвываться до полной ясности. Гарт выругался про себя и залил водой две порции самых вкусных из ещё сохранившихся у

него концентратов.

Раздался торопливый стук в дверь.

— Войдите, — проговорил Гарт. Вошёл священник и протянул ящик с револьвером.

— Благодарю вас за то, что вы дали его взаймы, мистер Гарт, я ценю тот дух, который пробудил вас послать его. Я не имею никакого понятия о том, что послужило причиной неприятностей, сопровождавших моё прибытие, но, пожалуй, лучше всего их позабыть, если мы собираемся некоторое время жить вместе на этой планете.

— Пьёте? — спросил Гарт, взяв ящик и показывая на бутылку, стоявшую на столе. Он налил два стакана дополна и протянул один священнику. — Я думаю примерно так же, как и вы, но я должен, однако, вам объяснить, почему это произошло. — Он секунду хмуро смотрел на свой стакан, затем поднял его, приглашая выпить. — Это большой мир, и мне кажется, что мы должны устроиться в нём как можно лучше. За ваше здоровье.

— Господь да пребудет с вами, — сказал отец Марк и тоже поднял стакан.

— Не со мной и не с этой планетой, — твёрдо заявил Гарт. — Вот в чём вся загвоздка. — Он выпил с полстакана вина и вздохнул.

— Вы говорите так, чтобы шокировать меня? — с улыбкой спросил священник. — Уверяю вас, на меня это не действует.

— И не собирался шокировать. Я сказал буквально то, что имел в виду. Я принадлежу, вероятно, к тем, кого вы называете атеистами, а потому до религиозных взглядов мне нет никакого дела. Здешние жители, простые необразованные существа каменного века, умудрялись до сих пор обходиться без всяких суеверий и без зачатков религии, и я надеялся, что они и дальше смогут жить так.

— Что вы говорите? — нахмурился священник. — Вы хотите сказать, что у них нет никакого божества, никакой веры в загробную жизнь? По-вашему, они должны умереть…

— И умирают, и превращаются в прах, как все остальные живые существа. У них есть гром, деревья, вода, но нет бога-громовержца, лесных духов и русалок. У них нет табу и заклинаний и уродливых божков, которые мучили бы их кошмарами и разными ограничениями. Они единственный первобытный народ из всех виденных мною, который совершенно свободен от суеверий и благодаря этому гораздо счастливее и разумнее других. Я хочу, чтобы они такими и остались.

— Вы хотите удержать их в дали от бога… от спасения? — Глаза священника расширились, и он слегка отшатнулся от Гарта.

— Нет, я хочу удержать их от суеверий, — возразил Гарт. — Пусть вескеряне сначала пополнят свои знания и научатся реалистически судить о явлениях природы.

— Вы оскорбляете церковное учение, сэр, приравнивая его к суеверию…

— Пожалуйста, — перебил Гарт, поднимая руку, — никаких теологических споров. Не думаю, чтобы ваше общество понесло расходы по этому путешествию лишь ради попытки обратить меня. Учтите то обстоятельство, что к своим взглядам я пришёл путём серьёзных размышлений на протяжении многих лет, и целой толпе студентов-богословов последнего курса не удастся их изменить. Я обещаю не пытаться обратить вас в свою веру, если вы пообещаете то же по отношению ко мне.

— Согласен, мистер Гарт. Вы мне напомнили, что моя миссия здесь заключается в спасении душ вескерян, и этим я должен заняться. Но почему моя деятельность могла так нарушить ваши планы, что вы старались удержать меня от высадки? Даже угрожали мне револьвером и… — священник умолк и стал смотреть в свой стакан.

— И даже больно ударил вас? — спросил Гарт, внезапно нахмурившись. — Для этого нет никакого оправдания, и я готов просить у вас прощения. Просто плохие манеры, а характер и того хуже. Поживите долго в одиночестве, и вы сами начнёте вести себя так. — Он задумчиво разглядывал свои большие руки, лежавшие на столе; шрамы и мозоли напоминали ему о прошлом. — Назовём это крушением надежд, за неимением лучшего выражения. Занимаясь своей профессией, вы не раз имели случай заглянуть в тёмные закоулки человеческой души и должны кое-что знать о побуждениях к действию и о счастье. Я вёл слишком занятую жизнь, и мне ни разу не пришла в голову мысль осесть где-нибудь и завести семью; и вплоть до недавнего времени я не жалел об этом. Может быть, радиация размягчила мой мозг, но я стал относиться к этим волосатым рыбообразным вескерянам так, словно они в какой-то мере мои собственные дети, и я отчасти отвечаю за них.

— Мы все Его дети, — спокойно заметил отец Марк.

— Ладно, здесь живут те из его детей, которые даже не имеют представления о его существовании, — сказал Гарт, внезапно обозлившись на себя за то, что расчувствовался. Однако он тут же позабыл о своих переживаниях и весь подался вперёд от охватившего его возбуждения. — Можете ли вы понять, как это важно? Поживите с вескерянами некоторое время, и вы увидите простую и счастливую жизнь, не уступающую состоянию благодати, о которой вы постоянно твердите. Они наслаждаются

жизнью… и никому не причиняют вреда. В силу случайности они достигли своего теперешнего развития на бесплодной планете, так что им ни разу не представилась возможность подняться выше материальной культуры каменного века. Но в умственном отношении они не уступают нам… возможно, даже превосходят. Они выучили наш язык, так что я легко могу объяснить им всё, что они хотят знать. Знание и приобретение знаний доставляют им полное удовлетворение. Иногда они могут вас раздражать, так как имеют обыкновение связывать каждый новый факт со всем, что им уже известно, но чем больше они узнают, тем быстрей происходит этот процесс. Когда-нибудь они во всём сравняются с человеком, может быть, превзойдут нас. Если только… Вы согласны оказать мне услугу?

— Всё, что в моих силах.

— Оставьте их в покое. Или же, если это так уж необходимо, учите их истории и естественным наукам, философии, юриспруденции, всему, что поможет им при столкновении с действительностью более широкого мира, о существовании которого они раньше даже не знали. Но не сбивайте их с толку ненавистью и страданиями, виной, грехом и карой. Кто знает, какой вред…

— Ваши слова оскорбительны, сэр! — воскликнул священник, вскочив с места. Его седая голова едва доходила астронавту до подбородка, но он бесстрашно защищал то, во что верил.

Гарт, который тоже встал, уже не казался кающимся грешником. Они гневно смотрели друг на друга в упор, как всегда смотрят люди, непоколебимо защищающие то, что считают правильным.

— Это вы оскорбляете, — крикнул Гарт. — Какое невероятное самомнение думать, что ваши неоригинальные жалкие мифы, лишь слегка отличающиеся от тысячи других, которые всё ещё тяготеют над людьми, могут внести что-то иное, кроме сумятицы, в их неискушённые умы! Неужели вы не понимаете, что они верят в правду и никогда не слышали о таком явлении, как ложь? Им никто ещё не пытался внушить, что можно мыслить иначе. И вы хотите изменить…

— Я исполняю свой долг, то есть Его волю, мистер Гарт. Здесь тоже живут божьи создания, и у них есть души. Я не могу уклоняться от своего долга, который состоит в том, чтобы донести до них Его слово и тем спасти их, введя в Царствие небесное.

Когда священник открыл дверь, ветер рванул её и распахнул настежь. Отец Марк исчез в кромешной тьме, а дверь то открывалась, то захлопывалась, и брызги дождя залетали в

комнату. Гарт медленно пошёл к двери, затворил её и так и не увидел Итина, терпеливо, безропотно сидевшего под ливнем в надежде на то, что Гарт, быть может, на секунду задержится и поделится с ним одной частицей своих замечательных знаний.

С молчаливого обоюдного согласия об этом первом вечере больше никогда не упоминали. После нескольких дней, проведённых в одиночестве, ещё более тягостным от того, что каждый знал о близости другого, они возобновили беседы, но на строго нейтральные темы. Гарт постепенно упаковывал и прятал свои приобретения, не допуская, однако, и мысли о том, что его работа закончена и он может в любое время уехать. У него было довольно много редких лекарств и растительных препаратов, за которые ему дали бы хорошие деньги. А вескерские произведения искусства должны были вызвать сенсацию на космическом рынке с его высокими требованиями. До прибытия Гарта продукция художественных ремёсел на этой планете ограничивалась главным образом резными изделиями, выполненными из твёрдого дерева с помощью осколков камня. Гарт снабдил вескерян инструментами и металлом из своих собственных запасов, вот и всё. Через несколько месяцев вескеряне не только научились работать с новыми материалами, но и воплотили свои замыслы и образы в самые странные — но и самые прекрасные — произведения искусства, которые он когда-либо видел. Гарту оставалось выбросить их на рынок, чтобы создать первоначальный спрос, а затем вернуться за новой партией. Вескерянам нужны были взамен лишь книги, инструменты и знания, и Гарт не сомневался, что скоро наступит время, когда они собственными силами смогут добиться приёма в Галактический союз.

На это Гарт и надеялся. Но ветер перемен задул по посёлку, который вырос вокруг его корабля. Теперь уже не Гарт был центром внимания и сосредоточием всей жизни деревни. Он только усмехался, думая об утрате власти; однако его улыбку нельзя было назвать добродушной. Серьёзные и внимательные, вескеряне всё ещё по очереди исполняли обязанности Собирателя Знаний, но Гарт им давал только голые факты, и это резко контрастировало с атмосферой интеллектуальной бури, окружавшей священника.

В то время как Гарт заставлял отрабатывать за каждую книгу, каждый инструмент, священник раздавал их бесплатно. Гарт пытался соблюдать постепенность в передаче знаний, относясь к вескерянам как к способным, но невежественным детям. Он хотел, чтобы они одолели одну ступеньку, прежде чем перейти к

следующей, чтобы они сначала научились ходить и лишь затем бегать.

Отец Марк просто принёс им все благодеяния христианства. Единственной физической работой, которой он потребовал, была постройка церкви — места для богослужения и проповедей. Из беспредельных, раскинувшихся по всей планете болот вышли новые толпы вескерян, и через несколько дней крыша, покоившаяся на столбах, была готова. Каждое утро паства немного работала, возводя стены, затем спешила внутрь, чтобы узнать многообещающие, первостепенной важности факты, объяснявшие устройство Вселенной.

Гарт никогда не говорил вескерянам, какого он мнения об их новом увлечении, и это происходило главным образом потому, что они никогда не спрашивали его. Гордость или чувство собственного достоинства мешали ему вцепиться в покорного слушателя и излить ему свои обиды. Возможно, всё случилось бы иначе, если бы обязанности Собирателя Знаний по-прежнему лежали на Итине; он был самый сообразительный из всех. Но на следующий день после прибытия священника очередь Итина кончилась, и с тех пор Гарт с ним не разговаривал.

Поэтому для него было сюрпризом, когда через семнадцать вескерских дней — они в три раза длиннее, чем на Земле, — выйдя из дома после завтрака, он увидел у своих ворот делегацию. Итин должен был говорить от её имени, и его рот был приоткрыт. У многих других вескерян рты были тоже открыты, один как будто даже зевал, так что был явственно виден двойной ряд острых зубов и пурпурно-чёрное горло. Завидя эти рты, Гарт понял, что предстоит серьёзная беседа. Открытый рот означал какое-то сильное переживание: счастье, печаль или гнев. Обычно вескеряне были спокойны, и он никогда не видел такого количества разинутых ртов, каким теперь был окружён.

— Помоги нам, Джон Гарт, — начал Итин. — У нас есть к тебе вопрос.

— Я отвечу на любой ваш вопрос, — сказал Гарт, предчувствуя недоброе. — В чём дело?

— Существует ли бог?

— Что вы понимаете под «богом»? — в свою очередь спросил Гарт. Что им ответить?

— Бог — наш небесный отец, создавший всех нас и охраняющий нас. Кому мы молимся о помощи, и кто, если мы спасёмся, уготовил нам…

— Довольно, — отрезал Гарт. — Никакого бога нет.

Теперь они все, даже Итин, раскрыли рты, глядя на Гарта и обдумывая его ответ. Ряды розовых зубов могли бы показаться

угрожающими, если бы Гарт не знал этих созданий так хорошо. На одно мгновение ему почудилось, что они уже восприняли христианское учение и считают его еретиком; но он отбросил эту мысль.

— Спасибо, — ответил Итин, и они повернулись и ушли.

Хотя утро было ещё прохладное, Гарт с удивлением заметил, что он весь в поту.

Последствий не пришлось долго дожидаться. Итин вновь пришёл к Гарту в тот же день.

— Не пойдёшь ли ты в церковь? — спросил он. — Многое из того, что мы изучаем, трудно понять, но нет ничего трудней, чем это. Нам нужна твоя помощь, так как мы должны услышать тебя и отца Марка вместе. Потому что он говорит, что верно одно, а ты говоришь, что верно другое, а то и другое не может быть одновременно правильным. Мы должны выяснить, что верно.

— Конечно, я приду, — сказал Гарт, стараясь скрыть внезапно охватившее его возбуждение. Он ничего не предпринимал, но вескеряне всё же пришли к нему. Возможно, есть ещё основания надеяться, что они останутся свободными.

В церкви было жарко, и Гарт удивился, как много собралось там вескерян, больше, чем ему когда-либо приходилось видеть. Вокруг было множество открытых ртов. Отец Марк сидел за столом, заваленным книгами. Вид у него был несчастный. Он ничего не сказал, когда Гарт вошёл. Гарт заговорил первый.

— Надеюсь, вы понимаете, что это их идея… что они по своей доброй воле пришли ко мне и попросили меня явиться сюда?

— Знаю, — примирительно ответил священник. — Временами с ними бывает очень трудно. Но они учатся и хотят верить, а это главное.

— Отец Марк, торговец Гарт, нам нужна ваша помощь, — вмешался Итин. — Вы оба знаете много такого, чего мы не знаем. Вы должны помочь нам прийти к религии, а это не так-то легко. — Гарт хотел что-то сказать, затем передумал. Итин продолжал: — Мы прочли библию и все книги, которые дал нам отец Марк, и пришли к общему мнению. Эти книги сильно отличаются от тех, что давал нам торговец Гарт. В книгах торговца Гарта описывается Вселенная, который мы не видели, и она обходится без всякого бога, ведь о нём нигде не упоминается; мы искали очень тщательно. В книгах отца Марка он повсюду, и без него ничего не происходит. Одно из двух должно быть правильно, а другое неправильно. Мы не знаем, как это получается, но после того, как выясним, что же верно, тогда, может быть, поймём. Если бога не существует…

— Разумеется, он существует, дети мои, — сказал отец Марк

проникновенным голосом. — Он наш небесный отец, который создал всех нас…

— Кто создал Бога? — спросил Итин, и шёпот умолк, и все вескеряне пристально посмотрели на отца Марка. Он чуть отпрянул под их взглядом, затем улыбнулся.

— Никто не создавал бога, ибо он сам создатель. Он был всегда…

— Если он всегда существовал, то почему Вселенная не могла существовать, не нуждаясь в создателе? — прервал его Итин потоком слов. Важность вопроса была очевидна. Священник отвечал неторопливо, с безграничным терпением.

— Я хотел бы, чтобы все ответы были так же просты, дети мои. Ведь даже учёные не согласны между собой в вопросе о происхождении Вселенной. В тоже время как они сомневаются, мы, узревшие свет истины, *знаем*. Мы можем видеть чудо созидания повсюду вокруг нас. А возможно ли созидание без создателя? Это Он, наш отец, наш бог на небесах. Я знаю, вы сомневаетесь; это потому, что у вас есть души и ваша воля свободна. И всё же ответ очень прост. Имейте веру — вот всё, что вам надо. Только верьте.

— Как можем мы верить без доказательств?

— Если вы не можете понять, что сам этот мир является доказательством Его существования, тогда я скажу вам, что вера не нуждается в доказательстве… если вы в самом деле верите!

Церковь наполнилась гулом голосов; у большинства вескерян рты были раскрыты: эти существа пытались пробиться через паутину слов и отделить нить от истины.

— Что ты можешь сказать нам, Гарт? — спросил Итин, и при звуке его голоса шум стих.

— Я могу посоветовать вам, чтобы вы пользовались научным методом, с помощью которого можно изучить всё — включая самый метод — и получить ответы, доказывающие истинность или ложность любого утверждения.

— Так мы и должны поступить, — ответил Итин. — Мы пришли к тому же выводу. — Он схватил толстую книгу, и по рядам присутствующих пробежала зыбь кивков. Мы изучили библию, как нам посоветовал отец Марк, и нашли ответ. Бог сотворит для нас чудо и тем докажет, что он бдит над нами. И по этому знаку мы узнаем его и придём к нему.

— Это грех ложной гордости, — возразил отец Марк. — Бог не нуждается в чудесах для доказательства своего существования.

— Но мы нуждаемся в чуде! — воскликнул Итин, и, хотя он не был человеком, в его голосу зазвучала жажда истины. — Мы прочли здесь о множестве мелких чудес — о хлебах, рыбах,

вине… Некоторые из них были совершены по гораздо более ничтожным поводам. Теперь ему надо сотворить ещё одно чудо, и он всех нас приведёт к себе… И это будет чудом преклонения целого нового мира перед его престолом, как ты нам говорил нам, отец Марк. И ты говорил нам, насколько это важно. Мы обсудили этот вопрос и решили, что есть одно чудо, наиболее подходящее для такого случая.

Скука, которую Гарт испытывал от теологических споров, мгновенно испарилась. Он не дал себе труда подумать, иначе сразу понял бы, к чему клонится дело. На той странице, на которой Итин раскрыл библию, была какая-то картинка; Гарт заранее знал, что там было изображено. Он медленно встал со стула, как бы потягиваясь, и обернулся к священнику, который сидел позади него.

— Приготовьтесь! — прошептал Гарт. — Выходите с задней стороны и идите к кораблю; я задержу их здесь. Не думаю, чтобы они причинили бы мне вред.

— Что вы хотите сказать? — спросил отец Марк, удивлённо моргая.

— Уходите, вы, глупец! — прошептал Гарт. — Как вы думаете, какое чудо они имеют в виду? Какое чудо, по преданию, обратило мир в христианство?

— Нет! — пробормотал отец Марк. — Не может быть. Этого просто не может быть!..

— Быстрее! — крикнул Гарт, стаскивая священника со стула и отшвыривая его к задней стене.

Отец Марк, споткнувшись, остановился, затем повернул назад. Гарт ринулся к нему, но опоздал. Амфибии были маленькие, но их собралось так много! Гарт разразился бранью, и его кулак опустился на Итина, отбросив его в толпу. Когда он стал прокладывать себе путь к священнику, другие вескеряне тесно окружили его. Он бил их, но это было всё равно что бороться с волками. Мохнатые, пахнущие мускусом тела затопили и поглотили его. Он не прекратил сопротивления даже тогда, когда его связали и стали бить по голове. Но амфибии вытащили его наружу, и теперь он мог лишь лежать под дождём, ругаться и наблюдать.

Вескеряне были чудесными работниками и всё до последней подробности сделали так, как на картинке в библии: крест, прочно установленный на вершине небольшого холма, блестящие металлические гвозди, молоток. С отца Марка сняли всю одежду и надели на него тщательно сложенную складками набедренную повязку. Они вывели его из церкви.

При виде креста миссионер едва не лишился чувств. Но затем

он высоко поднял голову и решил умереть так, как жил — с верой.

Но это было тяжело. Это было невыносимо даже для Гарта, который только смотрел. Одно дело говорить о распятии и разглядывать при тусклом свете лампады красиво изваянное тело. Другое — видеть обнажённого человека, с верёвками, врезавшимися в тех местах, где тело привязано к деревянному брусу. И видеть, как берут остроконечные гвозди и приставляют к мягкой плоти — к его ладони, как спокойно и равномерно ходит взад и вперёд молоток, словно им размеренно работает мастеровой. Слышать глухой стук металла, проникающего в плоть.

А затем слышать вопли.

Немногие рождены для мученичества; отец Марк не принадлежал к их числу. При первых же ударах он закусил губу; из неё потекла кровь. Потом его рот широко раскрылся, голова запрокинулась, и ужасные гортанные крики то и дело врывались в шёпот падающего дождя. Они вызывали немой отклик в толпе наблюдавших вескерян; какого бы характера ни было волнение, от которого раскрывались их рты, теперь оно терзало их с огромной силой, и ряды разверстых пастей отражали смертные муки распятого священника.

К счастью, он лишился чувств, как только был вбит последний гвоздь. Кровь бежала из свежих ран, смешиваясь с дождём и бледно-розовыми каплями стекая с ног, по мере того как жизнь покидала его. Почти в тоже время Гарт, рыдавший и пытавшийся разорвать свои путы, потерял сознание, оглушённый ударами по голове.

Он пришёл в себя на своём складе, когда уже стемнело. Кто-то перерезал плетёные верёвки, которыми он был связан. Снаружи всё ещё слышался шум дождевых капель.

— Итин, — сказал Гарт. Это мог быть только он.

— Да, — прошептал в ответ голос вескерянина. — Остальные всё ещё разговаривают в церкви. Лин умер после того, как ты его ударил по голове, а Инон очень болен. Некоторые говорят, что тебя тоже надо распять, и я думаю, так и случится. Или, может быть, тебя забросают камнями. Они нашли в библии место, где говорится…

— Я знаю. — Бесконечно усталый, Гарт продолжал: — Око за око. Вы найдёте кучу таких изречений, стоит только поискать. Это изумительная книга!

Голова Гарта разламывалась от боли.

— Ты должен уйти, ты можешь добраться до своего корабля так, что никто не заметит тебя. Хватит убийств. — В голосе Итина

тоже прозвучала усталость, охватившая его впервые в жизни.

Гарт попытался встать. Он прижимался головой к шершавой деревянной стене, пока тошнота не прекратилась.

— Он умер. — Это прозвучало как утверждение, а не как вопрос.

— Да, недавно. Иначе я не смог бы уйти к тебе.

— И, разумеется, похоронен, не то им не пришло бы в голову приняться за меня.

— И похоронен! — В голосе вескерянина звучало что-то похожее на волнение, отголоски интонаций умершего священника. — Он похоронен и воскреснет на небесах. Так написано, значит так и произойдёт. Отец Марк будет очень счастлив, что всё так случилось. — Итин издал звук, напоминавший человеческое всхлипывание.

Гарт с трудом побрёл к двери, то и дело прислоняясь к стене, чтобы не упасть.

— Мы правильно поступили, не правда ли? — спросил Итин. Ответа не последовало. — Он воскреснет, Гарт, разве он не воскреснет?

Гарт стоял уже у двери, и в отблесках огней из ярко освещённой церкви можно было разглядеть его исцарапанные руки, вцепившиеся в дверной косяк. Совсем рядом из темноты вынырнуло лицо Итина, и Гарт почувствовал, как нежные руки с многочисленными пальцами и острыми когтями ухватились за его одежду.

— Он воскреснет, ведь так, Гарт?

— Нет, — произнёс Гарт, — он останется там, где вы его зарыли. Ничего не произойдёт, потому что он мёртв и останется мёртвым.

Дождь струился по меху Итина, а рот его был так широко раскрыт, что, казалось, он кричит в ночь. Лишь с большим усилием смог он вновь заговорить, втискивая чуждые ему мысли в чуждые слова.

— Стало быть, мы не будем спасены? Мы не станем безгрешными?

— Вы были безгрешными, — ответил Гарт, и в голосе его послышалось не то рыдание, не то смех. — Ужасно неприглядная, грязная история. Вы были безгрешными. А теперь вы…

— Убийцы, — сказал Итин. Вода струилась по его поникшей голове и стекала куда-то в темноту.

Деймон Найт
Страна милостивых

Когда я подкатил, смотритель на автостоянке дремал — толстый, вялый тип в черно-белом атласном трико. Сам я был в алом — как раз под настроение. Выйдя из машины, я подошел к нему вплотную.

— Стоянка или хранение? — автоматически спросил он, оглядываясь по сторонам. И тут он понял, кто я такой, и моментально спрятал глаза.

— Ни то, ни другое, — ответил я.

Как раз за его спиной маячил открытый проем ремонтного гаража. Я прихватил с полки паяльную лампу и вернулся к машине. Затем раскочегарил горелку и поставил ее как раз напротив колеса. Резина завоняла и зашипела, стекая на мостовую. Смотритель безмолвствовал.

Там я его и оставил, насладившись напоследок зрелищем черной вонючей лужи на вылизанном до блеска бетоне.

Машина тоже была ничего себе; впрочем, я в любое время мог раздобыть себе другую. И захотелось мне прогуляться. И пошел я по извилистой дороге, заснувшей под предзакатным солнцем, по роскошной дороге, изрезанной тенями и овеянной благоухающей прохладой, под сенью листвы. А вокруг — никого. И жилья — никакого. Все укрыто дерном и кустарником. Это мне и нужно было. Я явился сюда вовсе не для того, чтобы полюбоваться жизнью и бытом местных кретинов.

Я наугад свернул и пересек холмистую лужайку, миновал вторую живую изгородь — боярышник в цвету — и вышел к большому теннисному корту.

Разделенные натянутой сеткой, там играли две пары — в охотку, не особенно потея, — все четверо молодые, примерно вдвое моложе меня. Среди них — одна девушка, блондинка. Славно играли они, весело убивая время.

Я понаблюдал с минутку. Но вскорости ближайшая парочка почуяла, что я рядом. Я выступил на корт, как раз когда блондинка собралась подавать. Застыв на цыпочках по ту сторону сетки, она бросила на меня ледяной взгляд. Остальные тоже замерли.

— Все, — сказал я. — Собираем пешки.

Потом я смотрел им вслед, особенное внимание уделяя блондинке. Двигалась она не спеша, зажав ракетку под мышкой, — несколько вперевалку, но достаточно грациозно.

Затем легкое оцепенение прошло, блондинка прибавила шагу и поспешила с корта вслед за тремя остальными.

Я шел сзади, выслеживая их по голосам, доносившимся из-за поворота тропы, что исчезала в сиреневых кущах, — я шел, вдыхая сладкий аромат, пока не дошел до того, что резало мне глаза далеким солнечным зайчиком. Площадка с солнечными часами и купальня для птиц, а вокруг на траве разостланы полотенца. Первую пару — тех, что с волосами потемнее, — я по-прежнему различал впереди на тропинке. Вторая пара исчезла.

Рычаг в траве я отыскал без труда. Механизм сработал, и продолговатый кусок дерна поднялся. Там оказалась лесенка, а не эскалатор, но мне было без разницы. Я сбежал вниз по ступенькам, зашел в первую попавшуюся дверь и оказался в овальной комнате отдыха на верхнем этаже. Мебель шикарная, самая что ни на есть буржуйская — расползшаяся, безобразная, на полу ворсистый ковер, а в воздухе аромат свежих цветов.

Блондинка сидела в ближнем углу комнаты спиной ко мне, рассматривая клавиатуру повара-автомата. Она уже почти избавилась от своего теннисного костюма. Стянув все остальное, она выступила из упавшей одежды, а затем обернулась и увидела меня.

Она снова удивилась — видно, у нее и в мыслях не было, что я смогу ее выследить.

Прежде чем ей пришло в голову двинуться с места, я уже подобрался ближе; а потом было слишком поздно: блондинка поняла, что ей от меня никуда не деться; закрыв глаза, она прижалась к стене, слегка побледнев. Губы ее напряглись, а золотые брови нахмурились.

Я оглядел ее с головы до ног и отпустил пару-другую сомнительных комплиментов. Она задрожала, но не ответила. Поддавшись порыву, я наклонился и набрал на клавиатуре автоповара «горячий сырный соус». Я отключил предохранительное устройство и повернул указатель количества на максимум. Заодно я набрал «миску» и «чашу для пунша».

Дымящийся паром соус начал булькать в миске примерно через минуту. Я принял у автоповара две штуки и окатил стену слева и справа от блондинки. Затем прибыли чаши для пунша, и работа пошла быстрее. Я заляпал этим вонючим соусом весь ковер; я пустил ручьи по всем стенам, загадил всю мебель, — в общем, натараканил везде, куда только смог дотянуться. Когда соус остынет, он станет твердым и липким — черта с два его потом отдерешь.

Очень хотелось размазать горячее варево по ее телу, но ей будет больно, а этого нам нельзя. Чаши для пунша с горячим

соусом все еще выскакивали из автоповара, скапливаясь на конвейере. Я грохнул кулаком по кнопке «отмена», а потом заказал «сотерн» (сладкий, калифорнийский).

Он вышел хорошо охлажденный, в откупоренных бутылках. Я взял первую и уже занес было руку, чтобы плеснуть ей в грудь хорошую струю напитка, когда раздался голос за спиной:

— Осторожно, вино холодное.

Рука у меня дернулась, и жалкая струйка вина плеснула блондинке на бедра. Она уже успела открыть глаза и теперь только подпрыгнула.

Обезумев от ярости, я резко развернулся. Мужчина стоял совсем рядом. Загорелый, широкоплечий, с тонкими чертами лица и живыми голубыми глазами. Если бы не он, моя уловка наверняка бы сработала — блондинка вполне могла принять холодный «сотерн» за обжигающий соус.

Представляю себе этот вопль. О, как мне хотелось услышать его!

Я направился к парню, но поскользнулся на залитом соусом ковре и подвернул ногу. Встав, я почувствовал, что меня уже ничто не сдержит.

— Ах ты, гнида! — Повернувшись, я схватил одну из чаш с горячим соусом и занес ее над головой, ошпарив руки… И тут мой недуг вновь овладел мной — это проклятое жужжание в голове, все громче и громче, так, что ничего уже не слышно и не видно.

Когда я очнулся, их уже не было. Еле-еле, словно реанимированная крыса, дополз до ближайшего кресла. Весь измазанный остывающим соусом, точно блевотиной. Мне хотелось умереть. Хотелось провалиться навсегда в ту темную пушистую дыру, что вечно разверзалась передо мной и никогда меня не принимала; но в конце концов я заставил себя выбраться из кресла.

Спускаясь в лифте, я снова чуть не потерял сознание. Ни блондинки, ни парня не оказалось ни в одной из спален второго этажа. Убедившись в этом, я опустошил все платяные шкафы и комоды, запихнул все их барахло в ванну и включил воду.

Я пытался искать на третьем этаже — в комнатах технического обслуживания и кладовках. Там было пусто. Я врубил котел отопления и установил термостат на максимальную температуру. Затем отключил все системы безопасности и аварийную сигнализацию. Не забыл я и про холодильники, оставил их открытыми, чтобы как следует разморозились и потекли. Затем я пинком распахнул дверь на лестничную клетку и отправился на второй этаж.

Здесь я немного задержался, полюбовавшись, как вода ручьями разливается по полу, а затем напоследок обыскал верхний этаж. Я открыл катушки с микрофильмами и разбросал их по комнате; я бы еще что-нибудь отколотил, но сил уже не оставалось. Наконец, поднявшись по лестнице, я рухнул на газон возле солнечных часов — и темная пушистая дыра поглотила меня с головой.

А вода тем временем прибывала.

Размороженные продукты вместе с прочей грязью уже выносило в верхний коридор, к лестничному колодцу. Скоро их подземная халупа окончательно раскиснет от воды и разлетится вдребезги. Конец идиллии.

Так им и надо.

Правда, эти кретины могут построить еще один дом — строят они почище бобров. У них все еще наладится. Но не у меня.

Самое раннее мое воспоминание: какая-то женщина, вероятно моя доп-мать, смотрит на меня с выражением ужаса и отчаяния. И все. Я пытался вспомнить, что происходило до или после, но не смог. Только черная яма беспамятства, глубокая, уходящая вниз до самого момента появления на свет. А дальше — море покоя.

Все, что я могу вспомнить от пяти до пятнадцати лет, — это безмятежное плавание в мутном море беспамятства. Я был вял и мягок — я только плыл по течению. Пробуждение перетекало в сон.

Когда мне исполнилось пятнадцать, в игры моих ровесников вмешалась любовь. Появилась такая мода: разделяться на пары на несколько месяцев или дольше. «Верность» — так мы это называли. Родителям такие игры не нравились, но мы сами считали себя вполне взрослыми людьми, отвечающими за свои поступки.

Все — кроме меня.

Мою первую девушку звали Элен. У нее были светлые волосы — длинные-предлинные. И еще у нее были темные ресницы и прозрачные зеленые глаза. Поразительные глаза — они на тебя будто и не смотрели. Как у слепой.

Несколько раз она бросала на меня странные изумленные взгляды, выражавшие нечто среднее между испугом и гневом. Один раз — из-за того, что я слишком крепко обнял ее, в других случаях — вообще непонятно из-за чего.

В нашей группе пара, распадавшаяся раньше, чем через четыре недели, вызывала некоторое подозрение.

И вот ровно через четыре недели и один день после того, как мы с Элен составили пару, она заявила, что порывает со мной.

Раньше я думал, что окажусь к этому готов. Но сразу после ее

слов я почувствовал, как комната поворачивается на полоборота, пока стена не наткнулась на мою ладонь и не замерла.

Это была комната досуга. Здесь находились мои коллекции. Помню, под рукой как раз оказался набор ножей из сверхпрочного пластика. Я машинально взял один из них, скорее всего для того, чтобы напугать ее.

И когда я направился к Элен, меня встретил взгляд, полный изумления и ненависти. Но вот что было странно: она смотрела не на нож. Она смотрела прямо мне в лицо.

Потом меня, всего залитого кровью, нашли взрослые и заперли в какой-то комнате. И когда я впервые в жизни осознал, на что способно человеческое существо, настала моя очередь испугаться. И страх настиг меня.

Ведь то, что я сделал с Элен, думал я, смогут сделать и со мной.

Но они не смогли. Они отпустили меня.

И именно тогда я понял, что я властитель этого мира…

Тем временем небо уже налилось фиолетовым светом, а от изгородей протянулись тени. Я стал спускаться с холма и заметил призрачно-голубое сияние фотоновых трубок неподалеку от опустевшего рынка. Я по привычке направился на свет.

Там выстраивалась длинная очередь, и все показывали на входе свои документики. Я протолкнулся сквозь эту организованную толпу — ошеломленные лица замаячили по сторонам, человеческая плоть тревожно вздрагивала и отшатывалась от меня — и в конце концов попал в раздевалку.

Ремешки, акваланги, маски и ласты — бери что хочешь. Я разделся, бросая одежду где попало, и облачился в экипировку для подводного плавания. Я прошагал в сторону бассейна, чудовищный, похожий на существо из другого мира. У бортика я приладил акваланг, натянул ласты и рухнул в воду.

Внизу все светилось кристально-голубым, а фигуры пловцов скользили в этой голубизне, будто бледные бесплотные ангелы. Стайки мелких рыбешек разлетались на моем пути. Сердце мое колотилось мучительно и радостно.

Внизу, глубоко внизу я заметил девушку, неторопливо изгибавшуюся в затейливом подводном танце вокруг бугристой колонны имитированного коралла. В руках у нее была охотничья острога, но девушка не охотилась — она просто танцевала у самого дна бассейна.

Я подплыл ближе. Она была молода и изящна. Как только девушка заметила мои неуклюжие попытки подражать ее танцу, глаза ее под маской засияли от удовольствия. Она отвесила мне шутливый поклон и медленно заскользила дальше, делая

простые, подчеркнуто простые движения — как в детском балете.

Я подхватил. Я описывал пируэты вокруг девушки — вначале нескладно, но мало-помалу все-таки освоил ее замысловатый танец.

Я заметил, как глаза ее широко раскрылись от удивления. Затем она подстроила свой ритм к моему, и, то сплетаясь, то разъединяясь, мы совместными усилиями творили венок нашего танца. Наконец, утомленные, мы прижались друг к другу, укрытые от посторонних взоров, на самом дне, под мостом из искусственного коралла. Ее прохладное тело покоилось в моих объятиях; глаза ее за двухслойными стеклами — далекие, как другой мир! — были дружелюбны и ласковы.

Затем настал момент, когда мы — незнакомые друг с другом и все же составлявшие теперь как бы одну плоть — ощутили, как наши души разговаривают одна с другой сквозь эту бездну материи. Наше объятие оставалось несовершенным, ущербным — мы не могли целоваться, не могли разговаривать, но руки ее доверчиво лежали у меня на плечах, и взгляд мой тонул в ее глазах, полных неги и покоя.

Сердце мое трепетало от одной мысли, что это должно когда-то кончиться. Она указала рукой вверх и выскользнула из моих объятий. Я последовал за ней. После недавнего приступа моего недуга я чувствовал приятную усталость и едва ли не удовлетворение. Я думал… Трудно сказать, что я тогда думал.

Мы вскарабкались на бортик бассейна. Она повернулась ко мне, снимая маску — и улыбка замерла, а затем растаяла у нее на лице. Сморщив нос, она уставилась на меня с ужасом и отвращением.

— Пий! — воскликнула она и отшатнулась.

Не в силах отвести от нее глаз, я увидел, как она упала в объятия светловолосого мужчины, и услышал ее срывающийся, истерический голос.

— Ты что, забыла? — пробурчал мужчина. Он обернулся. — Хел, есть там в клубе копия?

В ответ послышалось бормотание, а несколько мгновений спустя показался молодой человек с тонкой брошюркой коричневого цвета в руках.

Я знал, что это за книжка. Я даже мог бы сказать, какую страницу открыл светловолосый; какие фразы читала девушка, пока я наблюдал за ними.

Я ждал. Сам не знаю почему. Я услышал, как она взвизгнула:

— Подумать только, что я позволила ему коснуться меня!

Светловолосый стал утешать ее, говорил он тихим, вкрадчивым баритоном, так что я не слышал ни слова. Я видел,

как девушка гордо выпрямилась и бросила на меня косой взгляд… Всего несколько метров благоухающего, залитого голубым светом воздуха — и целый мир между нами… А затем смяла брошюру в комок, отшвырнула и резко повернулась ко мне спиной.

Брошюра приземлилась почти у моих ног. Я расправил ее и прочел на той самой странице, о которой думал:

> «…седация до пятнадцати лет, когда по соображениям пола это перестало быть целесообразным. Пока консультанты и медицинский персонал колебались, он в приступе бешенства убил девушку из своей группы».

И ниже:

> «Окончательное решение включало в себя три пункта:
>
> 1. *Мера наказания.* Представляет собой санкцию, единственно возможную в нашем гуманном, терпимом обществе. Изоляция: не разговаривать с ним, не прикасаться к нему добровольно, а также не признавать его существования.
>
> *2. Меры предосторожности.* Благодаря некоторой предрасположенности к эпилепсии, был применен один из вариантов так называемой аналоговой техники Куско для предотвращения любого возможного акта насилия с помощью эпилептического припадка.
>
> 3. *Предупреждение.* Тщательное изменение химического состава его тела повлекло за собой то, что выдыхаемый им воздух и выделяемые им отходы испускают чрезвычайно едкий и неприятный запах. Из соображений милосердия сам он был изменен так, что запах этот почувствовать не способен.
>
> К счастью, комбинация генетических факторов и влияния окружающей среды, приведшая к образованию данного атавизма, полностью исследована и объяснена, так что в дальнейшем подобное…»

Дальше слова перестали что-либо значить, как всегда случалось в этом месте. Дальше я ничего не хотел читать — все равно чепуха. Я был властителем мира.

Я встал и пошел прочь — в ночную тьму, даже не замечая кретинов, толпившихся в комнатах, через которые я проходил.

Через два квартала начиналась торговая зона. Я нашел вход в магазин и вошел туда. Я не обращал внимания на то, что

выставлено в витринах, — там серяк, тряпки для нищих оборванцев. Я прошел мимо этих витрин к специальному отделу и обнаружил там достойный костюм, который смог бы носить: серебряный с голубым и строгая черная окантовка по краям. Любой кретин сказал бы, что это «очень мило». Я нажал кнопку рядом с костюмом. Шкаф-автомат поднял на меня тупой стеклянный глаз и проквакал:

— Вашу расчетную книжку, пожалуйста.

Я вполне мог бы предоставить ему расчетную книжку, если бы позаботился выйти на улицу и отобрать ее у первого встречного; но на такое у меня не хватило бы терпения. Вместо этого я вытащил из расположенного рядом бара одноногий столик, поднял его над головой и швырнул в дверцу шкафа. Раздался грохот, и на железке напротив запора образовалась вмятина. Я еще раз швырнул столик, целя в то же место, после чего дверца настежь распахнулась. Я набрал целую охапку одежды — все, что было нужно.

Там же я принял ванну и переоделся, а затем забрался в большой многоторг чуть дальше по авеню. Супермаркеты почти ничем не отличаются друг от друга. Я сразу отправился в отдел ножей и подобрал там три штуки разных размеров — самый маленький размером с ноготь. Теперь я мог рассчитывать только на удачу. Я, как и в прошлый раз, попытал счастья в мебельном отделе, где мне время от времени везло; но в этом году была мода на все металлическое. Мне же требовалось крепкое дерево.

Я знал, где имеется хорошая заначка вишневой древесины — в просторных блоках заброшенного торгового склада на севере, в местечке под названием Кутеней. Я мог бы захватить запас на несколько лет — но зачем, когда весь мир и так принадлежал мне?

Наконец в отделе товаров для мастерских я обнаружил кое-какие древности: столы и скамейки, все с деревянными крышками. Пока эти придурки толпились в дальнем углу магазина, притворяясь, что не замечают меня, я отпилил хороший кус от самой маленькой скамейки и сделал для него основание из другой.

Раз уж я туда забрался, лучшего места для работы искать вряд ли стоило, а есть и спать я мог наверху.

Я знал, что мне надо. Это должна была быть фигурка человека, сидящего со скрещенными ногами, откинутой назад головой и закрытыми глазами.

Вся работа заняла три дня. Получился не человек и не дерево я создал нечто новое, чего до сих пор просто, не существовало.

Красота. Было такое старинное слово.

Одна из рук фигуры как бы расслабленно свисала, а другая была сжата в кулак. Я взял самый маленький нож; тот, что использовал для шлифовки. Просверлив отверстие в деревянной руке фигурки — как раз между большим и указательным пальцами сжатого кулака, я воткнул туда нож; в маленькой руке он казался мечом.

Я зацементировал нож намертво. Затем выбрал клинок поострее и, надрезав большой палец, смазал кровью лезвие маленького ножа.

Остаток дня я провел в поисках и в конце концов нашел подходящее место — нишу в разломе скалы на маленьком треугольном клочке земли, почти нетронутом, у развилки двух дорог. Разумеется, в таком обществе, как наше, ничто не могло оставаться неизменным, когда каждый меняет свое жилище раз в пять лет или даже чаще, следуя веяниям моды.

Послание у меня уже было готово, из напечатанных еще в прошлом году. Бумага обработана специальным составом, чтобы ни дождь, ни солнце не нанесли ущерба тексту. У дальней стены в нише я припрятал маленькую фотокапсулу и провел контрольный провод в скобе у основания фигурки. Я водрузил фигурку на листок с посланием и в двух местах слегка смазал ее цементом. Делал я это не в первый раз и поэтому точно знал, сколько потребуется цемента, чтобы фигурка сдвинулась с места только тогда, когда кто-нибудь действительно захочет ее сдвинуть.

Затем я отошел немного, чтобы оценить свою работу, — и сила ее и трогательность заставили меня затаить дыхание; слезы выступили у меня на глазах.

Свет прерывисто мерцал на замазанном темными пятнами лезвии, торчавшем из деревянной руки. Фигурка одиноко сидела в своей нише, будто в склепе. Глаза ее были закрыты, а голова запрокинута, лицо обращено вверх, к солнцу.

Но над головой у нее — только камень. И не было для нее солнца.

Сгорбившись на голой холодной земле под перечным деревом, я смотрел через дорогу на затененную нишу, где сидела моя фигурка.

Здесь все было закончено. Меня больше ничто не держало — но уйти я не мог.

Время от времени мимо проходили люди — не слишком часто. Община, казалось, наполовину опустела, будто большинство населения отправилось на какую-нибудь бурную вечеринку или митинг или посмотреть, как роют новый дом взамен того, что я уничтожил… Лицо мне освежал легкий

ветерок, притаившийся в листве.

По другую сторону впадины находилась терраса, и на ней с полчаса назад промелькнула голова мальчика в красной шапочке.

Поэтому я и задержался. Ведь мальчик вполне мог бы спуститься с террасы на дорогу и, проходя мимо маленького полудикого треугольника, заметить мою фигурку. К тому же он мог бы остановиться и подойти поближе, а подойдя ближе — поднять деревянного человечка и прочесть, что написано в лежащем под ним послании.

Я верил, что когда-нибудь это должно случиться. Изнывая от нетерпения, я жаждал этого момента.

Мои резные фигурки были разбросаны по всему миру — куда я только не забредал. Одна, грязно-черная, вырезанная из эбенового дерева, находилась в Конго-Сити; другая, из кости, на Кипре; еще одна, из раковины, в Нью-Бомбее; еще одна, из нефрита, в Шанхае.

Мои фигурки — словно семафоры в мире, не способном различать цвета. И только тот, кого я искал, поднимет одну из них и прочтет послание, которое сам я знал наизусть.

ТЕБЕ, ВИДЯЩЕМУ, говорилось там вначале, Я ПРЕДЛАГАЮ ЦЕЛЫЙ МИР…

Вверху, на террасе, снова мелькнуло красное пятно. Я застыл. Минутой позже оно появилось снова, в другом месте, — мальчик в остроконечной шапочке, напоминавшей голову дятла, спускался по склону.

Я затаил дыхание.

Он приближался ко мне. На фоне трепещущей листвы карандашики солнечного света разрисовали его в пестрые, меняющиеся цвета. Смуглое лицо мальчугана казалось необычно серьезным. Оттопыренные уши моментально загорались розовым, как только он поворачивался к солнцу спиной.

Наконец мальчик достиг развилки и выбрал дорогу, которая вела в мою сторону. Когда он подошел ближе, я совсем съежился: «Пусть он увидит фигурку, пусть он не заметит меня», — неистово проносилось в моей голове.

Пальцы мои тем временем судорожно сжимали камень.

Он подходил все ближе; руки в карманах, взгляд уткнулся под ноги.

Когда мальчик оказался почти напротив меня, я бросил камень.

Он прошуршал сквозь листву и упал рядом с нишей в скале. Мальчик повернул голову; затем остановился, присматриваясь. Думаю, он заметил фигурку. Уверен, что заметил.

Мальчик сделал шаг в сторону ниши.

— Риша! — донеслось с террасы. И он поднял глаза.

— Я здесь, — пропищал он в ответ.

Я увидел голову женщины — такую маленькую, высоко на террасе. Она что-то кричала, но слов нельзя было разобрать. Скрипя зубами от ярости, я уже готов был вскочить.

И тут ветер переменился. Теперь он задул за моей спиной. Мальчик резко обернулся, сделал большие глаза и зажал рукой нос.

— Ой, какая вонища! — заверещал он.

И повернулся, чтобы крикнуть: «Иду!» — и торопливо зашагал обратно по дороге.

Сорвалось! Я был уверен, что все получилось бы, если бы не та проклятая женщина и переменившийся ветер… Все, все против меня — ветер, люди и вообще Все на свете.

А фигурка так и сидела, уперев слепые глаза в каменное небо.

Я забрал фигурку из ниши, а вместе с ней и послание — и взобрался по склону. На вершине звенел прозрачный смех мальчика.

Вскоре я преодолел склон и неожиданно натолкнулся на мальчика, стоявшего на коленях на траве. Он играл с пятнистым щенком.

Мальчик взглянул на меня, и смех застыл у него в горле; Скверно, ветра совсем не было, и он вполне мог почувствовать запах. Но все же я подошел к нему, опустился на одно колено и поднес фигурку к его лицу. Почти вплотную.

— Посмотри… — сказал я.

Он рванулся прочь так поспешно, что и разглядеть ничего не успел, кроме приближавшегося к нему коричневого пятна.

Я бежал за ним, спотыкаясь и падая. В руке я держал фигурку, а вместе с ней и послание.

Дверь захлопнулась прямо перед моим носом. Я стучал по ней, пока случайно не попал по кнопке. Когда дверь открылась, я ворвался в дом с криком: «Погоди!» — и вскоре очутился на извилистой лестнице, освещенной жемчужно-серым светом. Я бежал наугад и попал не в ту дверь— в подземную оранжерею, горячую и влажную в желтом свете, где длинные ряды буйной растительности нависали над проходом. В ярости я ринулся по проходу, опрокидывая горшки, пока не добрался до лифта в вестибюле.

Вскоре я вышел на третий этаж, оказавшись в лабиринте комнат для гостей — гулких и пустых комнат. Здесь я услышал голоса.

Последняя дверь была прозрачной витриной, и я не торопился открывать ее, приглядываясь и прислушиваясь. За ней находились мальчик и женщина, его мать или сестра, и еще одна женщина, постарше. Она сидела в массивном кресле и держала в руках щенка.

Когда я ворвался внутрь, наступило общее замешательство, душное, будто одеяло, сквозь которое не мог пробиться мой голос. Я почувствовал, что должен кричать.

— Все, что они говорят тебе, — ложь! — крикнул я. — Посмотри сюда — вот где правда! — Я держал фигурку прямо у него перед глазами, но мальчик не видел.

— Риша, иди вниз, — тихо промолвила молодая женщина. Он послушно повернулся, проворный, как хорек, но я успел загородить ему дорогу.

— Останься, — сказал я, тяжело дыша. — Только взгляни…

— Помни, Риша, разговаривать нельзя, — предупредила женщина.

Больше терпеть я не мог. Не знаю, куда делся мальчик, я потерял его из виду. С фигуркой в одной руке и посланием в другой я бросился на женщину. Я почти успел — почти добрался до нее, но жужжание в голове остановило меня за каких-то полшага. Оно нарастало — все громче и громче, как в конце света.

Второй приступ за последнюю неделю. Я чудовищно ослаб и поначалу не мог даже сдвинуться с места.

В доме царило безмолвие. Все ушли… После моего визита дом считался осквернённым. Они уже никогда не станут здесь жить. Ничего, отстроятся в другом месте.

В глазах у меня стоял туман. Некоторое время спустя я поднялся и оглядел комнату. Конечно, можно было разодрать обои, переломать мебель, набить коврами и постельным бельем подземную кладовку… Но не лежала у меня к этому душа. Я слишком устал. Тридцать лет… Тридцать лет назад они уступили мне все царства мира сего — а значит, и славу. Куда больше того, что может выносить человек тридцать лет.

В конце концов я наклонился и подобрал фигурку, а вместе с нею и послание. Жалкий был вид у него — будто у письма, которое выбросили непрочитанным.

Я горько вздохнул.

А затем разгладил бумажку и еще раз прочел последнюю часть.

ТЫ МОЖЕШЬ РАЗДЕЛИТЬ СО МНОЙ ВЕСЬ ЭТОТ МИР. ОНИ НЕ СМОГУТ ОСТАНОВИТЬ ТЕБЯ. ВОССТАНЬ — ВОЗЬМИ

ОСТРОЕ И КОЛИ, ВОЗЬМИ ТЯЖЕЛОЕ И БЕЙ. ЭТО ВСЕ, ЧТО НУЖНО. ТЫ СТАНЕШЬ СВОБОДНЫМ- ЭТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ЛЮБОЙ.

Любой. Кто-нибудь. Любой.

Айзек Азимов
Машина — победитель

Даже в безмолвных коридорах Мультивака царил праздничный дух.

Тишина и покой уже сами по себе говорили о многом. Впервые за последние несколько лет не мельтешили в лабиринтах взмыленные техники, не мигали лампочки, иссякли потоки входной и выходной информации.

Разумеется, так долго не продлится — этого не позволят нужды мирной жизни. И все же день, может быть, неделю даже Мультивак будет праздновать победу и отдыхать.

Ламар Свифт снял военную фуражку и, устремив взгляд в пустой коридор гигантского компьютера, тяжело опустился на стул. Форма, к которой он так и не смог привыкнуть, топорщилась на нем тяжелыми уродливыми складками.

— Даже представить себе трудно, что война с суперпотоком окончена. Я до сих пор не могу спокойно смотреть на небо, — сказал он. — Как же мне надоело это военное положение!

Оба спутника директора-распорядителя Солнечной Федерации были моложе Свифта, менее седые и уставшие.

— Подумать только! — воскликнул Джон Гендерсон. — Какой же дьявольски хитрый был этот суперпоток. Мало того, что он бомбардировал нас неизвестно откуда возникающими метеоритами, — он еще и проглатывал наши зонды-разведчики. Теперь-то все мы наконец сможем как следует отоспаться.

— Это все Мультивак, — сказал Свифт, бросив взгляд на невозмутимого Яблонского, который в течение войны был Главным Интерпретатором решений машинного оракула.

Яблонский пожал плечами и машинально потянулся за сигаретой, но передумал. Ему одному разрешалось курить в подземных туннелях Мультивака, но он старался не пользоваться этой привилегией.

— Да, так говорят. — Его толстый большой палец неторопливо показал вверх.

— Ревнуешь, Макс?

— К спасителю человечества? — Яблонский снисходительно улыбнулся. Отчего же? Пускай себе превозносят Мультивак — ведь эта машина выиграла войну.

…Пока весь мир сходил с ума от радости во время короткого перерыва между ужасами метеоритной бомбардировки и трудностями восстановления, они, не сговариваясь, собрались в

этом единственно спокойном месте.

Нет, думал Гендерсон, груз слишком тяжел. Теперь, когда война с метеоритами закончена, надо избавиться от него, и немедля!

— Мультивак не имеет никакого отношения к победе. Это обычная машина.

— Большая, — поправил Свифт.

— Обычная большая машина. Ничем не лучше тех, что поставляют вводимую в нее информацию.

Он на миг запнулся, сам испугавшись своих слов.

Яблонский пристально посмотрел на него; толстые пальцы снова потянулись к карману, но вернулись на место.

— Тебе лучше знать — ты кодировал информацию. Или ты просто напрашиваешься на похвалу?

— Нет, — возмущенно сказал Гендерсон. — Какая к черту похвала?! Ведь какие данные я вводил в Мультивак! Полученные из сотен второстепенных машин на Земле, на Луне, на Марсе, даже на Титане. Причем эти постоянно запаздывающие данные о Титана всегда казались мне подозрительными.

— Это кого угодно выведет из себя, — мягко произнес Свифт. Гендерсон покачал головой.

— Все не так просто. Когда я восемь лет назад заменил Лепона на посту Главного Программиста, суперпоток казался пустяком. Тогда мы еще не дошли до той стадии, когда производимые им пространственные деформации могли бесследно поглотить планету. А вот потом, когда начались настоящие трудности… Вы же ничего не знаете!

— Допустим, — согласился Свифт. — Расскажи нам. Все равно мы победили.

— Да… — Гендерсон мотнул головой. — Так вот, вся получаемая информация была бессмысленной.

— Бессмысленной? В буквальном смысле слова? — переспросил Яблонский.

— Именно. Ведь вы даже отдаленно не представляли себе истинного положения вещей. Ни ты Макс, ни вы, Директор. Покидая Мультивак по вызовам руководства, вы были совершенно но в курсе происходящих здесь событий.

— Я догадывался об этом, — заметил Свифт.

— Вам известно, — продолжал Гендерсон, — до какой степени данные о наших аннигиляционных установках, зондах-разведчиках, энергетических ресурсах стали ненадежными ко второй половине этой войны? Ведь все эти политиканы и военные только и думали что о своей шкуре, как бы не потерять теплые места. И, что бы там ни выдавали машины, цифры неизменно

подправлялись: плохое затушевывалось, выпячивались успехи. Я пытался бороться с этим, но безуспешно.

— Представляю, — тихо произнес Свифт.

На этот раз Яблонский закурил.

— И все же ты обеспечивал Мультивак информацией, ничего не говоря нам о мере ее ненадежности.

— А как я мог сказать? — яростно спросил Гендерсон. — Все наши надежды были связаны с Мультиваком, это было единственное, чем мы располагали в борьбе с суперпотоком. Только это поддерживало наши силы и веру в победу!.. «Мультивак предвидит любой маневр суперпотока»… передразнил он. — Великий космос, да когда он проглотил наш зонд-разведчик, мы даже не могли сообщить об этом широкой публике!

— Верно, — согласился Свифт.

— Так что же вы могли сделать, скажи я вам, что сведения ненадежны? Отказались бы поверить и сместили бы меня. Этого я допустить не мог.

— И что ты сделал? — спросил Яблонский.

— Что ж, мы победили, и я могу рассказать. Я корректировал информацию.

— Как?

— Совершенно интуитивно. Я правил ее до тех пор, пока она не становилась, на мой взгляд, вполне реальной. Сперва я едва осмеливался на это, лишь изредка подправляя очевидные искажения. Когда небо не обрушилось на меня, я осмелел. В конце концов, я просто сам выдумывал все необходимые сведения и даже использовал Мультивак для составления подобных отчетов, которые потом вводил в него.

Яблонский неожиданно улыбнулся, блеснув темными глазами.

— Три раза мне докладывали о незарегистрированном использовании Мультивака, и я закрывал на это глаза. Ведь все, что касалось гигантской машины, в те дни не имело никакого значения.

— То есть как? — опешил Гендерсон.

— Да-да. Я молчал по той же причине, что и ты, Джон. Вообще — с чего вы взяли, что Мультивак был исправен?

— Как, он не был исправен? — спросил Свифт.

— Правильнее сказать, был не совсем исправен. Просто на него нельзя было положиться. В конце концов, где находились мои техники в последние годы? Обслуживали компьютеры на тысячах всевозможных космических объектов. Для меня они пропали! Остались зеленые юнцы и безбожно отставшие

ветераны. Кроме того, я не мог доверять компонентам, поставляемым «Криогеникс», — у них с персоналом обстояло еще хуже. Так что, насколько верной была вводимая в Мультивак информация, значения не имело. Результаты были ненадежны. Вот что я знал.

— И как ты поступил? — спросил Гендерсон.

— Как и ты. Я интуитивно корректировал результаты — вот как машина выиграла войну.

Свифт откинулся на стуле и вытянул перед собой длинные ноги.

— Вот так открытия… Выходит, в принятии решений я руководствовался выводами, сделанными человеком, на основании человеком же отобранной информации?

— Похоже, что так, — подтвердил Яблонский.

— Значит, я был прав, не обращая никакого внимания на советы машины…

— Как?! — Яблонский, несмотря на только что сделанное признание, выглядел оскорбленным.

— Да. Мультивак, предположим, говорил: метеорит появится здесь, а не там; поступайте вот так; ждите, ничего не предпринимайте. Но я не был уверен в верности выводов. Слишком велика ответственность за такие решения, и даже Мультивак не мог снять ее тяжести. Но, значит, я был прав, и я испытываю сейчас громадное облегчение.

Объединенные взаимной откровенностью, они отбросили титулы. Яблонский прямо спросил:

— И что ты сделал тогда, Ламар? Ведь ты все-таки принимал решения. Каким образом?

— Вообще-то, мне кажется, нам пора возвращаться, но у нас еще есть несколько минут. Я использовал компьютер, Макс, но гораздо более древний, чем Мультивак.

Он полез в карман и вместе с пачкой сигарет достал пригоршню мелочи, старых монет, бывших в обращении еще до того, как нехватка металла породила новую кредитную систему, связанную с вычислительным комплексом.

Свифт робко улыбнулся.

— Старику трудно отвыкнуть от привычек молодости.

Он сунул сигарету в рот и одну за другой опустил монеты в карман.

Последнюю Свифт зажал в пальцах, слепо глядя сквозь нее.

— Мультивак не первое устройство, друзья, и не самое известное, и не самое эффективное из тех, что могут снять тяжесть решения с плеч человека. Да, Джон, войну с суперпотоком выиграла машина. Очень простая; та, к чьей

помощи я прибегал в особо сложных случаях.

Со слабой улыбкой он подбросил монету. Сверкнув в воздухе, она упала на протянутую ладонь.

— Орел или решка, джентльмены?

Флойд Уоллес
Ученик

Рассвет чуть брезжил. Комендант Хафнер показался из люка, изумленно раскрыл глаза и тут же скрылся. Минуту спустя он появился снова, на этот раз вместе с Марном, биологом.

— Вчера вы утверждали, что никакая опасность нам здесь не грозит, начал Хафнер вкрадчиво. — Надеюсь, вы не изменили своего мнения?

Увидев то же, что и комендант, Марн не сумел удержаться и улыбнулся.

— Ничего сметного здесь нет! — рявкнул Хафнер и направился в сторону спящих под деревьями колонистов.

— Миссис Эйсил! — Хафнер наклонился над неподвижной фигурой. Женщина приоткрыла на мгновенье глаза и повернулась на другой бок.

— Миссис Эйсил! — повторил комендант, — я не отношу себя к зевакам. Но все же попросил бы вас что-нибудь накинуть на себя.

Эйсил вскочила и тут же приняла позу женщины, которая вдруг обнаружила, что неожиданно и помимо собственной воли оказалась обнаженной: одеяла, которые должны были ее прикрывать, исчезли, как исчезла и одежда, в которой она укладывалась спать.

Тем временем проснулись остальные.

— Всем к интенданту! — распорядился Хафнер. — Объяснения — потом!

Колонисты побежали к кораблю. Восемнадцать месяцев, которые они провели вместе в тесных каютах, помогли им избавиться от излишней застенчивости. Но, что ни говори, а вдруг проснуться вот так, абсолютно нагишом, да еще не зная, как и куда исчезла одежда, — было не так уж приятно.

— Надеюсь, вы уже пришли к какому-нибудь выводу? — бросил Хафнер, проходя мимо биолога.

От Марна, единственного ученого среди колонистов, всегда требовали готовых ответов на любые вопросы.

— Это, пожалуй, какие-нибудь ночные насекомые, — пробормотал он довольно неуверенно.

Хафнер скрылся в корабле, а Марн стал внимательно осматривать опустевшие заросли. Деревья были невысокие, с листьями цвета бутылочного стекла; кое-где на солнце поблескивали огромные белые цветы.

Вдруг биолог заметил, что снизу, из густой травы, за ним внимательно наблюдают два маленьких сверкающих глаза. Он протянул руку — зверек с писком увернулся. Поймать его удалось только на опушке. Сначала зверек визжал от страха, но потом успокоился и уже на пути к кораблю с аппетитом принялся за куртку биолога…

Комендант Хафнер, слушая Марна, неодобрительно поглядывал на клетку. Зверек был маленький, с редкой и тусклой шерстью — на экспорт таких шкурок рассчитывать не приходилось.

— …Насекомых, орехи, ягоды, семена, — продолжал перечислять биолог, одежду… Я бы отнес их к разряду всеядных.

— Значит, это ваше Всеядное будет пожирать посевы?

— Вероятно.

Комендант размышлял недолго.

— Придется вам заняться этой пакостью. А пока — всем ночевать на корабле.

— Это Всеядное… — начал было биолог.

— Ладно, думайте сами, — оборвал его комендант и ушел.

Марн, не слишком обрадованный поручением, остался стоять у клетки. Вот такой же зверек жил на Земле в позднем карбоне — первобытный грызун, с которого, собственно, все и началось. Но здесь, на Феликсе, такой эволюции не произошло. Здесь нет пресмыкающихся, полным-полно птиц и только один вид млекопитающих. Спрашивается — почему? Решить загадку — вот основная задача биолога. А ему придется уничтожать этих занятных животных…

Спустя две недели произошло событие, по сравнению с которым переживания какой-то миссис Эйсил, оставшейся в костюме Евы, показались бы просто смешными. Мыши — черные, белые, пепельные, бурые, с длинными хвостами и короткими ушами или с короткими хвостами и длинными ушами — проникли в склад и стали пожирать концентраты.

Яды не действовали — средство, убивающее одну особь в считанные секунды, почему-то оказалось совершенно безвредным для всех остальных. По сравнению с этими тварями Всеядное казалось просто милым домашним животным. Оставалось последнее средство.

Заказ биолога был исполнен через два дня. Машину принесли на склад в маленькой клетке. Когда клетку открыли, машина выскочила и остановилась в сторонке в выжидающей позе.

— Кошка! — радостно воскликнул кладовщик и протянул руку к мастерски сделанному роботу.

— Осторожней! — предостерег его биолог. — Вы могли

прикоснуться к чему-нибудь, что пахнет мышью. Эта штука здорово реагирует на запах.

Кладовщик поспешно отдернул руку. Робот беззвучно скрылся среди развороченных ящиков.

Вскоре бесчинства мышей стали утихать. Комендант был доволен. Но на шестой день утром робот был найден бездыханным под стеллажами, где хранились банки с молочным порошком. Его стальной скелет был смят, шкура из прочного пластика — содрана. Кот, несомненно, сражался: вокруг него валялось штук двадцать или тридцать поверженных врагов. Грызуны победили, используя явный численный перевес.

Марн едва поверил собственным глазам: теперь это были крысы, здоровенные крысы чуть не с кошку ростом. Но ведь Институт биологических исследований, пославший его сюда, утверждал, что на Феликсе крыс нет, как нет, впрочем, и мышей!

Марн собрал мертвых крыс и унес их к себе. Все они были разными. Взять, например, зубы. То встречались крысы, у которых в непропорционально маленьких челюстях гнездились могучие клыки, то попадались экземпляры с миниатюрными зубками, тонувшими в мощных костных структурах. И в строении внутренних органов тоже были различия. Ни разу в жизни Марн не сталкивался с таким странным видом!

Марн сидел в своей лаборатории и снова пытался осмыслить происходящее.

…Колонисты ощупали недра планеты зондом. В верхних слоях было полно останков Всеядных; последние двадцать тысяч лет все было в порядке. Но ниже! Ниже не удалось найти никаких следов жизни — ничего! И только гораздо глубже — на Земле подобные породы можно было отнести к карбону опять появлялись черепа, кости, целые скелеты. В величайшем изобилии. И как две капли воды похожие на останки земных ящеров.

…Комендант может говорить, что угодно, но Институт тут не при чем. Если Институт определил, что на Феликсе нет ни мышей, ни крыс — значит, их действительно не было в момент обследования. Но тогда — откуда они появились?

…Ящеры. Такие же были и на Земле. Они вымерли, не успев дать начало хозяевам суши — млекопитающим. Те первые и были точь-в-точь как Всеядное.

…С мышами, как будто, удалось справиться, хоть пришлось построить новый склад. А с крысами неплохо воюют терьеры — обыкновенные псы, люто ненавидящие грызунов. Когда-то они здорово помогали в хлебных амбарах на Земле, а теперь им нашлась такая же работа здесь, на Феликсе. Прыжок, щелчок

челюстями, рывок головой — и крыса валяется с переломанными костями.

…Мыши появились на Земле гораздо позже, чем животные вроде этого Всеядного. Крысы — еще позже. Но тогда здесь на Феликсе происходит сейчас…

Комендант Хафнер был настроен вполне благодушно, пригласил биолога сесть и даже предложил ему сигарету.

Марн закурил.

— Я полагаю, вы охотно услышите, откуда взялись мыши, — начал он.

— Они же нас почти не тревожат, — снисходительно улыбнулся Хафнер.

— Мне удалось открыть также и происхождение крыс.

— Так ведь и с ними все идет теперь как по маслу.

Марн призадумался, не зная, как приступить к делу.

— Феликса, — произнес он наконец, — имеет климат и топографию земного типа. По крайней мере, последние двадцать тысяч лет. Значительно раньше, сто или двести миллионов лет назад, она тоже напоминала Землю в аналогичную эпоху.

На лице коменданта он увидел вежливое выражение, с каким занятые люди слушают всех, кто старается объяснять им общеизвестные истины.

— И вот сто миллионов лет назад на Феликсе произошло что-то странное, гнул свое биолог. — Я не знаю, в чем именно было дело. Может быть, флуктуации здешнего солнца. Или нарушение равновесия сил внутри самой планеты. Или столкновение с чем-то космическим. Так или иначе, климат здесь сразу же переменился — и всяческим динозаврам пришел конец. Как и на Земле. Не вымер только прародитель наших Всеядных…

Постарайтесь представить себе характер катастрофы! Сначала выжженная пустыня, затем она превращается в джунгли, потом на этом месте оказывается ледник. Ледник тает — и цикл начинается сначала. И все это происходит на протяжении жизни одного животного, одной особи вида Всеядных! Так продолжается сто миллионов лет…

Хафнер вдруг забеспокоился:

— Вы сказали, что климат стал нормальным двадцать тысяч лет назад. А может он опять сбиться с толку?

— Не имею ни малейшего представления, — честно признался биолог. — Но сейчас важно другое. Дело в том, что выжить здесь было чрезвычайно трудно. Птицы могли перелетать с места на место, и поэтому их сохранилось великое множество. Но из млекопитающих уцелел лишь этот один-единственный вид. Он способен чертовски быстро изменяться, приспосабливаться к

новым условиям. Когда мы прилетели, мышей на Феликсе не было, они родились от Всеядных величиной с белку.

— А крысы?

— Это следующий калибр…

— Другими словами, мы никогда не избавимся от этих бестий, — мрачно констатировал Хафнер. — Разве что нам придется уничтожить здесь все живое.

— Вы думаете о бомбе? — спросил биолог. Вряд ли это поможет. Жизнь на Феликсе выдерживала и худшие передряги.

Хафнер надолго задумался.

— А может, нам лучше убраться подобру-поздорову?

— Слишком поздно, — вздохнул биолог. — Вскоре эти животные окажутся на со Земле и на всех остальных освоенных нами планетах…

Комендант ошалело уставился на Марна. На Феликсу прилетело три космических корабля. Один из них остался вместе с колонистами на случай непредвиденных обстоятельств, а два других вернулись на Землю. На них отправлены образцы местной фауны…

— Мы обязаны остаться здесь, — сказал Марн. — Мы обязаны что-нибудь придумать…

Глухой рев за окном прервал биолога. Хафнер вскочил, схватил ружье и бросился к двери. Марн устремился за ним.

Комендант бежал по полю к лесу. На пригорке он резко остановился, припал на одно колено и выстрелил. Рыжая полоса огня ударила по зелени. Слишком высоко.

Он прицелился еще раз и снова нажал на спуск. Зверь подпрыгнул и свалился на землю мертвый.

Минуту спустя мужчины стояли над трупом животного. Нарисовать ему еще полосы на боках — и это была бы точная копия тигра…

Колония не поддалась. Собственно, тигры доставили не так уж много хлопот — это были прекрасные мишени. Но охранять поселок приходилось теперь круглосуточно.

А вскоре Марн заметил, что внутренние органы хищников изменяются странным образом. Тигр, убитый позавчера, был словно гигантский новорожденный котенок; его желудок был приспособлен, похоже, к перевариванию молока, но никак не мяса…

Это был последний убитый тигр.

Время шло, не принося больше ничего пугающего. Животное, перенесшее космическую катастрофу, оказалось бессильным перед человеком… Так, по крайней мере, всем казалось.

Но месяца за три до прибытия очередной группы колонистов

животное снова дало о себе знать: на полях появились потравы.

Собаки на сей раз не помогли. Они даже не шли по следу. Хафнер снова мобилизовал колонистов, целую неделю на полях дежурили по ночам, но никто так ничего и не увидел. Охрану усилили, на полях начали ставить сигнализацию — а животное продолжало хозяйничать. Разумеется, там, где сигнализации не было.

И все же на третий день, перед самым рассветом, сигнал прозвучал. Комендант объявил тревогу. А сам вместе с биологом бросился в обход поля, чтобы отрезать животному путь к отступлению.

Они пробирались сквозь заросли, стараясь не шуметь. А животное — оно не то чтобы шумело, но, кажется, не стремилось ускользнуть незамеченным. Во всяком случае, им было слышно, как оно рвет колосья.

Наконец, голубое солнце Феликсы взошло и осветило того, кого они искали. От неожиданности Хафнер опустил ружье, но мгновение спустя вскинул его снова и, сжав зубы, прицелился.

— Не стреляйте! — Марн грудью заслонил цель.

— Я здесь комендант, — злобно прошипел Хафнер. — А это опасный…

— Опасный, — подтвердил биолог, — и поэтому — не стреляйте! Вы понимаете? Здесь прошло всего два года… На Земле на это ушли миллионы лет!

Хафнер медлил, но ружья не опускал.

— Неужели вы до сих пор так ничего и не поняли? — напирал на него биолог. — Веками мы не можем справиться с нашими собственными, земными крысами, так каким же чудом вы хотите…

— Тем более следует начинать сейчас же, — резко возразил Хафнер.

Марн потянул вниз ствол его ружья.

— Нет, вы все еще ничего не поняли! Здесь действует закон прогресса: после тигров появилось это. А если не повезет и этому продукту эволюции, что они породят в следующий раз? С тем, что появится после, я предпочел бы не ссориться…

Оно услышало их голоса. Подняло голову и осмотрелось, а потом не спеша направилось в сторону рощи.

Биолог негромко окликнул его. Оно остановилось в тени деревьев.

Хафнер и Марн положили ружья на землю и медленно пошли туда. Руки они протянули в стороны в знак того, что идут без оружия.

Оно вышло из-за деревьев навстречу. Голое — не успело еще

придумать себе одежды. Оружия у него тоже не было. Оно сорвало с дерева огромный белый цветок и несло его перед собой в знак мира.

— Поразительно, — пробормотал Марн. — Выглядит взрослым, хотя этого никак не может быть… Страшно хотелось бы мне осмотреть…

— Меня больше беспокоит, что у него на уме, — угрюмо отозвался Хафнер.

Джером Биксби
Мы живем хорошо!

Тетя Эми сидела на крыльце в кресле-качалке с высокой спинкой и раскачивалась взад-вперед, обмахиваясь веером. Билл Сомс подъехал на велосипеде и соскочил перед домом.

Потея под послеполуденным «солнцем», Билл поднял из корзины над передним колесом коробку с продуктами и направился по дорожке к крыльцу.

Маленький Энтони сидел на лужайке и играл с крысой. Он поймал крысу в подвале — сделал так, что она подумала, будто почуяла сыр, самый пахучий и аппетитный сыр, о каком только крыса может мечтать, и когда она вылезла из норы, Энтони овладел ее мозгом и заставил ее выделывать разные штуки.

Увидев Билла Сомса, крыса попыталась убежать, но Энтони не захотел этого, и она кувырком упала в траву и осталась лежать, и глазки ее светились крошечным черным ужасом.

Билл Сомс поспешно прошел мимо Энтони и остановился у ступенек крыльца, что-то бормоча себе под нос. Он всегда бормотал что-то себе под нос, когда приближался к дому Фремонтов, или проходил мимо, или думал о нем. Все так делали. Все усиленно думали о разных глупостях, о ничего не значащих вещах, например, два-и-два-четыре-и-умножить-на-два-восемь и так далее. Все старались перепутать свои мысли и перескакивать в мыслях с предмета на предмет так, чтобы Энтони не мог узнать, о чем они думают. Бормотание под нос помогало.

Потому что, если Энтони схватывал какую-либо вашу мысль, он мог найти нужным сделать что-нибудь по этому поводу — например, вылечить головную боль у вашей жены или свинку у вашего ребенка, или вновь заставить доиться вашу старую корову, или утрясти какие-нибудь мелкие дела. При этом он мог не иметь в виду ничего плохого, но ведь трудно ожидать от него, чтобы в подобных случаях он делал именно то, что нужно.

Это — если вы ему нравитесь. Он тогда может попытаться помочь вам по-своему. И это бывает по-настоящему ужасно…

А если вы ему не нравитесь… Что ж, тогда может быть еще хуже.

Билл Сомс поставил коробку с продуктами на перила крыльца и перестал бормотать ровно на столько времени, чтобы сказать: — Все, что вы заказали, мисс Эми.

— О, прекрасно, Вильям, — беззаботно сказала Эми Фремонт. — Господи, ну что за жара сегодня!

Билл Сомс съежился. Его глаза умоляли ее. Он яростно затряс головой и вновь прервал бормотание, хотя было видно, что ему очень не хочется этого: — Ну что вы, мисс Эми… Ведь сейчас так славно, ну просто славно.

Настоящий хороший день!

Эми Фремонт поднялась с кресла-качалки и подошла к Биллу. Это была высокая худощавая женщина; в глазах ее зияла улыбающаяся пустота. Примерно год назад Энтони рассердился на нее, потому что она сказала, что не следует превращать кота в коврик из кошачьей шкуры, и хотя он всегда слушался ее больше чем кого-либо другого — других он вообще не слушался, — на этот раз огрызнулся.

Огрызнулся мысленно. И это был конец Эми Фремонт, какой ее знали все. С тех пор у нее никогда больше не блестели глаза. И тогда весь Пиксвилл (население 46 человек) облетел слух, что даже члены собственной семьи Энтони не находятся в безопасности. После этого все удвоили осторожность… Когда-нибудь, возможно, Энтони и исправит то, что он сделал тете Эми. Мать и отец Энтони надеются на это. Когда он подрастет и ему станет жаль ее. То есть если это возможно. Ведь тетя Эми сильно изменилась, и, кроме того, Энтони теперь не слушается никого.

— Успокойся, Вильям, — сказала тетя Эми, — перестань бормотать. Энтони не сделает тебе ничего плохого. Бог свидетель, Энтони любит тебя! — Она повысила голос и обратилась к Энтони, который старался заставить крысу съесть самое себя: — Ты слышишь, дорогой? Ведь, правда, ты любишь мистера Сомса?

Энтони взглянул через лужайку на бакалейщика — пристальный взгляд ярких, влажных пурпуровых глаз. Он ничего не сказал. Билл Сомс попытался улыбнуться ему. Через секунду Энтони вновь обратился к крысе. Крыса уже сожрала собственный хвост, во всяком случае, отгрызла его, потому что Энтони заставлял ее откусывать быстрее, чем она могла глотать, и вокруг на земле валялись кровавые алые комочки. Теперь крыса пыталась достать до своей спины.

Бормоча себе под нос и изо всех сил стараясь ничего не думать, Билл Сомс на негнущихся ногах прошел по дорожке, забрался на велосипед и нажал на педали.

— До вечера, Вильям! — крикнула ему вслед тетя Эми.

Нажимая на педали, Билл в глубине души пожелал мчаться вдвое быстрее, чтобы как можно скорее убраться от Энтони и от тети Эми, которая временами просто забывает, как нужно быть осторожным. И ему не следовало думать о таких вещах, потому что Энтони поймал его мысли. Он поймал желание убраться от дома Фремонтов, как от чего-то плохого, и его пурпуровые глаза

мигнули, и он послал вслед Биллу Сомсу крошечную хмурую мысль, совсем крошечную, потому что он был в хорошем настроении сегодня и, кроме того, Билл Сомс ему нравился или, по крайней мере, не ненравился; по крайней мере — сегодня. Билл Сомс жаждет убраться подальше? Что ж, Энтони обиженно помог ему.

Нажимая на педали со сверхчеловеческой скоростью, — так, впрочем, казалось, потому что в действительности это педали нажимали на его ноги, — Билл Сомс исчез в клубах пыли, умчавшись вниз по дороге. Его тонкие испуганные вопли донеслись сквозь летнюю жару.

Энтони взглянул на крысу. Крыса уже сожрала часть собственного живота и издохла от боли. Тогда он послал ее в глубокую могилу на маисовом поле — однажды отец с улыбкой сказал, что ему, конечно, нетрудно делать так со всеми животными, которых он убивает, — и пошел вокруг дома, отбрасывая странную свою тень в горячем медном свете, льющемся с неба.

На кухне тетя Эми распаковывала продукты. Она поставила горшочки от Мэйсона на полку, спрятала мясо и молоко в холодильник, а свекольный сахар и грубую муку сунула в шкафчик под раковиной. Картонную коробку она поставила в угол около дверей, чтобы мистер Сомс мог взять ее, когда придет в следующий раз. Коробка была испачкана, и потрепана, и порвана, и изношена, но она была одной из немногих, оставшихся еще в Пиксвилле. Выцветшими красными буквами на ней было написано: «Суп Кэмпбелла». Последние банки супа и всего прочего были съедены давным-давно, если не считать небольшого общественного запаса, к которому жители обращались только в особых случаях, но коробка еще держалась; а когда она и другие коробки развалятся, людям придется мастерить ящики из дерева.

Тетя Эми вышла на задний двор, где мать Энтони — сестра Эми — сидела в тени дерева и лущила горох. Каждый раз, когда мать проводила пальцем вдоль стручка, горошины — лоллоп, лоллоп, лоллоп — падали в сковородку у нее на коленях.

— Вильям привез продукты, — сказала тетя Эми.

Она устало опустилась на стул с прямой спинкой возле его матери и снова принялась обмахиваться веером. Она вовсе не была стара. Но с того дня, когда Энтони мысленно огрызнулся на нее, что-то скверное случилось не только с ее умом, но и с телом, и она все время чувствовала себя усталой.

— О, хорошо, — сказала мать.

Лоллоп! — упали в сковородку крупные горошины.

Все в Пиксвилле всегда повторяли: «О, прекрасно», или

«Хорошо», или «Ну просто замечательно», что бы ни случилось и ни упоминалось — даже несчастье, даже смерть. Они всегда говорили «Хорошо», потому что, если они не старались скрыть свои подлинные чувства, Энтони мог подслушать, и никто не знал, что может тогда случиться. Вот, например, Сэм, покойный муж миссис Кент, вернулся домой с кладбища, потому что Энтони любил миссис Кент и услышал, как она плакала.

Лоллоп.

— Сегодня вечером будет телевизор, — сказала тетя Эми. — Я очень рада. Я всегда так жду телевизора каждую неделю. Интересно, что мы увидим сегодня вечером?

— Билл принес мясо? — спросила мать.

— Да. — Тетя Эми, обмахиваясь веером, взглянула на небо, пылающее равномерным медным огнем. — Господи, как жарко! Хотела бы я, чтобы Энтони сделал немного попрохладнее…

— Эми!

— О! — Резкое восклицание матери сделало то, чего не смогли сделать умоляющие жесты Билли Сомса. Тетя Эми в тревоге зажала рот исхудалой рукой. — О… Прости, дорогая.

Ее бледные голубые глаза торопливо обежали двор, проверяя, нет ли поблизости Энтони. Не то чтобы это имело значение — ему не надо было находиться поблизости, чтобы узнать, о чем вы думаете. Но обычно, если его внимание не было приковано к кому-нибудь, он был погружен в собственные мысли.

И все же какие-то вещи привлекали его внимание, и вы никогда не могли сказать, какие именно.

— Погода просто прекрасная, — сказала мать.

Лоллоп.

— О да, — сказала тетя Эми. — Прекрасный день, я бы нипочем не хотела, чтобы стало по-другому.

Лоллоп.

Лоллоп.

— Который час? — спросила мать.

Тете Эми с ее места был виден будильник, стоявший на кухне, на полке над печью.

— Половина пятого, — сказала она.

Лоллоп.

— Сегодня вечером мне хотелось бы чего-нибудь особенного, — сказала мать. — Хороший ростбиф принес Билл?

— Отличный, дорогая. Они забили бычка только сегодня, знаешь ли, и принесли нам лучшую часть.

— Дэн Холлиз будет очень удивлен, когда узнает, что сегодняшняя встреча у телевизора будет одновременно и празднованием его дня рождения!

— О, я думаю, он очень удивится! Никто не говорил ему?

— Все клялись, что не скажут.

— Это будет действительно прекрасно, — кивнула тетя Эми, глядя вдаль, на маисовое поле. — День рождения…

— Ну что ж… — Мать поставила сковородку с горохом на землю рядом с собой, встала и отряхнула фартук. — Я, пожалуй, пойду ставить ростбиф. А потом мы накроем на стол. — Она взяла горох.

Из-за угла вышел Энтони. Он не взглянул на них, а прошел прямо через аккуратно прибранный сад — все сады в Пиксвилле содержались аккуратно, — мимо бесполезной ржавеющей коробки, бывшей когда-то семейным автомобилем Фремонтов, плавно перенесся через изгородь и вышел на маисовое поле.

— Ну до чего прекрасный день, — сказала мать чуть громче, направляясь с тетей Эми к двери на кухню.

Тетя Эми обмахивалась веером.

— Прекрасный день, дорогая, просто прекрасный.

На маисовом поле Энтони шагал между шуршащими рядами зеленых стеблей. Ему нравился запах маиса. Живого маиса над головой и старого, мертвого маиса под ногами. Богатая земля Огайо, насыщенная корнями трав и коричневыми сухими гнилушками початков маиса, при каждом шаге набивалась между пальцами его босых ног, — прошлой ночью он сделал дождь, чтобы сегодня все пахло и было хорошо.

Он прошел до края поля, туда, где роща тенистых зеленых деревьев скрывала прохладную, сырую темную землю, и массу лиственного подлеска, и нагромождения замшелых камней, и маленький родник, образовавший яркое озерко. Здесь Энтони любил отдыхать и глядеть на птиц, и насекомых, и мелких зверьков, как они шуршат, бегают и чирикают вокруг. Он любил лежать на прохладной земле, и вглядываться в движущуюся зелень над головой, и наблюдать, как насекомые вьются в смутных мягких лучах, которые стоят подобно косым пылающим столбам между землей и верхушками деревьев. Ему почему-то нравились мысли маленьких существ в этом месте, нравились больше, чем мысли людей за полем. И хотя мысли, которые он здесь улавливал, не были особенно сильными и яркими, он понимал их достаточно, чтобы знать, что этим маленьким существам нравится и чего они хотят, и он проводил много времени, устраивая рощу так, как это больше всего нравится им. Раньше здесь не было родника. Но как-то раз он уловил жажду в крошечном мохнатом мозгу, и вывел грунтовые воды наружу чистой холодной струей, и наблюдал, помаргивая, как зверек пил, и ощущал его удовольствие. Позже он создал озерцо, обнаружив у

другого зверька желание покупаться.

Он устроил камни, и деревья, и пещерки, и кусты, солнечный свет там и тени здесь, потому что он чувствовал во всех этих крошечных мозгах желание — или инстинктивную тягу — именно к такому месту для отдыха, именно к такому месту для спаривания и именно к такому месту для игр и для гнезда.

И видимо, все зверьки со всех пастбищ и полей знали, что это хорошее место, потому что с каждым разом их приходило сюда все больше, — каждый раз, когда Энтони появлялся здесь, он обнаруживал больше зверьков, чем их было накануне, и больше желаний и стремлений, которые надо было удовлетворить.

Каждый раз он находил зверьков нового вида, какие ему раньше не попадались, и он заглядывал в их мозг и смотрел, чего они хотят, и давал им то, что они хотели.

Он любил помогать им. Ему нравилось ощущать их простое удовольствие.

Сегодня он лег позади толстого вяза и устремил взгляд своих пурпуровых глаз на красно-черную птицу, только что появившуюся в роще. Она щебетала на ветке над его головой, и прыгала взад и вперед, и думала свои маленькие мысли, и Энтони сотворил большое мягкое гнездо для нее, и очень скоро она забралась туда.

Длинное коричневое гладкошерстное животное пришло напиться из озерца.

Энтони заглянул в его мозг. Животное думало о зверьке поменьше, который бегал по другую сторону озерца, выкапывая насекомых. Зверек не знал, что он в опасности. Длинное коричневое животное перестало пить и напрягло ноги, готовясь к прыжку. И Энтони отправил его в глубокую могилу на маисовом поле.

Он не любил таких мыслей. Они напоминали ему мысли людей в деревне.

Давным-давно несколько человек думали вот так же о нем, и однажды вечером они спрятались и ждали его, когда он возвращался из рощи, — и он сразу переправил их всех в могилу на маисовом поле. С тех пор никто из людей не думал о нем так, по крайней мере, не думал отчетливо. Теперь все их мысли были перепутаны и в беспорядке, когда они начинали думать о нем или возле него, поэтому он перестал обращать на них особое внимание.

Ему нравилось иногда помогать людям, но это было не так просто, и не все были довольны его помощью. Они никогда не думали счастливых мыслей, когда он помогал, просто пугались. И он стал проводить больше времени здесь.

Некоторое время он наблюдал птиц, насекомых и зверьков, потом поиграл с одной птицей, заставив ее взмывать и стремглав опускаться и носиться бешено вокруг деревьев, но тут другая птица отвлекла его внимание на секунду, и первая ударилась о камни. От обиды он загнал камни в могилу на поле, но с птицей он сделать больше ничего не мог. Не потому, что она была мертва, а потому, что у нее было сломано крыло. И он отправился домой. Ему не хотелось шагать через маисовое поле, поэтому он просто явился домой — перенесся в подвал.

Здесь, в подвале, было отлично. Отлично, и темно, и сыро, и даже хорошо пахло, потому что однажды мать стала варить варенье на длинном столе возле дальней стены, но когда Энтони начал приходить сюда, она перестала спускаться, и варенье протекло и разлилось по грязному полу, и Энтони нравился его запах.

Он поймал новую крысу, заставив ее подумать, будто она чует сыр, поиграл с нею и отправил в могилу на маисовом поле рядом с длинным животным, которое он убил в роще. Тетя Эми ненавидела крыс, и он убил их множество, потому что ему нравилась тетя Эми, и иногда он делал то, что хотелось тете Эми. Ее мозг был похож на маленькие мохнатые мозги там, в роще. Она давно уже не думала о нем ничего плохого.

После крысы он поиграл с большим черным пауком в углу под лестницей, заставив его бегать по паутине взад и вперед, пока паутина не затряслась и не засверкала в свете, падающем из отдушины, словно отражение в серебристой воде.

Затем он принялся загонять в паутину плодовых мух, пока паук не обалдел совершенно, пытаясь опутать их всех. Пауку нравились мухи, его мысли были сильнее мушиных, поэтому Энтони делал так. Нечто плохое улавливалось в этой любви паука к мухам, но было трудно разобрать, что именно, и, кроме того, тетя Эми ненавидела мух тоже.

Он услыхал шаги наверху — мать ходила по кухне. Он мигнул своими пурпуровыми глазами и чуть было не решил заставить ее остановиться, но вместо этого перенесся наверх, на чердак. Взглянув из круглого окна под крышей на лужайку перед домом, на пшеничное поле Гендерсона за нею и на пыльную дорогу, он свернулся в неправдоподобный узел и задремал.

Он услышал, как мать подумала: скоро гости начнут собираться на вечер с телевизором.

Он подремал еще немного. Ему нравились вечера с телевидением. Тетя Эми всегда любила телевизор, и однажды он придумал для нее телевидение, и в это время там были другие люди, и тетя Эми была недовольна, когда они собрались уходить.

Он сделал им кое-что за это — и с тех пор все приходят смотреть телевизор.

Ему нравилось внимание, которое ему уделяют.

Отец Энтони вернулся домой в половине седьмого, усталый, грязный и весь в крови. Он был на пастбище Данна с другими жителями, помогая выбрать корову для убоя на этот месяц, и он забил ее, и разделал, и засолил в леднике у Сомса.

Так было не потому, что ему нравилась эта работа. Просто каждый занимался этим по очереди. Вчера он помогал старому Макинтайру скосить пшеницу. Завтра они начнут молотить. Вручную. В Пиксвилле все приходится делать вручную.

Он поцеловал жену в щеку и присел у кухонного стола. Он улыбнулся и спросил: — А где Энтони?

— Где-то недалеко, — сказала мать.

Тетя Эми стояла у горящей плиты и ложкой помешивала в горшке с горохом.

Мать вернулась к печи и стала поливать ростбиф жиром.

— Да, сегодня был хороший день, — сказал отец, как заводной, механически.

Затем он взглянул на котелок с тестом и на доску для нарезания хлеба на столе.

Он понюхал тесто.

— М-м, — сказал он. — Я так голоден, что съел бы буханку в один присест.

— Никто не говорил Дэну Холлизу о том, что нынче его день рождения? — спросила мать.

— Нет, мы не проболтались.

— Мы подготовили такой приятный сюрприз!

— М-м? А что?

— Ну… ты знаешь, как Дэн любит музыку. Так вот, на той неделе Тельма Данн нашла у себя на чердаке патефонную пластинку!

— Не может быть!

— Да, да! И мы подбили Этель, чтобы она спросила… знаешь, так, словно бы невзначай… есть ли такая у него. И он ответил, что нет. Разве это не прекрасный сюрприз?

— Да, конечно. Пластинка, подумать только! Почаще бы находить такие вещи!

А какая это пластинка?

— «Ты мое солнце» в исполнении Перри Комо.

— Здорово. Мне всегда нравился этот мотив. — На столе лежали несколько сырых морковок. Отец выбрал морковку поменьше, обтер ее о грудь и откусил. — Как же Тельма нашла ее?

— Ну, как обычно… Просто обшаривала дом, искала новые вещи.

— М-м, — отец жевал морковку. — Слушай, а у кого эта картина, которую мы тогда нашли? Мне она нравилась — этот старый корабль на всех парусах…

— У Смитов. В следующую неделю ее возьмут к себе Сайпики, отдадут Смитам музыкальный ящик старого Ма-кинтайра, а мы отдаем Сайпикам… — и она принялась перечислять вещи, которыми будут обмениваться женщины в церкви в воскресенье.

Он кивнул.

— Да, пожалуй, мы не скоро получим картину назад. Слушай, милочка, попробуй забрать у Рейлисов тот детектив. Я был занят в ту неделю, когда он был у нас, и мне так и не удалось прочитать до конца…

— Постараюсь… — сказала мать с сомнением. — Кстати, я слыхала, что Ван Хьюзенсы нашли у себя в подвале стереоскоп. — Голос ее обрел обвиняющие нотки. — И они целых два месяца никому не говорили об этом…

— Скажи-ка, — сказал отец с заинтересованным видом. — Это тоже было бы неплохо. А много картинок?

— Думаю, что много. Я узнаю в воскресенье. Хотелось бы мне заполучить это… Но мы все еще должны Ван Хьюзенсам за их канарейку. Понять не могу, почему эта птичка сдохла именно в нашем доме! А теперь Бетти Ван Хьюзенс ничем не удовлетворишь. Она даже намекнула, что хочет наше пианино на время!

— Ну ладно, милочка, попробуй все-таки насчет стереоскопа. Или еще чего-либо, что, по-твоему, нам бы понравилось.

Он наконец проглотил морковку. Морковка была немного незрелой и жесткой.

Из-за капризов Энтони насчет погоды жители никогда не знали заранее, какие посевы дадут урожай и в каком состоянии будет этот урожай. Единственно, что они могли делать, — это сеять как можно больше. И каждый сезон что-нибудь давало достаточный урожай, чтобы прожить. Однажды получился огромный избыток зерна. Тонны зерна пришлось перетащить к окраине Пиксвилла и вышвырнуть в пустоту. А то нечем было дышать, когда оно начало портиться.

— Знаешь, — продолжал отец, — это славно — иметь в деревне новые вещи.

Приятно думать, что есть еще много вещей, которых никто не нашел, в подвалах, и на чердаках, и в сараях, и за сундуками. Они как-то помогают жить. А все, что помогает…

— Ш-ш-ш! — мать нервно оглянулась.

— О, — сказал отец, торопливо улыбаясь. — Все в порядке! Новые вещи — это хорошо! Так славно, когда в деревне появляются вещи, которых ты никогда не видел, и ты знаешь, что вещи, которые ты даешь другим, нравятся людям… Это действительно хорошо!

— Очень хорошо! — эхом отозвалась его жена.

— Очень скоро, — сказала тетя Эми от печки, — не останется ни одной новой вещи. Мы разыщем все, что можно найти. Господи, это будет так скверно…

— Эми!

— Ну как же. — Ее бледные глаза были пусты и неподвижны, как всегда, когда она впадала в идиотизм. — Это будет просто стыдно — никаких новых вещей…

— Не говори так, — сказала мать, вся дрожа. — Эми, успокойся!

— Все хорошо, — сказал отец особым, громким, предназначенным для подслушивания голосом. — Это хорошая беседа. Все в порядке, милочка, разве ты не понимаешь? Эми может говорить все что хочет, это хорошо. Это хорошо, что ей так плохо. Все хорошо. Все должно быть хорошо…

Мать Энтони была очень бледна. И такой же была тетя Эми. Ужас этой минуты внезапно проник сквозь облако, окутывающее ее мозг. Иногда так трудно управляться со словами, чтобы они не оказались попросту уничтожающими. Вы прямо никогда не знаете, что можно, а что нельзя. Так много вещей, о которых лучше не говорить и не думать… но и запрещение говорить и думать о них тоже может выйти боком, если Энтони подслушал и решил что-нибудь предпринять.

Никогда нельзя сказать, что собирается сделать Энтони.

Все должно быть хорошо. Должно быть отлично так, как оно есть, даже если на самом деле плохо. Всегда. Потому что любая перемена может быть к худшему, к чудовищно худшему.

— О господи, да, конечно, все хорошо, — сказала мать. — Ты можешь говорить все что хочешь, Эми, это так славно. Конечно же, ты хочешь запомнить, что некоторые вещи лучше других…

Тетя Эми мешала горох, в ее бледных глазах был ужас.

— О да, — сказала она. — Но мне как-то не хочется разговаривать сейчас… И это… Это так хорошо, что мне не хочется разговаривать.

Отец устало сказал улыбаясь: — Пойду помоюсь.

Гости начали сходиться около восьми. К этому времени мать и тетя Эми приготовили в столовой большой стол и еще два столика по углам. Были зажжены свечи, расставлены кресла, а отец затопил камин.

Первыми пришли Сайпики, Джон и Мэри. На Джоне был его лучший костюм, он тщательно отмылся и был красен после работы на пастбище Макинтайра. Костюм был аккуратно выглажен, но сильно протерся на локтях и манжетах. Старый Макинтайр трудился над созданием ткацкого станка, устройство которого он узнал из школьного учебника, но работа эта продвигалась медленно. Макинтайр умел работать с деревом и инструментами, но ткацкий станок трудно построить без металлических деталей. Макинтайр был одним из тех, кто вначале пытался заставить Энтони создавать необходимые для жителей предметы, например, одежду, и консервы, и медикаменты, и бензин. То, что в результате случилось с семьей Терренсов и Джо Киннеем, было на его совести, он помнил об этом и изо всех сил старался загладить свою вину перед остальными жителями. И с тех пор никто больше не пытался просить Энтони сделать что-нибудь.

Мэри Сайпик была маленькой веселой женщиной в простеньком платье. Она немедленно принялась помогать матери и тете Эми накрывать на стол.

Затем прибыли Смиты и Данны, жившие в конце дороги, в нескольких метрах от пустоты. Они приехали в фургоне, запряженном их старой лошадью.

Затем пришли Рейли из-за погруженного в темноту пшеничного поля, и вечер начался. Пэт Рейли сел за пианино в гостиной и стал играть по нотам популярные мелодии. Он играл негромко и выразительно — и никто не пел. Энтони очень любил музыку, но не пение. Часто он вступал в комнату из подвала или чердака, просто вступал и садился на пианино, покачивая головой, пока Пэт играл «Любимого», или «Бульвар разбитой мечты», или «Ночь и день». По всей видимости, он предпочитал баллады или лирические песенки, но когда однажды кто-то начал подпевать, Энтони взглянул на него с пианино и сделал что-то такое, отчего впредь больше никто не решался петь. Позже они решили: наверное, пианино было первым, что Энтони услышал в своей жизни, еще прежде, чем кто-либо попробовал петь при нем, и теперь все, что добавляется к пианино, кажется ему неприятным и мешает удовольствию.

И вот на каждом телевизионном вечере Пэт должен был играть на пианино, и это было началом вечера. Где бы Энтони ни был, музыка услаждала его и приводила в хорошее настроение, и так он узнавал, что они собрались на телевизионный вечер и ждут его.

В половине десятого собрались все, кроме семнадцати детей, оставленных под присмотром миссис Сомс в здании школы на

другом конце деревни. Пиксвиллским детям было категорически запрещено приближаться к дому Фремонтов с того дня, как маленький Фред Смит попробовал поиграть с Энтони. Младшим детям даже никогда не говорили об Энтони. Остальные же либо забыли о нем, либо были предупреждены, что он — славный добрый домовой, но подходить к нему нельзя.

Дэн и Этель Холлиз пришли поздно, и Дэн ни о чем не подозревал. Пэт Рейли играл на пианино, пока у него не заболели руки — он много потрудился ими сегодня, — и теперь он встал, и все столпились вокруг Дэна Холлиза, чтобы поздравить его с днем рождения.

— Да что вы говорите! — воскликнул Дэн, расплываясь в улыбке. — Вот здорово-то! Вот уж совсем не ожидал… Ей-ей, это здорово!

Они принесли ему подарки — большей частью самодельные, но также и несколько вещей, принадлежавших им и переходивших теперь в его собственность.

Джон Сайпик подарил ему брелок на часовую цепочку, вырезанный из орешника.

Часы Дэна сломались год назад, и никто в деревне не знал, как починить их, потому что часы эти достались ему от деда и были старинными, тяжелыми, из позолоченного серебра. Под общий смех он прикрепил брелок к цепочке и сказал, что Джон здорово умеет вырезать по дереву. Затем Мэри Сайпик подарила ему вязаный галстук, который он тут же надел, сняв свой.

Рейли подарили ему самодельный маленький ящичек, предназначенный для хранения разных вещей. Они не сказали, каких именно вещей, но Дэн заявил, что будет хранить в этом ящичке свои фамильные драгоценности. Рейли изготовили его из ящичка из-под сигар, ободрав тщательно бумагу и оклеив изнутри бархатом.

Снаружи ящик был отполирован и тщательно, хоть и не весьма искусно украшен резьбой, но резьба Пэта тоже была одобрена. Дэн Холлиз получил много других подарков: трубку, шнурки для ботинок, булавку для галстука, вязаные носки, несколько конфет, резинки для носков, сделанные из старых подтяжек.

Он разворачивал каждый подарок с бесконечным удовольствием и тут же надевал на себя все, что можно было, даже резинки для носков. Он раскурил трубку и объявил, что никогда еще не курил с таким наслаждением, и это было неправдой, потому что трубка была еще не обкурена. Пит Меннерз получил ее в подарок от своего родственника из другого города четыре года назад — этот родственник не знал, что он

бросил курить.

Дэн очень аккуратно набил трубку табаком. Табак был дорог. Это было просто случайной удачей, что Пэт Рейли решил посадить немного табака у себя на заднем дворе накануне того дня, когда с Пиксвиллом случилось то, что случилось. Табак рос плохо, кроме того, им самим приходилось заготавливать его, резать и прочее, и он был очень дорог. В каждом доме были деревянные запасники для окурков, сделанные старым Макинтайром.

Наконец Тельма Данн подарила Дэну Холлизу найденную ею обертку. Он сразу понял, что это пластинка.

— Господи… — сказал он тихо. — Что же это? Я просто боюсь взглянуть…

— У тебя такой нет, милый, — улыбнулась Этель Холлиз. — Помнишь, я тебя спрашивала, есть ли у тебя «Ты мое солнце»?

— Господи, — повторил Дэн. Он осторожно развернул обертку и некоторое время стоял, любуясь пластинкой, проводя большой ладонью по изношенным бороздкам записи с тонкими штрихами царапин. Он оглядел комнату сияющими глазами, и все улыбнулись ему в ответ, зная, какая это для него радость.

— Со счастливым днем рождения, милый, — сказала Этель Холлиз, обнимая за шею и целуя его.

Он держал пластинку обеими руками, отведя ее в сторону, пока жена прижималась к нему.

— Осторожно! У меня в руках сокровище!

Он снова оглядел всех поверх головы жены. Глаза его горели.

— Слушайте… А нельзя ли ее проиграть? Боже мой, что бы я не дал, чтобы услышать новую музыку! Хотя бы только первую часть, оркестр, перед тем как Комо вступает?

Лица посуровели. После минутной паузы Джон Сайпик сказал: — Мне кажется, не стоит, Дэн. В конце концов мы ведь не знаем, когда вступает певец… Лучше не искушать судьбу. Лучше подожди, пока вернешься домой.

Дэн Холлиз неохотно положил пластинку на буфет, рядом с остальными подарками.

— Это хорошо, — сказал он автоматически, но разочарованно. — Это хорошо, что я не могу послушать ее здесь.

— Да, конечно, — сказал Сайпик. — Это хорошо. — Чтобы забыть разочарованный тон Дэна, он повторил: — Это хорошо.

Они сели обедать, свечи озаряли их улыбающиеся лица, и они съели обед до последней крошки, до последней капли превосходного соуса. Они похвалили мать и тетю Эми за ростбиф, и за горох, и за морковь, и за нежный маис в початках.

Разумеется, маис был не с поля Фремонтов — все знали, что

на этом поле, и оно зарастало травой.

Затем они угостились десертом — домашним мороженым и печеньем. А потом откинулись на спинки кресел и принялись болтать при мерцающем свете свечей, ожидая телевизора.

В телевизионные вечера обычно не бормотали себе под нос: все приходили и угощались вкусным обедом у Фремонтов, и это было приятно, и после был телевизор, и никто особенно не думал о телевизоре, который был чем-то вроде принудительного ассортимента. Так что это были просто приятные вечера в обществе, если не считать необходимости следить за своими словами так же тщательно, как и в любом другом месте. Если на ум вам приходила опасная мысль, вы начинали бормотать себе под нос, хотя бы и посередине фразы. Когда вы делали так, остальные просто не обращали на вас внимания, пока вам не становилось лучше и вы не переставали бормотать.

Энтони любил телевизионные вечера. За весь прошлый год он только два или три раза совершил ужасные поступки на этих вечерах.

Мать поставила на стол бутылку бренди, и каждому налили по крохотному стаканчику. Спиртное было еще более драгоценно, нежели табак. Жители делали вино, но виноград был плох, техника тоже, и вино не получалось хорошим.

Настоящего спиртного в деревне осталось всего несколько бутылок: четыре ржаного виски, три шотландского, три бренди, девять обычного вина и полбутылки «Драмбьюи» [Шотландский ликер из виски, меда и трав], принадлежавшего старому Макинтайру (только для свадеб), — и когда запасы кончатся, ничего больше не останется.

Позже все пожалели, что было выставлено бренди. Потому что Дэн Холлиз выпил его больше, чем следовало, и смешал с большим количеством домашнего вина. Сначала никто не подозревал ничего дурного, потому что Дэн не выказывал признаков опьянения, и это был день его рождения, и праздник шел весело, а Энтони любил такие сборища и вряд ли имел повод сделать что-либо, даже если и подслушивал.

Но Дэн Холлиз опьянел и сделал глупость. Если б они вовремя заметили неладное, они б увели его домой.

Сначала они заметили, что Дэн перестал смеяться на самой середине рассказа о том, как Тельма Данн нашла пластинку с Перри Комо и уронила ее, и пластинка не разбилась, потому что Тельма двигалась быстрее чем когда-либо в жизни и подхватила ее. Он снова гладил пластинку и жадно смотрел на граммофон Фремонтов, стоявший в углу, и вдруг он перестал смеяться, лицо его обвисло и стало неприятным, и он сказал: — О господи боже

мой!

Мгновенно в комнате все стихло. Стало так тихо, что можно было слышать жужжащий ход дедовских часов за стеной. Пэт Рейли, тихонько игравший на пианино, перестал играть, и его руки замерли над клавишами.

Свечи в столовой мигнули в прохладном ветерке, подувшем через кружевные занавески на окне.

— Продолжай играть, Пэт, — тихо сказал отец Энтони. Пэт снова заиграл. Он играл «Ночь и день», но глаза его были прикованы к Дэну, и он часто ошибался.

Дэн стоял посредине комнаты, держа пластинку. В другой руке он сжимал стакан с бренди, и рука его тряслась от напряжения.

Все смотрели на него.

— Господи боже мой, — повторил он и еле слышно выругался.

Преподобный Янгер, разговаривавший с матерью и тетей Эми у дверей, тоже сказал: «Господи…» — но он произнес это слово с молитвенным выражением. Руки его были сложены и глаза закрыты.

Джон Сайпик вышел вперед.

— Слушай, Дэн… — проговорил он. — Это хорошо, что ты так говоришь. Но ведь ты не хочешь говорить много, не так ли?

Дэн стряхнул ладонь Сайпика со своей руки.

— Не могу даже послушать свою пластинку, — сказал он громко. Он поглядел на пластинку, затем обвел взглядом лица соседей. — О господи…

Он швырнул стакан в стену. Стакан разбился, и бренди потекло по обоям.

Кто-то из женщин вскрикнул.

— Дэн, — шепотом сказал Сайпик. — Дэн, перестань… Пэт Рейли стал играть «Ночь и день» громче, чтобы заглушить разговор. Впрочем, если б Энтони слушал, это бы не помогло.

Дэн Холлиз подошел к пианино и, слегка покачиваясь, остановился за плечом у Пэта.

— Пэт, — сказал он. — Не играй это. Играй вот это. — И он запел — тихо, хрипло, жалобно: — «В мой день рождения… В мой день рождения…» — Дэн! — взвизгнула Этель Холлиз. Она попыталась подбежать к нему, но Мэри Сайпик схватила ее за руку и удержала на месте. — Дэн! — крикнула Этель. — Перестань!

— Господи, тише! — прошипела Мэри Сайпик и подтолкнула Этель к одному из мужчин, который подхватил ее и зажал ей рот ладонью.

— «В мой день рождения, — пел Дэн, — счастья желайте мне…» — Он остановился и взглянул вниз, на Пэта. — Играй, Пэт, играй, чтобы я мог петь правильно… Ты же знаешь, я всегда сбиваюсь с мотива, если не играют!

Пэт Рейли положил руки на клавиши и заиграл «Любимого» — в темпе медленного вальса, так, как это нравилось Энтони. Лицо у Пэта было белое. Его руки дрожали.

Дэн Холлиз уставился на дверь. На мать Энтони и на отца Энтони, который встал рядом с нею.

— Это вы породили его, — сказал он. Свет свечей отразился в слезах, катившихся по его щекам. — Это вы взяли и породили его…

Он закрыл глаза, и слезы полились из-под закрытых век. Он громко запел: — «Ты мое солнце… мой радостный свет… ты дала радость…» Энтони возник в комнате.

Пэт перестал играть. Он замер. Все в комнате замерли. Ветер надул занавески. Этель Холлиз больше не пыталась кричать — она потеряла сознание.

— «Не отнимай мое солнце… у меня…» — голос Дэна пресекся и заглох.

Глаза его расширились. Он выставил перед собой руки, в одной он сжимал пластинку. Он икнул и сказал: — Не надо…

— Плохой человек, — сказал Энтони и превратил Дэна Холлиза в нечто невообразимо ужасное и затем отправил его в могилу, глубоко-глубоко под маисовым полем.

Пластинка упала на ковер. Она не разбилась.

Энтони обвел комнату пурпуровыми глазами.

Некоторые гости принялись бормотать, все старались улыбаться. Бормотание наполнило комнату, подобно далекому звуку одобрения. И сквозь этот гул ясно и отчетливо слышались два или три голоса.

— О, это очень хорошо, — сказал Джон Сайпик.

— Прекрасно, — сказал отец Энтони улыбаясь. У него было больше практики в улыбке, чем у всех остальных. — Превосходно!

— Здорово… Просто здорово, — сказал Пэт Рейли. Слезы текли по его лицу и капали с носа, и он снова принялся играть на пианино, тихо, медленно, нащупывая пальцами мелодию «Ночи и дня».

Энтони забрался на пианино, и Пэт играл два часа подряд.

Затем они смотрели телевизор. Все перешли в гостиную, зажгли всего пару свечей и придвинули кресла к телевизору. Экран был маленький, и все не могли усесться так, чтобы было видно, но это не имело значения. Они даже не включили телевизор. Все равно ничего бы не вышло, ведь в Пиксвилле не

было электричества.

Они просто молча сидели и смотрели, как на экране извиваются и трепещут странные формы, и слушали невнятные звуки, исходящие из динамика, и никто из них понятия не имел, что все это значит. Никто никогда не понимал. Это было всегда одно и то же.

— Все это прекрасно, — заметила тетя Эми, не отрывая' взгляда бледных глаз от мелькания теней на экране. — Но мне больше нравилось, когда показывали города и мы могли…

— Ну что ты, Эми, — сказала мать. — Это хорошо, что ты говоришь так. Очень хорошо. Но ведь ты не имеешь этого в виду, верно? Этот телевизор гораздо лучше того, что у нас был раньше!

— Конечно, — согласился Джон Сайпик. — Это великолепно. Это самое лучшее, что мы когда-либо видели…

Он сидел на кушетке с двумя другими мужчинами, удерживая Этель Холлиз, держа ее за руки и за ноги и зажимая ей рот ладонью, чтобы она не могла кричать.

— Это просто хорошо, — добавил он.

Мать взглянула в окно, туда, за погруженную во тьму дорогу, за погруженное во тьму пшеничное поле Гендерсона, в гигантскую, бесконечную серую пустоту, в которой маленькая деревушка Пиксвилл плавала, словно проклятая небом душа, — в исполинскую пустоту, которая была лучше всего видна по ночам, когда кончался медно-красный день, созданный Энтони.

И нечего было надеяться понять, где они находятся… Нечего. Пиксвилл просто был где-то. Где-то вне Вселенной! Так стало с того дня, три года назад, когда Энтони вышел из утробы матери, и доктор Бэйтс — господь да упокоит его! — издал дикий крик, и уронил новорожденного, и попытался умертвить его, и Энтони завыл и сделал все это. Перенес куда-то деревню. Или уничтожил всю Вселенную, кроме деревни. Никто не знал, что именно.

И нечего было задумываться над этим. Ничего хорошего все равно не вышло бы. И вообще ничего хорошего не выходило. Оставалось только стараться выжить.

Выжить, выжить во что бы то ни стало. Если позволит Энтони.

«Опасные мысли», — подумала она.

Она забормотала себе под нос. Остальные тоже принялись бормотать. Видимо, они тоже думали.

Мужчины на кушетке шептали и шептали на ухо Этель Холлиз, и когда они отпустили ее, она тоже принялась бормотать.

Энтони сидел на телевизоре и показывал передачу, а они сидели вокруг, и бормотали, и смотрели на бессмысленно мелькающие тени на экране, и так продолжалось до глубокой ночи.

На следующий день выпал снег и погубил половину урожая…
И все же это был хороший день.

Пол Андерсон
Сестра Земли

Вот — конец тебе; и пошлю на тебя гнев Мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои.

И не пощадит тебя око Мое, и не помилую, и воздам тебе по путям твоим, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я — Господь.

Иезекииль, VII, 3-i

…Много времени спустя в бухте Сан-Франциско всплыл утопленник в поношенном костюме. Полиция пришла к выводу, что он в какой-нибудь туманный день прыгнул в воду с моста Золотых ворот. Тут слишком чисто и пустынно, не совсем обычное место выбрал неведомый пьяница, чтобы свести счеты с жизнью, но над этим никто не задумался. За пазухой у мертвеца оказалась Библия, а в ней закладка, и на заложенной странице отчеркнуто несколько строк. От нечего делать один из полицейских стал разглядывать размокшие листы и наконец разобрался: отчеркнуты были третий и четвертый стихи седьмой главы книги пророка Иезекииля.

Шквал налетел, когда Малыш Мак-Клелан уже совсем было пошел на посадку. Он рванул ручку на себя: взревели двигатели, рейсовый бот стал на хвост и подскочил вверх. Миг — и его завертело, закружило, как сухой лист. В иллюминаторах почернело. Перекрывая вой ветра, забарабанил ливень. Сверкнула молния, прокатился гром, и Нат Хоуторн, ослепленный, оглушенный, перестал что-либо воспринимать.

«С приездом!» — подумал он. А может быть, он сказал это вслух? Опять загромыхало, словно исполинские колеса раскатились по мостовой — или это просто хохот? Бот перестало швырять. Перед глазами уже не плавали огненные пятна, и Хоуторн различил облака и спокойную водную гладь. Все окутано синеватой дымкой, значит, время близится к закату. «К тому, что на Венере называется закатом», — напомнил он себе. Еще долгие часы будет светло, ночь никогда не станет по-настоящему темной.

— Еще бы чуть — и крышка, — сказал Малыш Мак-Клелан.

— А я думал, эта посудина приспособлена для бурь, — сказал Хоуторн.

— Верно. Но это же все-таки не субмарина. Мы были слишком низко, и уж больно неожиданно это налетело. Чуть не нырнули, а тогда бы… — он пожал плечами.

— Тоже не страшно, — возразил Хоуторн. — Выбрались бы в масках через люк и наверняка продержались бы на воде, а со Станции нас бы заметили и подобрали. А может, Оскар еще раньше нас выручил бы. Здешняя живность нам ничем не грозит. Мы для них так же ядовиты, как они для нас.

— Называется «не страшно», — передразнил Мак-Клелан. — Конечно, ты за бот не в ответе, а только ему цена пять миллионов монет.

Фальшиво насвистывая, он описал круг и снова пошел на посадку. Он был маленький, коренастый, веснушчатый и рыжий, двигался быстро, порывисто. Много лет Хоуторн только и знал, что Малыш — один из пилотов, постоянно перевозящий грузы с кораблей на орбите к Станции «Венера» и обратно: бойкий малый, вечно сыплет к месту и не к месту непристойными стишками да болтает невесть что о своих похождениях по части «женской нации», как он выражается. А тут они летели вместе с Земли, и под конец Мак-Клелан смущенно показал всем спутникам стереоснимки своих детишек и признался, что мечтает, когда выйдет на пенсию, открыть небольшой пансион на берегу Медвежьего озера.

«Слава тебе, господи, которого нет, что я биолог, — подумал Хоуторн.

— В моей профессии пока еще не становишься перед этим веселеньким выбором: в тридцать пять лет выйти в отставку либо засесть где-нибудь в канцелярии. Надеюсь, что я и в восемьдесят буду прослеживать экологические связи и любоваться северным сиянием над Фосфорным морем!»

Бот накренился, и внизу стала видна Венера. Казалось просто невероятным, что сплошной, без единого клочка суши океан, покрывающий всю планету, может быть так живописен. Но тут свои климатические зоны, и у каждой — миллионы изменчивых цветов и оттенков; это зависит от освещения, от того, какие где существуют живые твари, а они всюду разные, так что море на Венере не просто полоса воды, но лучезарный пояс планеты. Да еще каждый час под другим углом падают солнечные лучи, и совсем по-иному все светится ночью, и опять же ветерки, ветры и вихри, смена времен года, валы прилива, что катятся по двадцать тысяч миль, не встречая на пути ни единой преграды, и еще какой-то ритм органической жизни, людям пока не понятный.

Нет, тут можно просидеть сто лет на одном месте — и все время перед глазами будет что-то новое. И во всем будет красота.

Фосфорное море опоясывает планету между 55-м и 63-м градусом северной широты. Сейчас, вечером, с высоты оно было густо-синим, в косых белых штрихах, но на севере, на самом горизонте, оно становилось черным, а на юге переходило в необыкновенно чистую, прозрачную зелень. Там и сям под поверхностью извивались алые прожилки. Мелькал плавучий остров — джунгли, разросшиеся на исполинских пузырчатых водорослях, вздымались огненно-рыжими языками, окутанные своим отдельным облачком тумана. На восток уходил шквал — иссиня-черная туча, пронизанная молниями, и оставлял за собою полосу клокочущей вспененной воды. На западе нижний слой облаков нежно розовел и отсвечивал медью. Верхний, постоянный слой переливался на востоке жемчужно-серым и постепенно светлел, а на западе еще горел слепящей белизной — там пылало за горизонтом только что закатившееся солнце. Небосклон пересекала двойная радуга.

Хоуторн глубоко вздохнул. Как славно вернуться!

Маленькая ракета планировала, выпустив крылья, под ними засвистел ветер. Потом она коснулась поплавками воды, подскочила, снова опустилась и подрулила к Станции. Поднятая ею волна разбилась среди кессонов, плеснула к верхней палубе и строениям, но они даже не дрогнули, удерживаемые в равновесии гироскопами. По обыкновению весь экипаж Станции высыпал навстречу прибывшему боту. Корабли с Земли прилетали всего раз в месяц.

— Конечная остановка! — объявил Мак-Клелан, отстегнул ремни, поднялся и стал надевать кислородное снаряжение. — А знаешь, мне всегда как-то не по себе в этой сбруе.

— Почему? — Хоуторн, прилаживая за плечами баллон, удивленно поглядел на пилота.

Мак-Клелан натянул маску. Она закрывала нос и рот, пластиковая прокладка не давала воздуху планеты никакого доступа внутрь. Оба уже надвинули на глаза контактные линзы, не пропускающие ультрафиолетовые лучи.

— Никак не забуду, что тут на двадцать пять миллионов миль нет ни глотка кислорода, кроме нашего, — признался Мак-Клелан. Маска приглушала его голос, и от этого он прозвучал для Хоуторна привычно, по-домашнему. — В скафандре мне как-то спокойнее.

— De guistibus non disputandum est,[5] — сказал Хоуторн. — Что в переводе означает: всякий гусь что хочет, то и ест. А по мне, все скафандры воняют чужой отрыжкой.

В иллюминатор он увидел: в воде изогнулась длинная синяя спина, нетерпеливо плеснула пена. Губы его тронула улыбка.

— Бьюсь об заклад, Оскар знает, что я прилетел, — сказал он.

— Ага. Закадычный друг, — пробурчал Мак-Клелан.

Они вышли из люка. В ушах щелкнуло: организм приспосабливался к небольшой перемене давления. Удобства ради маска задерживала часть водяных паров, а главное, не пропускала двуокись углерода, которой здесь было довольно, чтобы убить человека в три вдоха. Азот, аргон и небольшое количество безвредных газов проходили в заплечный баллон, смешивались с кислородом, и этой смесью можно было дышать. Существовали и аппараты, которые путем электролиза добывали необходимый землянам кислород прямо из воды, но они пока были слишком громоздки и неудобны.

На Венере всегда надо иметь этот аппарат под рукой в лодке ли, на пристани ли, чтобы каждые несколько часов перезаряжать заплечный баллон. Новичков с Земли эта вечная забота до черта раздражает, но, побыв подольше на Станции «Венера», привыкаешь и становишься спокойнее.

«И разумнее?» — не раз спрашивал себя Хоуторн. Последний полет на Землю, кажется, окончательно убедил его в этом.

Жара оглушала, точно удар кулака. Хоуторн уже переоделся по-здешнему: свободная, простого покроя одежда из синтетической ткани защищала кожу от ультрафиолетовых лучей и притом не впитывала влагу. На минуту он приостановился, напомнил себе, что человек — млекопитающее, вполне способное переносить жару и посильнее, и его отпустило. Он стоял на поплавке, вода плескалась о его босые ноги. Ногам было прохладно. Он вдруг перестал злиться на жару, попросту забыл о ней.

Из воды высунулся Оскар. Да, конечно, это был Оскар. Других дельфоидов — их тут было с десяток — больше занимал бот, они тыкались в него носами, терлись гладкими боками о металл, поднимали детенышей ластами, чтобы тем было лучше видно.

Оскар был занят одним только Хоуторном. Он вскинул грузную тупорылую голову, обнюхал ноги биолога и тотчас выбил ластами на воде веселую дробь за двадцать футов до понтона.

Хоуторн присел на корточки.

— Здорово, Оскар! А ты уже думал, я больше не вернусь?

И почесал зверя под подбородком. Да, черт возьми, у дельфоидов есть самый настоящий подбородок. Оскар перевернулся вверх брюхом и фыркнул.

— Ты, верно, решил, что я там, на Земле, подцепил какую-нибудь дамочку, а про тебя и думать забыл? — бормотал

Хоуторн. — Ошибаешься, кот-котище, безобразный зверище, я об этом и не мечтал. Дудки! Стану я тратить драгоценное земное время — мечтать, как бы променять тебя на женщину! Я не мечтал, я дело делал. Поди-ка сюда, скотинка.

Он почесал упругую, как резина, кожу возле дыхала. Извиваясь всем телом, Оскар с силой ткнулся в поплавок.

— Эй, хватит там! — вмешался Мак-Клелан. — Мне сейчас не до купания.

Он кинул перлинь. Вим Дикстра поймал конец, обмотал вокруг кнехта и стал подтягивать. Бот медленно двинулся к пристани.

— Ну-ну, Оскар, ладно, ладно, — сказал Хоуторн. — Вот я и дома. Не будем по этому случаю распускать слюни.

Он был рослый, сухощавый, волосы темно-русые, лицо изрезано ранними морщинами.

— Я и подарок тебе привез, как всем нашим, только дай сперва распаковать вещи, я тебе привез целлулоидную утку. Ну, пусти же!

Дельфоид нырнул. Хоуторн уже хотел подняться по трапу, как вдруг Оскар вернулся. Тихонько, осторожно ткнулся человеку в щиколотки, потом неуклюже — у обычной, не приспособленной к торговле пристани ему было трудно это проделать — вытолкнул что-то изо рта прямо к ногам Хоуторна. Потом снова нырнул, а Хоуторн изумленно вполголоса выругался, и глаза у него защипало.

Он получил сейчас в подарок такой великолепный самоцвет-огневик, каких, пожалуй, еще и не видывали на Станции «Венера».

Когда стемнело, стало видно северное сияние. До солнца было близко, а магнитное поле Венеры так слабо, что даже над экватором в небе порой перекрещиваются гигантские световые полотнища. Здесь, на Фосфорном море, ночь бархатно-синяя, в ней колышутся розовые завесы и вздрагивают узкие снежно-белые вымпелы. И вода тоже светится от каких-то фосфоресцирующих микроорганизмов, гребень каждой волны оторочен холодным пламенем. Каждая капля, брызнув на палубу Станции, долго рдеет, прежде чем испариться, словно кто-то раскидал по всему тускло отсвечивающему кольцу золотые угольки.

Хоуторн смотрел на все это сквозь прозрачную стену кают-компании.

— А славно вернуться, — сказал он.

— Видали чудака? — отозвался Малыш Мак-Клелан. — На Земле выпивка, женщины наперебой ухаживают за гордым

исследователем космоса, а ему приятно от такой роскоши вернуться сюда. Этот малый просто спятил.

Вим Дикстра, геофизик, серьезно кивнул. Это был высокий смуглый голландец — чувствовалось, что в его жилах течет и кастильская кровь. Быть может, из-за нее-то среди его соплеменников так много вечных бродяг и скитальцев.

— Кажется, я тебя понимаю, Нат, — сказал он. — Я получил письма и кое-что прочел между строк. Значит, на Земле совсем худо?

— В некоторых отношениях… — прислонясь к стене, Хоуторн всматривался в ночь.

Вокруг Станции резвились дельфоиды. Живые торпеды весело выскакивали из воды, все обдавая струями света, описывали в воздухе дугу и ныряли в огненные фонтаны. Потом вспенили воду и, кувыркаясь, подскакивая, пошли вокруг хороводом в милю шириной. Но и на этом расстоянии, точно пушечные выстрелы, доносились гулкие хлопки о воду огромных тел и ластов.

— Я этого боялся. Даже не знаю, поеду ли в отпуск, когда настанет мой черед, — сказал Дикстра.

Мак-Клелан смотрел на них во все глаза.

— О чем это вы, ребята? — растерянно спросил он. — Что такое стряслось?

Хоуторн вздохнул.

— Не знаю, с чего и начать, — сказал он. — Понимаешь, Малыш, беда в том, что ты видишь Землю постоянно. Возвращаешься из рейса и живешь там неделями, а то и месяцами, только потом опять летишь. А мы… мы не бываем там по три, по пять лет кряду. Нам перемены заметнее.

— Ну, понятно, — Мак-Клелан неловко поерзал в кресле. — Понятно, вам это не в привычку… ну, то есть шайки и патрули и что, покуда вас не было, в Америке ввели норму на жилье. А все-таки, ребята, жалованье у вас отличное и работа почетная. Вам всегда и честь и место. Чего уж вам-то жаловаться?

— Скажем так: воздух не тот, — ответил Хоуторн. Он через силу улыбнулся. — Будь на свете бог (а его, слава богу, нет), я был сказал, что он забыл Землю.

Дикстра густо покраснел.

— Бог ничего не забывает! Забывают люди.

— Прости, Вим, — сказал Хоуторн. — Но я видел… не только Землю. Земля слишком велика, это просто цифры, статистика. А я побывал на родине, в тех местах, где я вырос. В озере, где я мальчишкой удил рыбу, теперь разводят съедобные водоросли, а моя мать ютится в одной комнатенке с полоумной старой каргой, от которой ее просто тошнит. Мало того. Скворцовую рощу

вырубили, а на ее месте построили, с позволения сказать, многоквартирные дома — самые настоящие трущобы, и шайки бесчинствуют уже средь бела дня. Больше всего народу занято не в промышленности, а в вооруженных патрулях. Зайдешь в бар — ни одного веселого лица. Уставятся, как бараны, на экран телевизора и… — он оборвал себя на полуслове. — Да вы не слушайте. Я, наверное, преувеличиваю.

— Да уж, — сказал Мак-Клелан. — На природу тебе захотелось? Могу тебя доставить в такую глушь, туда со времен индейцев ни одна живая душа не заглядывала. А в Сан-Франциско ты когда-нибудь бывал? Так вот, могу сводить тебя в один кабачок на Норс Бич, тогда узнаешь, что значит повеселиться всласть.

— Ну, ясно, — сказал Хоуторн. — Вопрос только: долго ли еще протянут эти остатки былого величия?

— Есть такие, что им вовек конца не будет, — возразил Мак-Клелан. — Их хозяева — корпорации. А по нынешним временам собственность корпораций — это все равно что какие-нибудь графские угодья.

Вим Дикстра кивнул.

— Богачи богатеют, — сказал он, — бедняки беднеют, а средние слои исчезают. И под конец образуется самая допотопная империя. Я когда-то учил историю.

Темные глаза его задумчиво смотрели на Хоуторна.

— Средневековый феодализм и монашество развились в рамках римского владычества, и, когда империя развалилась, они остались. Может быть и сейчас возможно такое параллельное развитие. Самые крупные и мощные организации на Земле — феодальные, а на таких вот межпланетных станциях, как наша, — монастыри.

— Самые настоящие, с обетом безбрачия, — поморщился Мак-Клелан. — Благодарю покорно, я предпочитаю феодализм!

Хоуторн снова вздохнул. За все приходится платить. Пилюли, усыпляющие секс, и воспоминания о пылких поцелуях и страстных объятиях, что были на Земле, подчас мало утешают.

— Не очень удачное сравнение, Вим, — возразил он. — Начать с того, что мы держимся только торговлей драгоценными камнями. Она выгодна, поэтому нам разрешают заниматься и научной работой, кого какая интересует; в сущности, это тоже плата за наш труд. Но если дельфоиды перестанут приносить нам самоцветы, мы и оглянуться не успеем, как нас вернут на Землю. Ты и сам знаешь, никто не станет давать бешеные деньги на межпланетные перелеты и перевозки ради науки, дают только ради предметов роскоши.

— Ну и что из этого? — пожал плечами Дикстра. — Экономика к нашему монашескому житью никакого отношения не имеет. Может, ты никогда не пил бенедиктин?

— Что?.. А-а, понимаю. Но холостяки мы только по необходимости. И лелеем надежду, что когда-нибудь и у нас будут жены.

Дикстра улыбнулся.

— Я не говорю, что тут полное сходство. Но все мы сознаем, что служим большей цели, делу культуры. Наше призвание — не религия, а наука, но все равно это — вера, во имя которой стоит идти и на отшельничество, и на иные жертвы. Если в глубине души мы считаем, что отшельничество — это жертва.

Хоуторн поморщился: Дикстра подчас чересчур увлекается анализом. Что и говорить, мы, работники Станции, — настоящие монахи. Тот же Вим… но он однодум, натура страстная, целеустремленная, и это его счастье. Самому Хоуторну не так повезло, пятнадцать лет он пытался избавиться от пуританских взглядов и предрассудков, с детства въевшихся в плоть и кровь, и наконец понял, что это безнадежно. Он убил жестокого бога, в которого верил его отец, но призрак убитого будет вечно его преследовать.

Теперь он решился вознаградить себя за долгое самоотречение и отпуск на Земле превратил в непрерывную оргию, но все равно под видом горечи и ожесточения его терзает чувство, что он тяжко согрешил. На Земле я впал в беззаконие. Ergo,[6] Земля — вертеп.

А Дикстра продолжал, и в голосе его вдруг зазвучало странное волнение:

— И еще в одном смысле наша жизнь напоминает средневековое монашество. Монахи думали, что бегут от мира. А на самом деле они служили рождению нового мира, новой ступеньки развития общества. Может быть, и мы, еще сами того не сознавая, изменяем историю.

— Гм… — покачал головой Мак-Клелан. — Какая же история, когда у вас не будет потомства? Женщин-то на Венере нету!

— Сейчас об этом идет разговор в Правлении, — стараясь уйти от собственных мыслей, поспешно вставил Хоуторн. — Компания рада бы это устроить, тогда люди будут охотней работать на Венере. Думаю, что, пожалуй, это можно уладить. Если торговля будет развиваться, нашу Станцию придется расширить, и с таким же успехом можно присылать новых ученых и техников — женщин.

— Ну и начнутся скандалы, — сказал Мак-Клелан.

— Не начнутся, лишь бы прислали сколько надо, — возразил

Хоуторн. — А что до романтической любви и отцовства, так ведь кто подрядился здесь работать, те давным-давно не мечтают о такой роскоши.

— А она вполне доступна, — пробормотал Дикстра. — Я говорю об отцовстве.

— Какие же дети на Венере? — изумился Хоуторн.

По лицу Дикстры промелькнула ликующая, победоносная улыбка. Они столько лет прожили бок о бок, что научились слышать друг друга без слов, и Хоуторн понял: у Дикстры есть какой-то секрет, о котором он рад бы закричать на весь мир, но пока еще не может. Видно, сделал какое-то поразительное открытие.

Хоуторн решил закинуть удочку.

— Я все пересказываю слухи да сплетни и даже не спросил, что у вас тут делается. Что новенького вы узнали об этой почтенной планете, пока меня не было?

— Появились кое-какие надежды, — уклончиво сказал Дикстра все еще немного нетвердым голосом.

— Открыли способ фабриковать огневики?

— Избави бог! Если б их удавалось делать самим, мы бы сразу погорели, верно? Нет, не то… Если хочешь, поговори с Крисом. Насколько я знаю, он установил только, что они — биологический продукт, что-то вроде жемчуга. Видимо, тут участвуют несколько видов бактерий, которые могут существовать только в условиях венерианского океана.

— Узнали что-нибудь новое про то, как они тут могут жить? — спросил Мак-Клелан.

Как все космонавты, он жадно, до одержимости интересовался всякими живыми существами, способными обходиться без кислорода.

— Да, Крис, Мамору и их сотрудники довольно точно исследовали обмен веществ в здешних организмах, — сказал Дикстра. — Я в этом ничего не смыслю, Нат. Но ты, конечно, захочешь разобраться, а им позарез нужна твоя помощь, ты же эколог. Знаешь, обычная история: растения (если их тут можно назвать растениями) используют солнечную энергию и создают ненасыщенные смеси, а твари, которых мы называем животными, их окисляют. Окисление может идти и без кислорода. Малыш.

— Уж настолько-то я в химии разбираюсь, — обиделся Мак-Клелан.

— Ну вот, вообще-то связанные с этим процессом реакции не настолько сильны, чтобы породить животных такой величины, как Оскар. Не удалось отождествить ни одного фермента, который был бы способен… — Дикстра нахмурился, промолчал. — Как бы

там ни было, Мамору ищет ключ в брожении, это самый близкий земной аналог. И похоже, что тут и впрямь участвуют микроорганизмы. Здесь, на Венере, ферменты не отличить от… от вирусов, что ли? Более подходящего названия пока не подобрали. А некоторые формы, видимо, даже исполняют функции генов. Каков симбиоз, а? Классическим образцам до этого далеко!

Хоуторн присвистнул.

— Очень увлекательная новая теория, скажу я вам, — заметил Мак-Клелан. — При всем при том я бы хотел, чтоб вы поскорей погрузили все, что надо, нам пора домой. Все вы славные ребята, но мне с вами малость неуютно.

— На погрузку уйдет несколько дней, — сказал Дикстра. — Это ведь известно.

— Ладно, пускай несколько, лишь бы земных, а не венерианских.

— Возможно, я передам с тобой очень важное письмо, — сказал Дикстра.

— У меня еще нет решающих данных, но ради одного этого тебе придется подождать.

Внезапно его даже в дрожь бросило от волнения.

Долгими ночами они изучали материал, собранный за день. Когда Хоуторн вышел навстречу рассвету, в туман, клубящийся над подернутыми багрянцем водами, под перламутровым небом, все обитатели Станции устремились в разные стороны, будто раскиданные взрывом. Вим Дикстра со своим новым помощником, маленьким улыбчивым Джимми Чентуном, уже умчался на двухместной субмарине куда-то за горизонт подбирать придонные зонды-автоматы. А сейчас от причала отходили во всех направлениях лодки: Дил и Мацумото отправлялись за псевдопланктоном, Васильев — на гряду Эребуса, которая славилась необычайно красивым кораллитом, Лафарж продолжал составлять карты течений, Гласс в космоскафе взвился в небо: еще слишком мало исследованы венерианские облака…

За ночь в рейсовый бот перенесли первую партию груза, и теперь Малыш Мак-Клелан с Хоуторном и капитаном Джевонсом прошли по опустевшей пристани.

— Ждите меня обратно к вашему закату, — сказал Малыш. — Какой мне толк прилетать раньше, когда тут все в разгоне.

— Да, пожалуй, никакого, — согласился почтенный седовласый Джевонс и задумчиво поглядел вслед легкому суденышку Лафаржа.

За кормой резвились пять дельфоидов, — прыгали, пускали

фонтаны, описывали вокруг лодки круги. Никто их не звал, но теперь мало кто из людей решался уходить далеко от Станции без такого эскорта.

Когда случалось какое-нибудь несчастье, — а они не редкость на этой планете, такой же огромной и разнообразной, как Земля, — дельфоиды не раз спасали людям жизнь. В самом худшем случае можно было просто сесть на дельфоида верхом, но чаще они вчетвером, впятером ухитрялись поддержать поврежденную лодку на плаву, будто знали, во что это обходится — переправить с Земли на Венеру хотя бы гребную шлюпку.

— Я и сам бы не прочь поискать что-нибудь новенькое, — сказал Джевонс и усмехнулся. — Но надо же кому-то сторожить нашу лавочку.

— Да, а как здешние рыбки приняли последнюю партию товара? — поинтересовался Мак-Клелан. — Берут они побрякушки из пластика?

— Нет, — сказал Джевонс. — Ноль внимания. По крайней мере, ясно, что у них неплохой вкус. Возьмете эти бусы обратно?

— Нет уж, дудки! Швырните их в воду. А что вы еще подскажете? На что они, по-вашему, скорее клюнут?

— Знаете, — вмешался Хоуторн, — я подумываю насчет инструмента. Что-нибудь такое, специально для них приспособленное, чтобы они могли работать, держа орудие во рту…

— Надо сперва испробовать то, что есть под рукой, а уж потом запросим образцы с Земли, — сказал Джевонс. — Я-то мало в это верю. На что дельфоиду нож или молоток?

— Нет, я думаю, прежде всего им пригодятся пилы. Нарезать кораллит на плиты и строить подводные убежища.

— За каким дьяволом? — изумился Мак-Клелан.

— Не знаю, — сказал Хоуторн. — Мы вообще слишком мало знаем. Возможно, укрытия от непогоды на дне океана и не нужны, хотя, может, и это не такой уж бред. На больших глубинах наверняка есть холодные течения. Но у меня другое на уме… я у многих дельфоидов видел шрамы — как будто следы зубов, но тогда хищник, должно быть, невероятная громадина.

— А это идея! — Джевонс улыбнулся. — Как славно, что вы уже вернулись, Нат, и по обыкновению полны новых идей. И очень благородно с вашей стороны, что вы в первый же день вызвались дежурить на Станции. С вас бы никто этого не спросил.

— Э, у него хватит приятных воспоминаний, чтобы скрасить унылые будни! — съязвил Мак-Клелан. — Я видел, как он развлекался в одном притоне в Чикаго. Ух, и весело же проводил времечко!

За кислородной маской трудно разобрать выражение лица, но Хоуторн чувствовал, что у него побагровели уши. Джевонс не любил путаться в чужие дела, но он немного старомодный… И он как отец, его чтишь куда больше, чем сурового человека в черном, о котором с детства осталось лишь далекое смутное воспоминание. При Джевонсе неуместно хвастать тем, что вытворяешь в дни отпуска на Земле.

— Я бы хотел обмозговать новые биохимические данные и в свете их набросать программу исследований, — поспешно сказал Хоуторн. — И еще возобновить дружбу с Оскаром. Он очень трогательно преподнес мне этот самоцвет. Я чувствую себя просто гнусно оттого, что отдал такой подарок Компании.

— Еще бы! За него такую цену можно заломить… я бы на твоем месте тоже чувствовал себя гнусно, — подхватил Мак-Клелан.

— Да нет, я не о том. Просто… Э, ладно, тебе пора!

Хоуторн и Джевонс еще постояли, провожая бот глазами.

Ракета оторвалась от воды и пошла вверх — поначалу медленно, грохоча и изрыгая пламя, потом быстрей, быстрей. Но к тому времени, как она вонзилась в облака, она уже походила на метеорит, только летящий не вниз, как положено, а вверх. Все увеличивая скорость, она пробивала слой облачности, вечно окутывающей планету, и вот уже совсем потонула в этом покрывале, которое изнутри, в иллюминатор, кажется не серым, а ослепительно белым.

На высоте стольких миль даже воздух Венеры становится разреженным и жгуче холодным, водяные пары замерзают. Вот почему с Земли астрономы не могли обнаружить по спектрам поглощения, что вся Венера — это один безбрежный океан. Первые исследователи думали найти здесь пустыню, а нашли воду… А Мак-Клелан, межпланетный извозчик, все мчится на своем огненном коне — еще стремительней, еще выше, среди слепящих созвездий.

Рев ракеты затих, и замечтавшийся Хоуторн очнулся.

— Да, сколько мы ни мудрили, сколько ни изобретали, а из всего, что нами создано, только одно прекрасно — межпланетные перелеты. Уж не знаю, сколько уродств и разрушений это искупает.

— Не будьте таким циником, — сказал Джевонс. — Мы создали еще и сонаты Бетховена, и портреты Рембрандта, и Шекспирову драму… и уж кто-кто, а вы могли бы восславить и красоту самой науки.

— Но не техники, — возразил Хоуторн. — Наука — чистое, строгое знание — да. Это для меня ничуть не ниже всего, что

сотворили ваши Бетховены и Рембрандты. А вот всякая эта механика — перетряхнуть целую планету, лишь бы в мире кишело еще больше народу…

А славно вернуться, славно поговорить с капитаном Джевонсом! С ним можно позволить себе разговаривать всерьез.

— Что-то вы после отпуска захандрили, — заметил старик. — Он должен бы оказать на вас обратное действие. Молоды вы еще хандрить.

— Я ведь родом из Новой Англии, — Хоуторн через силу усмехнулся. — Такая уж наследственность, хромосомы требуют, чтобы я был чем-нибудь недоволен.

— Мне больше посчастливилось, — сказал Джевонс. — Я, как пастор Грундтвиг лет двести назад, сделал чудесное открытие: бог — добр!

— Хорошо, когда можешь верить в бога. Я не могу. Эта концепция никак не согласуется с мерзкой кашей, которую человечество заварило на Земле.

— Бог должен был предоставить нам свободу действий, Нат. Неужели вы бы предпочли оказаться всего лишь толковой и послушной марионеткой?

— А может быть, ему все равно? — сказал Хоуторн. — Если, допустим, он существует, разве весь наш опыт дает основание думать, что он к нам как-то особенно благоволит? Может быть, человек — это просто еще один неудачный эксперимент, наподобие динозавров: на нем уже поставлен крест и пускай обращается в прах и вымирает. Откуда мы знаем, что Оскар и его сородичи не наделены душой? И откуда мы знаем, что у нас она есть?

— Не следует чересчур превозносить дельфоидов, — заметил Джевонс. — Они в какой-то мере разумны, согласен. Но…

— Да, знаю. Но — не строят межпланетных кораблей. И у них нет рук, и, само собой, они не могут пользоваться огнем. Все это я уже слышал, капитан. Сто раз я с этим спорил и здесь, и на Земле. Но почем знать, что могут и что делают дельфоиды на дне океана? Не забудьте, они способны оставаться под водой по нескольку дней кряду. И даже здесь, на поверхности, я наблюдал, как они играют в пятнашки. Их игры в некоторых отношениях просто замечательны. Могу поклясться, что в этих играх есть система — слишком сложная, мне трудно ее понять, но тут явно система. Это вид искусства, вроде нашего балета, только они танцуют еще и в согласии с ветром, с течениями и волнами. А как вы объясните, что они так разборчивы в музыке? Ведь у них явно разные вкусы — Оскар предпочитает старый джаз, а Самбо на такие пластинки и не смотрит, зато платит самыми лучшими

самоцветами за Букстехуде.[7] И почему они вообще торгуют с нами?

— Некоторым породам крыс на Земле тоже известна меновая торговля, — сказал Джевонс.

— Нет, вы несправедливы. Когда первая экспедиция, прибыв на Венеру, обнаружила, что дельфоиды хватают с нижней палубы всякую всячину, а взамен оставляют раковины, куски кораллита и драгоценные камни, наши тоже решили, что тут налицо психология стадных крыс. Знаю, отлично все знаю. Но ведь это развилось в сложнейшую систему цен. И дельфоиды по этой части очень хитрые — честные, но и хитрые. Они до тонкостей усвоили наши мерки и отлично понимают, какая чему цена, от конхоидной раковины до самоцвета-огневика. Вызубрили весь прейскурант до последней запятой, шутка сказать! И еще: если это просто животные, с какой стати им гнаться за музыкальными записями в пластиковой упаковке, работающими от термоэлемента? И на что им водоупорные репродукции величайших созданий нашей живописи? А что у них нет орудий труда — сколько раз мы видели, как им помогают стаи разных рыб: одна порода окружает и загоняет всякую морскую живность, другая убивает и свежует, третья снимает урожай водорослей. Им не нужны руки, капитан. Они пользуются живыми орудиями!

— Я работаю здесь не первый день, — сухо заметил Джевонс.

Хоуторн покраснел.

— Простите меня. Я так часто читал эту лекцию на Земле людям, которые понятия не имеют о простейших фактах, что это превратилось в условный рефлекс.

— Я вовсе не хочу унизить наших водяных друзей, — сказал капитан. — Но вы знаете не хуже меня, сколько за эти годы мы пробовали установить с ними общий язык, переговариваться при помощи каких-либо знаков, символов, сигналов — и все зря.

— Вы уверены? — спросил Хоуторн.

— То есть как?

— Откуда вы знаете, что дельфоиды по этим грифельным доскам не изучили наш алфавит?

— Но ведь… в конце концов…

— А может быть, у них есть веские причины не брать в зубы масляный карандаш и не писать нам ответные письма. Почему бы им не соблюдать некоторую осторожность? Давайте смотреть правде в глаза, капитан. Мы для них — чужаки, пришельцы, чудовища. Или, может быть, им просто нелюбопытно: наши лодки и мотоботы забавны, с ними можно поиграть; наши товары тоже занимательны настолько, что с нами стоит меняться; ну, а сами мы нудны и неинтересны. Или же — и это, по-моему, самое

правдоподобное объяснение — у нас и у них слишком разный склад ума. Подумайте, как несхожи наши планеты. Если две формы разумной жизни настолько различны, у них и мышление едва ли может быть схожим — вам не кажется?

— Интересное рассуждение, — заметил Джевонс. — Впрочем, такое уже приходилось слышать.

— Ладно, пойду разложу для них новые игрушки, — сказал Хоуторн.

Но отойдя на несколько шагов, остановился и круто обернулся.

— А ведь я болван! — сказал он. — Оскар вступил с нами в переговоры, и не далее как вчера вечером. Самое недвусмысленное послание: самоцвет-огневик.

Хоуторн прошел мимо тяжелого пулемета, заряженного разрывными пулями. До чего гнусный порядок — мы держим в постоянной боевой готовности целый арсенал! Как будто Венера когда-нибудь угрожала людям. — Разве только без чьей-либо злой воли, безличными опасностями, которых мы не умеем избежать просто по собственному невежеству.

Он прошел дальше по торговой пристани. Металлическая поверхность сверкала почти вровень с водой. За ночь с пристани опустили плетеные, вроде корзин, контейнеры с обычными ходовыми товарами. Тут были музыкальные записи и картины, уже хорошо знакомые дельфоидам, но видно, никогда им не надоедавшие. Может быть, каждый хотел обзавестись собственным экземпляром? Или они распространяют эти вещи у себя под водой в каком-то подобии библиотек и музеев?

Затем тут были небольшие пластиковые контейнеры с поваренной солью, нашатырным спиртом и другими веществами, которые, видимо, служили для дельфоидов отменным лакомством.

Венера лишена материков, которые мог бы омывать океан, поэтому он гораздо меньше насыщен различными минералами, чем земные моря, и все эти химические вещества здесь в диковинку. И однако от пластиковых мешочков с иными составами дельфоиды отказывались, например от соли марганцевой кислоты, и последние биохимические исследования обнаружили, что для всех форм венерианской жизни марганец ядовит.

Но как дельфоиды это узнали, ведь ни один не раздавил непроницаемый пластиковый мешочек зубами? Они просто знали — и все тут. Человеческие существа и человеческая наука еще далеко не исчерпывают возможных во Вселенной способов

познания.

В стандартный список товаров постепенно были включены кое-какие игрушки — например плавучие мячи, которыми дельфоиды пользовались для каких-то свирепых игр, и особым образом изготовленные перевязочные материалы, чтобы накладывать на раны…

«Никто и не сомневался, что Оскар куда разумнее, чем шимпанзе, — думал Хоуторн. — Вопрос в том, настолько ли он разумен, чтобы сравняться с человеком?»

Хоуторн вытащил корзины из воды и извлек обычную, установившуюся плату, оставленную дельфоидами. Тут были самоцветы-огневики либо маленькие, но безупречные, либо большие, нос изъянами. Один был большой и притом безукоризненно круглый — словно большая круглая капля радуги. Были и особенно красивые образчики кораллита, из которого на Земле выделывают украшения, и несколько видов раковин удивительной красоты.

Были здесь и образчики подводной жизни для изучения, почти все — еще не виданные человеком. Сколько миллионов разновидностей живых существ населяют эту планету? Были кое-какие инструменты, когда-то оброненные за борт и погребенные в иле, а сейчас вновь открытые переменчивыми подводными течениями; был какой-то непонятный комок — легкий, желтого цвета, жирный на ощупь, возможно, вещество биологического происхождения, вроде амбры; быть может, оно малоинтересно, а быть может, это ключ, открывающий совершенно новую область химии. Добыча со всей планеты болталась сейчас в коробках Хоуторновой коллекции.

Для всех новинок была установлена определенная довольно скромная цена. Если люди и во второй раз возьмут такой же образчик, они заплатят дороже, и так будет опять и опять, пока не установится постоянная цена, не слишком высокая для землян и не настолько низкая, чтобы дельфоидам не стоило трудиться, поставляя товар. Просто удивительно, какую подробную и точную систему товарообмена можно разработать, не прибегая к помощи речи.

Хоуторн посмотрел вниз, на Оскара. Огромный морской зверь недавно вынырнул поблизости и теперь лежал на воде, носом к пристани, лениво поплескивая хвостом. Приятно смотреть, как блестит темно-синим глянцем круто выгнутая спина.

— Знаешь, дружище, — пробормотал Хоуторн, — уже сколько лет на Земле хихикают над вашим братом, — мол, экие простофили, отдают нам невиданные драгоценности в обмен на какие-то дрянные побрякушки. А вот я начинаю думать — может,

мы с вами квиты, и еще неизвестно, кто кого дурачит? Может, на Венере эти самые огневики не такая уж редкость?

Оскар легонько фыркнул, пустил из дыхала фонтанчик и повел блестящим лукавым глазом. Престранное выражение мелькнуло на его морде. Конечно же, было бы чистейшим легкомыслием, недостойным ученого мужа, назвать это усмешкой. Но хоть убейте, а внутренне Оскар именно усмехнулся!

— Ладно, — сказал Хоуторн, — ладно. Теперь поглядим, какого вы мнения о наших новых р-роскошных изделиях. Мы столько лет соображали, чем бы скрасить ваше житье-бытье, — и вот привезли всякой всячины. Все эти изделия вместе и каждое в отдельности, господа и дамы дельфоиды, испытаны и проверены в наших безупречных лабораториях, и не думайте, что это так просто — испытать, к примеру, патентованный пятновыводитель. Итак…

Мелодичное журчание Шенберга было отвергнуто. Возможно, другие композиторы-атоналисты пришлись бы местному населению по вкусу, но учитывая, что в межпланетных кораблях каждая кроха груза на счету, опыт повторится не скоро. С другой стороны, запись старинных японских песен исчезла, взамен оставлен был самоцвет в два карата — вдвое больше, чем платят обычно за новинку; это означало, что какой-то дельфоид хочет получить еще одну такую же запись.

По обыкновению, картины всех современных художников были отвергнуты, но, признаться, Хоуторн и сам не очень жаловал эту живопись. Ни один дельфоид не польстился на Пикассо (средний период), но Мондриан и Матисс шли недурно. Куклу взяли за самую низкую цену — обломок минерала. Дескать, ладно уж, эту мы (я?) возьмем, но не трудитесь — больше такого не требуется.

Опять же отвергнуты были непромокаемые книжки с картинками; после первых немногих проб дельфоиды никогда не брали книг. Среди прочего именно их неприязнь к книгам заставляла многих исследователей сомневаться в том, что это действительно разумные, мыслящие существа.

«И ничего из этого не следует, — думал Хоуторн. — У них нет рук, поэтому для них неестественно пользоваться печатным текстом. Некоторые лучшие образцы нашего искусства стоят того, чтобы утащить их под воду и сохранить просто потому, что они красивы или интересны, или забавны, или, кто знает, что еще находят в них дельфоиды. Но если нужно запечатлеть факты и события, у дельфоидов вполне могут быть для этого свои, более подходящие способы. Какие, к примеру? Кто его знает? Может

быть, у них отличная память. А может быть, при помощи, скажем, телепатии они записывают все, что требуется, в кристаллической структуре камней на дне океана?»

Оскар кинулся вдоль пристани, догоняя Хоуторна. Тот присел на корточки и потрепал дельфоида по мокрому гладкому лбу.

— Ну, а ты что обо мне думаешь? — спросил он вслух. — Может, в свой черед гадаешь, способен ли я мыслить. Ну да, ну да. Мое племя свалилось с неба и построило плавучие металлические поселки и доставляет вам всяческие занятные и полезные штучки. Но ведь и муравьи, и термиты живут по каким-то своим законам, и у вас на Венере есть твари в этом роде, с очень сложными правилами общежития.

Оскар пустил фонтанчик и ткнулся носом в щиколотки Хоуторна. Далеко на воде резвились его сородичи, высоко взлетали, описывая в воздухе дугу, и снова ныряли, взбивая на фиолетовых волнах ослепительную ярко-белую пену. Еще дальше, в дымке, едва различимые глазом, трудились несколько взрослых дельфоидов: при помощи трех разных видов прирученных (так, что ли?) водяных жителей загоняли косяк рыбы. Судя по всему, они делали свое дело с истинным удовольствием.

— Ты не имеешь никакого права быть таким умницей и хитрецом, Оскар, — сказал Хоуторн. — Согласно всем правилам, разум развивается в быстро изменяющейся среде, а океан, согласно всем теориям, недостаточно изменчив. Да, но может быть, это справедливо только для земных морей? А тут Венера — много ли мы знаем о Венере? Скажи-ка, Оскар, может быть, ты — что-то вроде собаки, а рыба, которую вы тут пасете, это просто тупой скот, и она так же покорно служит вам, как травяная тля — муравьям? Или это настоящие домашние животные, которых вы сознательно приручили? Наверняка именно так. Я буду стоять на этом до тех пор, пока муравьи не начнут увлекаться Ван Гогом и Бидербеком.

Оскар фыркнул, обдал Хоуторна углекислой океанской водой. Она живописно запенилась, защекотала кожу. Чуть повеял ветерок, сдувая влагу с одежды. Хоуторн вздохнул. Дельфоиды, совсем как дети, ужасные непоседы — еще одно основание для многих психологов ставить их лишь чуточку выше земных обезьян.

Не слишком логично, мягко говоря. Темп жизни на Венере куда быстрей земного, каждую секунду на тебя сваливается что-то неожиданное и неотложное. И даже если у дельфоидов просто непостоянный нрав, разве это признак глупости? Человек — животное, тяжелое на подъем, он давно забыл бы, что значит играть и резвиться, если бы ему об этом вечно не напоминали.

Очень может быть, что здесь, на Венере, жизнь сама по себе доставляет куда больше радости.

«Напрасно я унижаю собственное племя, — подумал Хоуторн. — Суди все века, кроме нынешнего, и все страны, кроме своего отечества. Мы не похожи на Оскара, только и всего. Но разве из этого следует, что он хуже нас? Ладно, давай лучше сообразим, как бы сконструировать такую пилу, чтобы дельфоиду сподручно было с нею управляться. Сподручно? Когда у тебя нет рук, а только рот? Если дельфоиды станут выменивать у людей такие инструменты, это будет веским доказательством, что по уровню развития они совсем не так далеки от человека. А если не пожелают, что ж, это будет лишь означать, что у них иные желания, и вовсе не обязательно более низменные, чем наши.

Вполне возможно, что племя Оскара в умственном отношении стоит выше человечества. Почему бы и нет? Их организм и их окружение таковы, что они не могут пользоваться огнем, обтесанным камнем, кованым металлом и графическими изображениями. Но может быть это заставило их мысль искать иные, более сложные пути? Племя философов, которое неспособно объясняться с человеком, ибо давно позабыло младенческий лепет…

Да, конечно, это дерзкая гипотеза. Но одно бесспорно: Оскар отнюдь не просто смышленое животное, даже если его разум и не равен человеческому. И однако, если племя Оскара достигло, скажем, уровня питекантропа, это произошло потому, что в условиях жизни на Венере есть что-то особенно благоприятное для развития разума. Это особое условие будет действовать и впредь. Пройдет еще, скажем, полмиллиона лет — и дельфоид духовно и умственно наверняка ничуть не уступит современному человеку. А человек к тому времени, пожалуй, выродится или сгинет вовсе. Возможно, у них будет куда больше души… больше чувства красоты, больше доброты и веселости, если судить по их нынешнему поведению.

Короче говоря, Оскар либо (а) уже равен человеку, либо (б) уже обогнал человека, либо (в) быстро и несомненно растет, и его потомки рано или поздно (а) сравняются с человеком и затем (б) обгонят его. Милости просим, брат!»

Пристань дрогнула. Хоуторн опустил глаза. Оскар вернулся. Он нетерпеливо тыкался носом в металлическую стенку и махал передним ластом. Хоуторн подошел ближе и посмотрел на дельфоида. Не переставая махать ластом, Оскар изогнул хвост и хлопнул себя по спине.

— Э, постой-ка! — Хоуторна осенило. В нем вспыхнула надежда. — Постой-ка, ты что, зовешь меня прокатиться?

Дельфоид мигнул обоими глазами. «Может быть, для него мигнуть — все равно что для меня кивнуть головой? А если так, может быть, Оскар и впрямь понимает по-человечьи?!»

Хоуторн бросился за электролизным аппаратом. Скафандр хранился тут же в ящике, Хоуторн натянул его на себя — гибкий, как трико, с равномерным обогревом. Задержал дыхание, отстегнул маску от резервуара и смесителя и вместо них надел два кислородных баллона, превратив обычное снаряжение в акваланг.

На минуту он замялся. Предупредить Джевонса? Или хотя бы отнести коробки с очередными приношениями дельфоидов? Нет, к черту! Это вам не Земля, где пустую бутылку из-под пива и ту нельзя оставить без присмотра, непременно свиснут. А Оскару, пожалуй, надоест ждать. Венериане — да, черт подери, вот так он и будет их называть, и провались она в тартарары, высокоученая осмотрительность в выборе терминологии! — венериане не раз вырвали людей, терпящих бедствие, но никогда еще не предлагали покатать их просто так. Сердце Хоуторна неистово колотилось.

Он бегом кинулся обратно. Оскар лежал в воде совсем рядом с пристанью. Хоуторн сел на него верхом, ухватился за маленький затылочный плавник и прислонился спиной к мускулистому загривку. Длинное тело скользнуло прочь от Станции. Заплескалась вода, лаская босые ступни. Лицо там, где оно не было прикрыто маской, освежал ветер. Оскар взбивал ластами пену, будто завилась снежная метель.

Низко над головой неслись радужные облака, небо на западе прошивали молнии. Мимо проплыл маленький полипоид, килевой плавник его был погружен в воду, отливающая всеми цветами радуги перепонка-парус влекла его вперед. Какой-то дельфоид неподалеку хлопнул хвостом по воде в знак приветствия.

Они скользили так ровно, незаметно, что, оглянувшись, Хоуторн внутренне ахнул: от Станции уже добрых пять миль! И тут Оскар ушел под воду.

Хоуторн немало работал под водой и просто в водолазном костюме, и подолгу — в субмарине либо в батискафе. Его не удивила фиолетовая прозрачность верхних слоев воды, переходящая во все более сочные густые тона по мере того, как опускаешься глубже. И светящиеся рыбы, что проносились мимо, будто радужные кометы, были тоже ему знакомы. Но никогда прежде он не ощущал между коленями этой живой игры мускулов; вдруг он понял, почему на Земле иные богачи все еще держат лошадей.

Наконец они погрузились в прохладную, безмолвную, непроглядную тьму — и вот тут-то Оскар пустился полным ходом. Хоуторна чуть не сорвало встречным током воды, но какое это было наслаждение — так мчаться, держась изо всех сил! Не зрение, какое-то шестое чувство подсказывало ему, что они петляют по пещерам и ущельям в горах, скрытых глубоко под водой. Прошел час, и впереди замерцал свет — далекая слабая искорка. Еще полчаса — и он понял, откуда исходит этот свет.

Он часто бывал у светящихся кораллитовых гряд, но эту видел впервые. По масштабам Венеры этот риф был не так уж далеко от Станции, но даже радиус в двадцать миль охватывает огромную площадь, и люди сюда пока не добрались. Притом обычные рифы не так отличались от своих коралловых собратьев на Земле: причудливая мешанина шпилей, зубцов, откосов, пещер, колдовская, но дикая красота.

А здесь кораллит не был бесформенным. Глазам Хоуторна открылся подводный город.

Позже он не мог в точности припомнить, каков был этот город. Непривычный мозг не умел удержать странные, чуждые очертания. Но ему запомнились изящные рифленые колонны, сводчатые помещения с фантастическими узорами на стенах; здесь высился массив с чистыми, строгими линиями, там изгибалась варварская прихотливая завитушка. Он видел башни, витые, точно бивень нарвала; тончайшие филигранные арки и контрфорсы; и все объединял общий стройный рисунок, легкий, словно брызги пены, и в то же время мощный, точно прибой, опоясывающий целую планету, — грандиозный, сложный, безмятежно спокойный.

Город был построен из сотен пород кораллита, каждая светилась по-своему, и так тонко подобраны были цвета, что на черном фоне океанской глуби играли и переливались все мыслимые тона и оттенки огненно-красного, льдисто-голубого, жизнерадостнозеленого, желтого. И откуда-то, Хоуторн так и не понял откуда, лился слабый хрустальный звон, неумолчная многоголосая симфония — в переплетении этих голосов он не мог разобраться, но вдруг вспомнилось детство и морозные узоры на окнах…

Оскар дал ему поплавать здесь самому и оглядеться. Тут были и еще дельфоиды, они двигались неторопливо, спокойно, многие — с детенышами. Но ясно было, что они здесь не живут. Может быть, это какой-то памятник, или художественная галерея, или… как знать? Город был огромен, опускался отвесно вниз, ко дну океана, по меньшей мере на полмили, ему не видно было конца — вздумай Хоуторн уйти так далеко в глубину, давление

убило бы его. И однако это чудо зодчества, несомненно, создано было не ради каких-либо практических целей. А может быть, не так? Быть может, венериане постигли истину, давно забытую на Земле, хотя древним грекам она была известна: тому, кто мыслит, созерцать красоту столь же необходимо, как дышать.

Чтобы под водой соединилось в одно гармоническое целое столько прекрасного — это, конечно, не могло быть просто капризом природы. И однако этот исполинский дворец не был вырезан, вырублен в древнем подводном хребте. Сколько Хоуторн ни присматривался (а при ровном безогненном пламени видно было превосходно), нигде он не обнаружил следов резца или отливки. Напрашивался единственный вывод: каким-то неведомым способом сородичи Оскара попросту вырастили этот город!

Он совсем забылся. Наконец Оскар легонько толкнул его в бок, напоминая, что пора возвращаться, пока не иссяк кислород. Когда они подплыли к Станции и Хоуторн шагнул на пристань, Оскар мимолетно ткнулся носом ему в ногу, будто поцеловал, и шумно пустил огромный водяной фонтан.

К концу дня — на Венере он тянется сорок три часа — стали вразброд возвращаться лодки. Почти для всех просто минула еще одна рядовая, будничная вахта: сделан десяток-другой открытий, записи и показания приборов пополнились новыми данными, над которыми будешь теперь ломать голову и, возможно, что-нибудь в них поймешь. Люди устало причаливали, разгружали свои суденышки, собирали находки и шли поесть и отдохнуть. А уж после настанет пора копаться во всем этом и спорить до хрипоты.

Вим Дикстра и Джимми Чентун вернулись раньше других и привезли кучу измерительных приборов. Хоуторн в общих чертах знал, чем они занимаются. При помощи сейсмографа и звуковых зондов исследуя ядро планеты, делая анализы минералов, измеряя температуру, давление и изучая еще многое множество всяческих показателей, они пытались разобраться во внутреннем строении Венеры.

Это была часть извечной загадки. Масса Венеры составляет восемьдесят процентов земной, химические элементы здесь те же. Земля и Венера должны быть схожи, как сестры-близнецы. А между тем магнитное поле Венеры так слабо, что обычный компас здесь бесполезен; поверхность планеты такая ровная, что суша нигде не выступает над водой; вулканические и сейсмические процессы не только гораздо слабее, но и протекают, неизвестно почему, совсем иначе; у потоков лавы и у взрывных волн, расходящихся по толще планеты, какие-то свои, неясные законы; горные породы здесь непонятных типов и непонятно

распределены по дну океана. И еще есть несчетное множество странностей, в которые Хоуторн даже не пытался вникать.

Джевонс упомянул, что в последние недели Дикстру все сильней обуревает тайное волнение. Голландец из тех осторожных ученых, которые словом не обмолвятся о своих выводах и открытиях, пока не установят все до конца твердо и неопровержимо. По земному времени он проводит за вычислениями целые дни напролет. Когда кто-нибудь, потеряв терпение, все-таки чудом прорывается к ЭВМ, Дикстра нередко продолжает считать с карандашом в руках. Нетрудно догадаться: он вот-вот разрешит загадку геологического строения планеты.

— Или, может быть, афродитологического? — пробормотал Джевонс. — Но я знаю Вима. За этим кроется не просто любопытство или желание прославиться. У Вима на уме что-то очень серьезное и очень заветное. Надеюсь, он уже скоро доведет дело до конца.

В этот день Дикстра бегом ринулся вниз и поклялся, что никого не подпустит к ЭВМ, покуда не кончит. Чентун еще повертелся тут же, притащил ему сэндвичей и наконец вышел со всеми на палубу: на Станции снова ждали Малыша Мак-Клелана.

Здесь его и нашел Хоуторн.

— Послушайте, Джимми, хватит напускать на себя таинственность. Тут все свои.

Китаец расплылся в улыбке.

— Я не имею права говорить. Я только ученик. Вот получу докторскую степень, тогда начну болтать без умолку, все вы еще пожалеете, что я не выучился восточной непроницаемости.

— Да, но черт возьми, в общем-то всем ясно, чем вы с Вимом занимаетесь, — настаивал Хоуторн. — Как я понимаю, он заранее высчитал, какие примерно показатели получит, если его теория верна. И теперь сопоставляет свои предложения с опытными данными. Так в чем же соль его теории?

— По существу, тут никакого секрета нет, — сказал Чентун. — Это просто подтверждение гипотезы, выдвинутой сто с лишком лет назад, когда мы еще сидели на Земле и никуда не летали. Смысл в том, что ядро Венеры не такое, как у нашей Земли, отсюда и все другие коренные различия. Доктор Дикстра разработал целую теорию, и до сих пор все полученные данные подтверждают ее. Сегодня мы доставили сюда кое-какие измерения, пожалуй, они решат вопрос; это больше по части сейсмического отражения, полученного при взрыве глубинных бомб в океанских скважинах.

— М-мда, кое-что я об этом знаю.

Застывшим взглядом Хоуторн смотрел вдаль. На воде не

видно было ни одного дельфоида. Может быть, они ушли в глубину, в свой прекрасный город? А зачем? «Хорошо, что на вопросы далеко не всегда получаешь ответ, — подумал он. — Если бы на Венере не осталось больше ни одной загадки, уж не знаю, как бы я стал жить».

— Предполагается, что ядро Венеры гораздо меньше земного и далеко не такое плотное, так ведь? — продолжал он вслух.

По правде говоря, это его не слишком занимало, но пока не пришел рейсовый бот, он хотел потолковать с Джимми Чентуном.

Молодой китаец прибыл на Венеру с той самой ракетой, на которой Хоуторн улетал в отпуск. Теперь им долго придется жить бок о бок и хорошо бы сразу завязать добрые отношения. Притом он как будто славный малый.

— Все верно, — кивнул Чентун. — Хотя «предполагается» — не то слово. В основном это уже доказано вполне убедительно и довольно давно. С тех пор доктор Дикстра изучал всякие частности.

— Помнится, я где-то вычитал, что у Венеры вообще не должно быть никакого ядра, — сказал Хоуторн. — Масса недостаточно велика, чтобы возникло достаточное давление или что-то вроде этого. Она должна бы, как Марс, вся, до самого центра, состоять из однотипных горных пород.

— Ваша память вам чуточку изменяет, — заметил Чентун с мягкой, ничуть не обидной иронией. — Но, по правде сказать, не так-то все просто. Видите ли, если при помощи законов количества вывести кривую соотношения между давлением в центре планеты и ее массой, мы не получим спокойной плавной линии. Пока не дойдет примерно до восьми десятых земной массы, кривая нарастает равномерно, но потом, в так называемой точке Игрек, картина меняется. Кривая изгибается так, как будто с возросшим давлением масса уменьшилась, и только после этого провала (он соответствует примерно двум процентам земной массы) опять неуклонно идет вверх.

— Что же происходит в этой точке Игрек? — рассеянно спросил Хоуторн.

— Сила давления возрастает настолько, что в центре начинается распад вещества. Первые кристаллы, уже достигшие возможного предела плотности, разрушаются полностью. Далее, с возрастанием массы планеты, начинается уже распад самих атомов. Еще не ядерный распад, конечно, — для этого понадобилась бы масса порядка звездной. Но электронная оболочка сжимается до предела. И только когда достигнута эта стадия количественного перерождения… когда атом больше не поддается и налицо уже настоящее ядро со специфической силой

тяготения больше десяти… вот только после этого возрастание массы опять влечет за собой равномерный и неуклонный рост внутреннего давления.

— Угу… да, припоминаю, когда-то Вим об этом толковал. Но он обычно не ведет профессиональных разговоров, разве что со своим братом-геологом. А вообще, он предпочитает рассуждать на исторические темы. Значит, если я правильно понял, в ядре Венеры распад зашел не так далеко, как следовало бы?

— Да. При теперешней внутренней температуре Венера только-только миновала точку Игрек. Если бы каким-то способом подбавить ей массы, ее радиус уменьшился бы. Это не случайно — и неплохо объясняет разные здешние странности. Ясно видно, как с самого начала, со времени образования планеты, вещества все прибавлялось, количество его росло до той критической точки, когда Венера начала сжиматься, — и тут-то рост прекратился, и ядро не достигло наибольшей плотности, за которой последовал бы дальнейший непрерывный рост объема, как было с Землей. А поэтому и получилась планета с гладкой поверхностью, без круто поднимающихся массивов, которые могли бы выступить из океана и образовать материки. Раз нет обнаженных горных пород, нет и растительности, способной извлечь из воздуха почти всю углекислоту. А стало быть, жизнь развивается в иной атмосфере. При относительно мощной мантии и не слишком плотном ядре, естественно, сейсмическая, вулканическая деятельность и минералы здесь не те, что на Земле. Ядро Венеры не такой хороший проводник, как земное, — ведь с распадом вещества проводимость возрастает, — а значит, циркулирующие в нем токи гораздо слабее. Поэтому и магнитное поле у Венеры незначительно.

— Все это очень интересно, — сказал Хоуторн. — Но к чему такая таинственность? Вы отлично поработали, это верно, но доказали всего-навсего, что на Венере атомы подчиняются законам количества. Едва ли столь неожиданное открытие перевернет мир.

Чентун едва заметно повел плечом.

— Это было труднее, чем кажется, — сказал он. — Но все правильно. Наши новые данные недвусмысленно подтверждают, что ядро Венеры именно такого типа, какой может быть в существующих условиях.

Во время долгой венерианской ночи Чентун, превосходно говоривший по-английски, как-то попросил Хоуторна поправлять его ошибки в языке, и теперь американец заметил:

— Вероятно, вы хотели сказать — такой тип ядра и должен быть в этих условиях.

— Нет, я сказал именно то, что хотел сказать, это не тавтология. — Чентун ослепительно улыбнулся. Обхватил себя руками за плечи и сделал несколько легких, скользящих шагов, словно танцевать собрался. — Но это детище доктора Дикстры. Пусть уж он сам поможет младенцу появиться на свет.

И Джимми Чентун круто переменил разговор. Хоуторн даже смутился от неожиданности, но решил не обижаться. А вскоре в облаках засверкала и медленно опустилась на воду ракета Мак-Клелана. Зрелище великолепное, но Хоуторн поймал себя на том, что почти и не смотрит. Он все еще мысленно был в толще океана, в живом храме венериан.

Через несколько часов после захода солнца Хоуторн положил на стол пачку отчетов. Крис Дил и Мамору Мацумото совершили чуть ли не подвиг. Даже сейчас, на самых первых подступах к серьезным исследованиям, их теория ферментного симбиоза открыла просто фантастические возможности. Тут новой науке хватит работы по меньшей мере на столетие. И эта работа поможет так глубоко проникнуть в тайны жизненных процессов не только на Венере, но и на Земле, как люди еще недавно не смели и надеяться.

И можно ли предсказать, сколько все это принесет человечеству прямых, ощутимых благ? Открываются такие горизонты, что дух захватывает. У него ведь и у самого зреют кое-какие планы… да, да, и теперь он даже догадывается, хоть и смутно, каким образом венериане создали тот чудесный подводный город… Но когда час за часом напряженно и сосредоточенно работаешь головой, требуется передышка. Хоуторн вышел из своего крохотного кабинетика и побрел по коридору в кают-компанию.

Станция гудела, как улей. Едва ли не все пятьдесят человек сейчас работали. Одни несли очередную вахту, проверяли аппаратуру, разбирали и укладывали товары для обмена и занимались всякой иной обыденщиной. Другие с упоением хлопотали над пробирками, микроскопами, спектроскопами и прочей, уж вовсе не понятной снастью. Иные, примостясь у лабораторного стола, варили на бунзеновской горелке кофе и яростно спорили либо — с трубкой в зубах, задрав ноги повыше и закинув руки за голову, — в муках рождали новую идею. Кое-кто заметил проходящего мимо Хоуторна и дружески его окликнул. И сама Станция привычно бормотала что-то: приглушенно гудели машины, жужжали вентиляторы, вокруг дышал не знающий покоя океан — и от этого все тихонько вздрагивало.

Славно вернуться домой!

Хоуторн поднялся по трапу, прошагал еще одним коридором

и вошел в кают-компанию. В углу Джевонс читал своего излюбленного Монтеня. Мак-Клелан и Чентун играли в кости. В просторной комнате больше никого не было. За прозрачной стеной открывался океан, сейчас он был почти черный, в мутных разводах и кружеве золотого свечения.

Небо как бы расслаивалось на бесчисленные серые и голубые пласты, низко повисшую над водой дымку пронизывали лучи северного сияния, запад чернел и вспыхивал молниями — надвигалась буря. И нигде ни признака жизни, только на горизонте, извиваясь, стремительно скользил сорокафутовый морской змей, зубастая пасть роняла фосфоресцирующие брызги.

Мак-Клелан поднял голову.

— А, Нат! Сыграем?

— Я же только из отпуска, — напомнил Хоуторн. — Чем мне прикажешь расплачиваться?

Он подошел к самовару и налил себе чашку чая.

— А ну, друзья, — возгласил Джимми Чентун, — проверим закон распределения старика Максвелла.

Хоуторн подсел к столу. Он все еще не решил, как бы поосторожнее рассказать об Оскаре и о подводном храме. Надо было сразу доложить Джевонсу, но, возвратясь, он несколько часов ходил как шальной и не мог опомниться, и потом — тут просто не подберешь слов. Вот если бы можно было вовсе не говорить… Когда смолоду приучен к сдержанности, больше всего боишься выдать свои чувства.

Впрочем, он подготовил кое-какие логические выводы. Венериане по меньшей мере столь же разумны, как строители Тадж Махала; они наконец решили, что двуногим пришельцам стоит кое-что показать и, возможно, понемногу откроют людям богатства и тайны своей планеты. Хоуторна обожгло горечью и яростью.

— Капитан, — начал он.

— Да?

Терпеливо, как всегда, когда его прерывали, Джевонс опустил толстый, потрепанный том.

— Сегодня случилось нечто неожиданное, — сказал Хоуторн.

Джевонс не сводил с него проницательного взгляда. Чентун кинул кости и словно забыл об игре, Мак-Клелан тоже. Слышна была тяжкая поступь волн за стеной, ветер усиливался.

— Рассказывайте, — подбодрил Джевонс.

— Я стоял на торговом причале, и в это время…

Вошел Вим Дикстра. Башмаки его гремели по металлическому полу. Хоуторн запнулся и умолк. Голландец бросил на стол с полсотни сколотых вместе листов бумаги.

Казалось, эта пачка должна зазвенеть, точно меч, вызывающий на поединок, но слышен был только голос ветра.

Глаза Дикстры сверкали.

— Кончил! — сказал он.

— Ах, черт возьми! — вырвалось у Чентуна.

— Что нового в подлунном мире? — по-стариковски мягко спросил Джевонс.

— Да не в подлунном, — вставил Мак-Клелан. У него пересохло в горле, он уставился на Дикстру во все глаза и ждал.

Несколько секунд геофизик молча смотрел на них. Потом коротко засмеялся.

— Я пробовал сочинить подобающее случаю торжественное изречение, — сказал он, — да ничего не пришло на ум. Вот так оно и бывает в исторические минуты.

Мак-Клелан взял было бумаги Дикстры и, передернувшись, положил на место.

— Послушайте, математика хорошая штука, но все-таки не до бесчувствия. Что означают эти загогулины?

Дикстра достал сигарету, не торопясь закурил. Глубоко затянулся и сказал нетвердым голосом:

— Последние недели я разрабатывал в подробностях одну старую, малоизвестную гипотезу, ее впервые выдвинул Рэмси еще в тысяча девятьсот пятьдесят первом году. Я применил ее к условиям Венеры. И добыл здесь такие данные, которые непреложно доказывают мою правоту.

— Кто же на этой планете не мечтает о Нобелевской премии? — заметил Джевонс.

Он был мастер охлаждать страсти, но на сей раз его суховатый тон не подействовал. Дикстра уставил на него рдеющую сигарету, словно револьвер, и ответил:

— Плевать я хотел на премию. У меня на уме техническая задача такого размаха и значения, какой еще не знала история.

Все ждали. Непонятно отчего, Хоуторн весь похолодел.

— Колонизация Венеры, — докончил Дикстра.

Слова его канули в молчание, как в глубокий колодец.

Потом донесся всплеск — Малыш Мак-Клелан сказал:

— А может, море Минданао все-таки поближе к дому?

Но Хоуторн расплескал чай и обжег пальцы.

Коротко, нервно затягиваясь сигаретой, Дикстра принялся шагать из угла в угол. Заговорил отрывисто:

— Земная цивилизация все больше приходит в упадок, и главная причина та, что мы задыхаемся, мы стиснуты, как сельди в бочке. С каждым днем народу на Земле становится все больше,

а природных ресурсов все меньше. Не осталось никаких экзотических чужеземцев, некому объявить войну, чтобы захватить новые территории… вот мы и варимся в собственному соку и готовим себе самую распоследнюю атомную гражданскую войну. Если бы нам было куда податься — другое дело! Ну, конечно. Земля так перенаселена, что от эмиграции на другую планету станет ненамного легче… Хотя, раз понадобятся такие перевозки, наверняка будут построены лучшие, более экономичные ракеты. Но уже одно то, что людям есть куда податься, — пускай в самые трудные условия, зато чтоб была свобода и возможность действовать; уже от одного этого и те, кто останется дома, почувствуют себя совсем иначе. На худой конец, если уж земная цивилизация разваливается, лучшие люди будут на Венере, они сохранят и разовьют все, что было за Земле хорошего, отбросят и забудут все плохое. Человечество сможет начать все сначала, понимаете?

— Слов нет, теория приятная, — медленно произнес Джевонс. — Но что до Венеры… Нет, не верю я, что постоянная колония может чего-то достичь, когда колонисты вынуждены жить на плотах сложной конструкции и не смеют высунуть нос наружу без маски.

— Ну, конечно, — подтвердил Дикстра. — Потому я и говорю — техническая задача. Превратить Венеру во вторую землю.

— Погодите! — крикнул Хоуторн и вскочил.

Никто и не поглядел в его сторону. Для всех сейчас существовал только смуглый темноволосый голландец с его пророчествами. Хоуторн стиснул руки и сверхчеловеческим усилием, напрягая каждую мышцу, заставил себя сесть.

Сквозь облако табачного дыма Дикстра сказал:

— Известно вам строение этой планеты? Ее масса только-только перевалила за точку Игрек…

Даже и тут Мак-Клелан не стерпел:

— Нет, мне неизвестно. Что за точка такая?

Но это сорвалось у него непроизвольно и осталось без ответа. Дикстра смотрел на Джевонса; тот кивнул. И геофизик торопливо стал объяснять:

— Так вот, когда кривая «масса — давление» вдруг падает, это показатель неоднозначный. В центре планеты с такой массой, как у Венеры, может существовать троякое давление. Одно, какое сейчас налицо, соответствует малому ядру сравнительно невысокой плотности при мантии большего объема, состоящей из горных пород. Но возможен ведь и случай более высокого давления, когда у планеты большое переродившееся ядро, а соответственно больше общая плотность и меньше радиус. С

другой стороны, в точке Игрек возможен и случай еще более низкого давления в центре. Тогда мы получаем планету без настоящего ядра, состоящую, наподобие Марса, из перемежающихся слоев горных пород и магмы. Так вот, это двусмысленное состояние неустойчиво. Существующее сейчас небольшое ядро может перейти в иную фазу. Это положение неприменимо ни к Земле — ее масса слишком велика, ни к Марсу, у которого масса недостаточна. Но у Венеры она очень близка к критической точке. Если нижний слой мантии спадет, ядро станет больше, общий радиус планеты — меньше, а высвобождаемая энергия проявит себя в сотрясениях и, в последнем счете, — в разогреве.

Дикстра чуть помолчал, будто хотел, чтобы следующие слова его прозвучали еще весомей.

— С другой стороны, если уже разрушенные атомы нынешнего малого ядра возвратить к уровню более высокой энергии, к поверхности двинутся волны разрушительных колебаний, произойдет взрыв поистине астрономических масштабов, и, когда все снова успокоится, Венера станет больше, чем теперь, но менее плотной — планетой без ядра!

— Постой, приятель! — сказал Мак-Клелан. — Так что же, по-твоему, этот чертов мячик того и гляди взорвется у нас под ногами?

— Нет, нет, — сказал Дикстра спокойнее. — При теперешней температуре масса Венеры несколько выше критической. Ее ядро сейчас во вполне устойчивом состоянии, и на этот счет можно не волноваться еще миллиард лет. Притом если температура и возрастет настолько, чтобы вызвать расширение, оно не будет таким бурным, как полагал Рэмси, потому что масса Венеры все-таки больше установленной им для точки Игрек. Взрыв не выбросит значительного количества материи в пространство. Но разумеется, он поднимет на поверхность океана материки.

— Ого! — Джевонс вскочил. (Хоуторн словно проваливался в гнетущий кошмар. За стенами усиливался ветер, океан кипел: шторм надвигался ближе.)

— Так, значит, по-вашему… радиус планеты увеличивается, резче обозначаются неровности коры…

— И на поверхность выносятся более легкие горные породы, — докончил Дикстра и кивнул. — Вот, все это у меня рассчитано. Я даже могу предсказать, какова примерно получится площадь суши — почти равная земной. Вновь поднятые из океана горные породы станут в огромном количестве поглощать двуокись углерода, образуя углекислые соли. И в то же время для фотосинтеза можно все засеять специально выведенными видами

земной растительности — вроде хлореллы и прочего, чем мы сейчас поддерживаем воздух на межпланетных кораблях.

Все это буйно пойдет в рост, высвобождая кислород, и довольно скоро будет достигнуто необходимое соотношение. Я вам покажу, что состав атмосферы можно установить точно такой, как сейчас на Земле. Кислород образует слой озона, он преградит доступ ультрафиолетовым лучам, — сейчас, конечно, уровень облучения убийственный. И в конце концов — еще одна Земля! Разумеется, более теплая, с более мягким климатом — для человека нигде не будет чересчур жарко, — все еще окутанная облаками, потому что ближе к солнцу, но все равно: Вторая Земля!

Хоуторн встряхнулся, пытаясь собраться с силами, — ему казалось, он выжат, как лимон. И подумал тупо: один веский практический вывод против — и все это кончится, и тогда можно будет проснуться.

— Постой-ка, — сказал он каким-то чужим голосом. — Это блестящая мысль, но все процессы, о которых ты говоришь… ну, в общем, материки, наверно, можно поднять за сколько-то часов или дней, но изменить атмосферу — на это уйдут миллионы лет. Слишком долго, чтобы люди могли этим воспользоваться.

— Ничуть не бывало, — возразил Дикстра. — В этом я тоже разобрался. Существуют катализаторы. Притом выращивать микроорганизмы в благоприятных условиях, когда у них нет никаких естественных врагов, проще простого. Я рассчитал: даже не изобретая ничего нового, пользуясь только той техникой, которая уже создана, мы за пятьдесят лет приведем Венеру в такой вид, чтоб человек мог преспокойно разгуливать по ней нагишом.

А если мы захотим вложить в это больше труда, денег, больше научно-исследовательской работы, это можно проделать еще быстрей. Ну, конечно, придется попотеть над плодородием почвы, удобрять, сажать, медленно и мучительно устанавливать экологию Но опять-таки лиха беда начало. Первые поселенцы устроят для себя на Венере оазисы площадью в несколько квадратных миль, а уж потом на досуге их можно расширять сколько душе угодно. Можно вывести специальные виды растений и возделывать даже первозданную пустыню.

В океане, понятно, жизнь будет развиваться куда быстрей и без помощи человека. Так что скоро венериане смогут заняться рыбной ловлей, разводить всякие водоросли и тюленей. Развитие планеты пойдет даже быстрей, чем будет расти ее население, я вам это докажу с цифрами в руках! Первопоселенцам есть на что надеяться — их внуки станут богачами!

Хоуторн выпрямился на стуле.

— Тут уже есть венериане, — пробормотал он.

Его никто не услышал.

— Обождите-ка, — вмешался Мак-Клелан. — Первым делом растолкуйте мне, как вы взорвете этот шарик?

— Да разве непонятно? — удивился Дикстра. — Возросшая температура ядра даст энергию, чтоб привести еще сколько-то тонн материи в более высокое квантовое состояние. Тем самым давление снизится достаточно, чтобы дать толчок всему остальному. Довольно было бы взорвать одну хорошую водородную бомбу в самой сердцевине планеты — и готово! К сожалению, туда не доберешься. Придется пробурить на дне океана несколько тысяч скважин и устроить во всех одновременно солидный ядерный взрыв. И это никакая не хитрость. Радиоактивных осадков выпадет ничтожно мало, а то, что попадет в атмосферу, за несколько лет рассеется. Атомных бомб у нас хватит. Честно говоря, их уже наготовлено куда больше, чем тут потребуется. И право же, куда лучше использовать их таким образом, чем копить и копить, чтобы потом уничтожить одним махом все человечество.

— А кто даст деньги? — неожиданно спросил Чентун.

— Любое правительство, у которого хватит ума заглянуть вперед, если уж правительства на Земле не сумеют для этого объединиться Да не все ли равно! Государства и политические режимы преходящи, нации вымирают, культуры исчезают бесследно. Но человечество должно выжить — вот что мне важно! Обойдется вся эта операция не так дорого, не дороже, чем стоит один военный спутник, а выгоды, даже выраженные в самых грубых приблизительных цифрах, огромны. Прикиньте, сколько тут можно добывать урана и других материалов, которые на Земле почти истощились?

Дикстра обернулся к прозрачной стене. Буря уже надвинулась на Станцию. Под кессонами дыбились волны, ярились, разбивались светящейся пеной. Мощные неотвратимые удары сотрясали сталь и бетон, словно некий исполин, играя каждым мускулом, поводил могучими плечами. На палубу шквал за шквалом обрушивался ливень. Непрестанные вспышки молний отражались на худом лице Дикстры; перекатывался гром.

— Новая планета, — прошептал он.

Хоуторн снова встал. Подался вперед, уперся кончиками пальцев в стол. Пальцы окоченели. Собственный голос опять казался ему чужим.

— Нет, — сказал он. — Это невозможно.

— А? — Дикстра обернулся, словно бы неохотно отрываясь от

созерцания бури. — Что такое, Нат?

— Ты убьешь планету, на которой есть своя жизнь, — сказал Хоуторн.

— Ну… верно, — согласился Дикстра. — Да. Впрочем, вполне гуманно. Первая же взрывная волна уничтожит все живые организмы, они просто не успеют ничего почувствовать.

— Но это убийство! — крикнул Хоуторн.

— Да брось ты, — сказал Дикстра. — К чему излишняя чувствительность? Согласен, жаль погубить такую интересную форму жизни, но когда дети голодают и один народ за другим попадает во власть деспотизма…

Он пожал плечами и улыбнулся.

Джевонс все еще сидел, поглаживая худой рукой свою книгу, будто хотел пробудить к жизни друга, умершего пять веков назад. В лице его была тревога.

— Все это слишком внезапно, Вим, — сказал он. — Дайте нам время переварить вашу идею.

— О, времени хватит, впереди не год и не два! — Дикстра рассмеялся. — Пока еще мой доклад дойдет до Земли, пока его напечатают, обсудят, предадут широкой гласности, пока будут переругиваться и ломать копья… да потом еще снарядят солидные ученые экспедиции, и они проделают всю мою работу сызнова и станут цепляться по пустякам, и… не бойтесь, по меньшей мере десять лет ничего путного нельзя будет начать. А вот потом мы, вся Станция, с нашим опытом, будем совершенно необходимы для этого дела.

— Ух, ты! — сказал Мак-Клелан, легкомысленным тоном прикрывая волнение. — Четвертого июля будет мне праздник: вы подпалите эту планету, а я буду любоваться фейерверком.

— Не знаю… — Джевонс невидящим взглядом смотрел прямо перед собой.

— Тут еще вопрос — благоразумия, осторожности — назовите как угодно. Венера — такая, как она есть, — может нас многому научить. Столько нового, неизвестного… хватит на тысячу лет. А вдруг мы приобретем два-три континента, зато никогда не поймем секрета жизни или не найдем ключа к бессмертию (если к нему стоит стремиться) или к каким-то философским открытиям. — Не слишком ли дорогая цена за новые материки? Не знаю…

— Ну, тут можно спорить, — согласился Дикстра. — Так пусть спорит все человечество.

Джимми Чентун улыбнулся Хоуторну.

— По-моему, капитан прав. И я понимаю, вы как ученый и не можете думать иначе. Несправедливо отнимать у вас дело всей

вашей жизни. Я, конечно, буду стоять за то, чтобы подождать, по крайней мере, сто лет.

— Пожалуй, это многовато, — возразил Дикстра. — Если не открыть какой-то предохранительный клапан, вполне возможно, что земная цивилизация, основанная на технике, столько не протянет.

— Вы ничего не понимаете! — выкрикнул Хоуторн.

Он стоял и смотрел им в глаза. Но свет падал на лицо Дикстры так, что глаза отсвечивали, точно бельма: не лицо, а череп со слепыми белыми пятнами вместо глаз. Хоуторну казалось — он обращается к глухим. Или к мертвецам.

— Вы ничего не понимаете! — повторил он. — Я хлопочу не о своей работе и не о науке, ничего похожего. Это же прямое, бессовестное убийство. Убить целый разумный народ! А если на Землю нагрянут какие-нибудь жители Юпитера и вздумают переделать нашу атмосферу на водородную? Как вам это понравится? Нет, мы просто чудовища, только чудовища могут задумать такое!

— Ох, увольте! — пробормотал Мак-Клелан. — Снова здорово. Лекция номер двадцать восемь бис. Я уж наслушался, пока летели сюда с Земли, мне все уши прожужжали.

— Извините, — заметил Чентун, — но это очень важный вопрос.

— С дельфоидами и в самом деле все это непросто, — согласился Джевонс. — Впрочем, мне кажется, ни один ученый никогда не высказывался против вивисекции даже в отношении наших ближайших родичей обезьян, если это делалось во имя человечества.

— Дельфоиды — не обезьяны! — побелевшими губами сказал Хоуторн. — Они больше люди, чем вы.

— Одну минуту, — вмешался Дикстра. Он оторвался от созерцания молний и подошел к Хоуторну. Радость победы в его лице померкла, оно стало серьезное, озабоченное. — Я понимаю, Нат, у тебя сложилось свое мнение на этот счет. Но в сущности, у тебя же нет доказательств…

— Нет, есть! — выдохнул Хоуторн. — Все-таки я их получил. Весь день я не знал, с чего начать, но теперь я вам скажу!

И меж раскатами грома он наконец нашел слова для того, что показал ему Оскар.

Постепенно даже ветер будто притих, и какое-то время слышался только говор дождя да ропот волн далеко внизу. Мак-Клелан опустил глаза и уставился на игральные кости, которые машинально вертел и вертел в пальцах. Чентун потирал подбородок и улыбался невесело. Зато Джевонс был теперь

невозмутимо спокоен и решителен. Прочесть что-либо по лицу Дикстры было трудней, выражение его поминутно менялось. Наконец он принялся деловито раскуривать новую сигарету.

Молчание стало нестерпимым.

— Так как же? — надтреснутым голосом выговорил Хоуторн.

— Безусловно, это еще больше осложняет дело, — сказал Чентун.

— Это ничего не доказывает, — отрезал Дикстра. — Посмотрите, что строят за Земле пчелы да птицы-беседочницы.

— Э-э, Вим, ты поосторожней! — сказал Мак-Клелан. — Не вздумай уверять, что мы и сами просто зазнавшиеся муравьи.

— Вот именно, — сказал Хоуторн. — Завтра возьмем субмарину, к я вам это покажу, а может быть Оскар сам нас поведет. Прибавьте это открытие ко всем прежним намекам и догадкам — и, черт подери, попробуйте после этого отрицать, что дельфоиды разумны! Они мыслят не совсем так, как мы, но уж никак не хуже!

— И, вне всякого сомнения, могут нас многому научить, — сказал Чентун. — Вспомните, как много переняли друг от друга мой народ и ваш, а мы ведь все — один и тот же род человеческий.

Джевонс кивнул.

— Жаль, что вы не рассказали мне все это раньше, Нат. Тогда, конечно, не было бы этого спора.

— Ну, ладно, — вздохнул Мак-Клелан. — Придется мне четвертого июля запалить самые обыкновенные шутихи!

Косой дождь хлестал в стену. Еще вспыхивали иссиня-белые молнии, но гром уже откатывался дальше. Океан сверкал языками холодного пламени.

Хоуторн посмотрел на Дикстру. Голландец был весь как натянутая струна. И у Хоуторна, которого было чуть отпустило, тоже вновь напрягся каждый нерв.

— Итак, Вим? — сказал он.

— Да-да, конечно! — отозвался Дикстра. Он побледнел. Выронил изо рта сигарету и даже не заметил. — Не то чтобы ты меня окончательно убедил, но, наверное, это просто потому, что уж очень горько разочарование. Нет, риск совершить геноцид слишком велик, на это идти нельзя.

— Умница, — улыбнулся Джевонс.

Дикстра стукнул кулаком по ладони.

— Ну а мой доклад? Что мне с ним делать?

В его голосе прозвучала такая боль, что Хоуторн был потрясен, хоть и ждал этого вопроса.

Мак-Клелан спросил испуганно:

— Но ведь твое открытие хуже не стало?!

И тогда Чентун высказал вслух то, о чем с ужасом думал каждый:

— Боюсь, доклад посылать не придется, доктор Дикстра. Как это ни прискорбно, нашим сородичам нельзя доверить такие сведения.

Джевонс прикусил губу.

— Мне очень не хотелось бы так думать. Мы не истребим расчетливо и хладнокровно миллиард с лишком жизней ради… ради своего удобства.

— В прошлом мы не раз и не два поступали именно так, — угасшим голосом произнес Дикстра.

«Я прочитал достаточно книг по истории, Вим, и у меня на этот счет особое мнение, — подумал Хоуторн. И стал считать, загибая пальцы: — Троя, Иерихон, Карфаген, Иерусалим, альбигойцы, Бухенвальд. Хватит!» — подумал он, его замутило.

— Но ведь… — начал Джевонс. — Уж конечно, в наши дни…

— В лучшем случае соображения человечности удержат Землю лет на десять, на двадцать, — сказал Дикстра. — А потом она наверняка нанесет удар. Жестокость и озверение распространяются с такой быстротой, что и на двадцать лет надежды мало, но допустим. Ну а дальше? Сто лет, тысячу — сколько времени мы устоим, когда перед нами такой соблазн, а мы все больше задыхаемся в нищете? Едва ли мы сможем вечно бороться с таким искушением.

— Коли дойдет до выбора — завладеть Венерой или смотреть, как пропадает человечество, скажу по-честному, — тем хуже для Венеры, — заявил Мак-Клелан. — У меня жена и детишки.

— Тогда скажи спасибо, что мы до этого не доживем, выбирать придется нашим детям, — сказал Чентун.

Джевонс кивнул. Он словно разом постарел, теперь это был человек, чей путь близится к концу.

— Вам придется уничтожить доклад, Вим, — сказал он. — Совсем. И никто из нас никогда ни словом о нем не обмолвится.

Хоуторн готов был разреветься, но не мог. Какая-то преграда росла внутри, невидимая рука взяла за горло.

Дикстра медленно перевел дух.

— По счастью, я все время держал язык за зубами, — выговорил он. — Никому и полслова не сказал. Хоть бы только меня не уволили, еще решат — лодырь, столько месяцев там торчит, а толку ни на грош.

— Уж об этом я позабочусь, Вим, — промолвил Джевонс. В шуме дождя голос его прозвучал бесконечно мягко и ласково.

Руки Дикстры заметно дрожали, но он оторвал первый лист своей работы, скомкал, бросил в пепельницу и поджег.

Хоуторн сломя голову бросился вон из комнаты.

Снаружи — по крайней мере после дневной жары — было прохладно. Буря пронеслась, моросил дождь, он брызнул на обнаженную кожу. Когда солнца не было, Хоуторн обходился шортами да кислородной маской. От этого возникало странное ощущение легкости, как будто опять стал мальчишкой и бродишь летом по лесу. Но те леса уже давно вырублены. Падая на палубу Станции и на воду, дождь звучал совсем по-разному, но обе ноты были на удивление чисты и звонки.

А океан еще не утих, вода со свистом и грохотом била о кессоны, завивалась черными воронками. В воздухе слабо сквозило северное сияние, от него небо чуть подернулось розовой дымкой. Но когда Нат Хоуторн отошел подальше от освещенных окон, больше всего света стало от океана: крутые валы излучали зеленое сияние и, рассыпаясь пеной, вспыхивали белизной. Там и сям воду словно вспарывал черный нож — на миг возникал из глубин какой-нибудь океанский житель.

Хоуторн прошел мимо пулемета к торговому причалу. Тяжелые волны перекатывались тут, доходя ему до колен, и обдавали его зеленоватыми искрящимися брызгами. Он ухватился за поручень и напряженно вглядывался в завесу дождя: хоть бы приплыл Оскар!

— Хуже всего, что у наших-то намерения самые что ни на есть благие, — сказал он вслух.

Над головой пролетело что-то живое: тень, шелест крыльев.

— Врет эта пословица, — пробормотал он. И вцепился в поручень, хотя можно бы, пожалуй, надеяться, что его смоет волной… когда-нибудь венериане разыщут на дне его кости и доставят на Станцию… и не возьмут за это платы.

— Кто будет сторожить сторожей? Очень просто: сами же сторожа, ибо что проку от сторожей бесчестных. Но вот как быть с тем, что сторожишь? Оно само — на стороне врага. Вим и капитан Джевонс, Джимми Чентун и Малыш… и я. Мы-то можем сохранить тайну. А природа не может. Рано или поздно кто-нибудь проделает ту же работу. Мы надеемся, что Станция будет расширена. Тогда здесь появятся и еще геофизики и… и… Оскар! Оскар! Где тебя носила нелегкая, черт возьми!

Океан ответил, но на языке, Хоуторну незнакомом.

Его трясло, зуб на зуб не попадал. Никакого смысла тут околачиваться. Совершенно ясно, что надо делать. И если сперва поглядеть на безобразную добродушную морду Оскара, еще

вопрос, легче ли потом будет сделать это. Возможно, станет куда трудней. А пожалуй, и вовсе невмочь.

«Может быть, поглядев на Оскара, я соберусь с мыслями, — подумал Хоуторн, чувствуя, как в мозгу отдается эхо громов с высот Синая. — Я не могу. Еще не могу. Боже правый, ну почему я такой фанатик? Подождал бы, пока все это предадут гласности и начнут обсуждать, заявил бы особое мнение, как пристало всякому порядочному борцу за справедливость, организовал бы парламентские группы нажима, воевал бы как положено, по всем правилам и законам. А может быть, секрет не раскроется до конца моей жизни — и какое мне дело, что будет после? Я-то этого уже не увижу. Нет. Этого мало. Мне нужна уверенность. Не в том, что восторжествует справедливость — это невозможно, но что не совершится несправедливость. Потому что я одержимый. Никто, ни один человек не в силах все предусмотреть, — думал он в ту дождливую, ветреную ночь. — Но можно сделать расчеты и соответственно действовать. Голова стала ясная, мысль работает быстро и четко — теперь обдумаем, что нам известно.

Если Станция перестанет приносить доход, люди больше сюда не полетят. Во всяком случае, полетят очень не скоро, а тем временем мало ли что может случиться… Венериане смогут подготовиться к самозащите, или даже, чем черт не шутит, человечество научится держать себя в руках. Быть может, люди никогда не вернутся. Возможно, цивилизация, основанная на технике, рухнет и уже не возродится. Пожалуй, так будет лучше всего, каждая планета сама по себе, каждая сама определит свою судьбу. Но это все рассуждения. Пора заняться фактами.

Пункт первый: если Станция „Венера“ сохранится, а тем более, что очень возможно, будет расширена, кто-нибудь наверняка повторит открытие Дикстры. Если нашелся один человек, который после нескольких лет любопытства и поисков разгадал секрет, то уж конечно не позже чем через десять лет кто-то другой или двое, трое сразу ощупью придут к той же истине.

Пункт второй: Станция сейчас экономически зависит от добровольной помощи дельфоидов.

Пункт третий: если Станция будет разрушена и Компании доложат, что разрушили ее враждебные людям дельфоиды, очень мало вероятно, чтобы Компания стала ее восстанавливать.

Пункт четвертый: даже если бы такую попытку и сделали, от нее очень скоро вновь откажутся при условии, что дельфоиды и впрямь станут избегать людей.

Пункт пятый: в этом случае Венеру оставят в покое.

Пункт шестой: если верить в бога, в грех и прочее, во что он, Хоуторн, не верит, можно бы доказать, что человечеству это будет

только на благо, ибо оно не отягчит совесть свою бременем гнуснейшего деяния, которому равного не видано со дня некоего события на Голгофе.

Беда в том, что на человечество мне в общем-то наплевать. Главное — спасти Оскара. А быть может, оттого и начинаешь так горячо любить чужой народ, что втайне возненавидел свой?

Наверно, все-таки можно как-нибудь убежать от этого кошмара. Но у человека нет ластов, и он не может дышать без кислорода, человеку остается лишь один путь — назад, через Станцию».

Он поспешно пошел по безмолвному, ярко освещенному коридору к трапу, ведущему глубоко вниз, в самые недра Станции. Вокруг ни души. Словно весь мир обратился в прах, и он — последний из живых.

Он вошел в кладовую — и отшатнулся, как от удара: тут кто-то был. Призраки, тени… какое право имеет тень того, кто еще не умер, явиться здесь в такую минуту?

Человек обернулся. Это был Крис Дил, биохимик.

— Это ты, Нат? — удивился он. — Что ты тут делаешь в такое время?

Хоуторн облизнул пересохшие губы. Обычный воздух, такой же, каким дышишь на Земле, обжигал и душил.

— Мне нужен инструмент, — сказал он. — Дрель, вот что… Небольшая электрическая дрель.

— Бери, сделай милость, — разрешил Дил.

Хоуторн достал дрель со стеллажа. Руки так затряслись, что он ее тут же выронил. Дил удивленно посмотрел на него.

— Что случилось, Нат? — мягко спросил он. — Какой-то у тебя кислый вид.

— Нет, ничего, — еле слышно ответил Хоуторн. — Все в порядке.

Он подобрал дрель и вышел.

Арсенал, всегда запертый, помещался глубоко в трюме Станции. Хоуторн ощущал, как под ногами, под днищем корпуса, вздымается океан Венеры. Это придало ему силы, он дрелью вскрыл замок, вошел в арсенал, взломал ящики с взрывчаткой и приладил запал. Но потом никак не мог вспомнить, как он установил дистанционный взрыватель на срок. Знал только, что сделал и это.

Затем какой-то провал — он не помнил, как очутился в помещении, где хранились лодки, и вот он стоит здесь и грузит в маленькую субмарину океанографические глубинные бомбы. И опять вокруг ни души. Некому спросить, что он тут делает. Чего опасаться его братьям со Станции «Венера»?

Хоуторн скользнул в субмарину и через шлюз вывел ее в океан. Спустя несколько минут его тряхнуло. Взрыв был не очень силен, но отдался во всем существе Хоуторна таким громом, что он, оглушенный, не заметил, как пошла ко дну Станция «Венера». Лишь потом он увидел, что от нее ничего не осталось. Над тем местом кружил сверкающий фейерверком водоворот, среди пены и брызг крутились, подскакивали какие-то обломки.

Он определился по компасу и пошел на погружение. Вскоре перед ним засветился кораллитовый город. Долгие минуты он смотрел на чудесную гармонию шпилей и гротов, потом ужаснулся: вдруг не хватит сил сделать то, что нужно… И он поспешно сбросил бомбы и ощутил, как содрогнулось его суденышко, и увидел, как храм обратился в развалины.

А потом он всплыл на поверхность. Он вышел на палубу субмарины и всей кожей ощутил прохладу дождя. Вокруг собирались дельфоиды. Он не мог их разглядеть, лишь урывками мелькали то ласт, то спина, зеленоватой вспышкой разрезая огромные волны, да один раз у низких поручней вынырнула голова — в этом неверном фосфорическом свете у дельфоида было почти человеческое лицо, лицо ребенка.

Хоуторн припал к пулемету и закричал, но они не могли понять, да и ветер рвал его слова в клочки.

— Я не могу иначе! — кричал он. — Поймите, у меня нет выбора! Как же еще объяснить вам, каково мое племя, когда его одолеет жадность? Как заставить вас избегать людей? А вы должны нас избегать, иначе вам не жить! Вы погибнете — можете вы это понять? Да нет, где вам понять, откуда. Вы должны научиться у нас ненависти, ведь сами вы ненавидеть не умеете…

И он дал очередь по теснящимся перед ним, застигнутым врасплох дельфоидам.

Пулемет неистовствовал еще долго, даже когда вблизи не осталось ни одного живого венерианина. Хоуторн стрелял, пока не кончились патроны. Тут только он опомнился. Голова была спокойная и очень ясная, будто после яростного приступа лихорадки. Такую ясность он знавал в детстве, мальчишкой — проснешься, бывало, ранним летним утром, и косые солнечные лучи весело врываются в окно, в глаза… Он вернулся в рубку и спокойно, взвешивая каждое слово, вызвал по радио орбитальный корабль.

— Да, капитан, это дельфоиды, тут не может быть ни тени сомнения. Не знаю, как они это проделали. Возможно, разрядили какие-то наши бомбозонды — притащили их назад к Станции и тут взорвали. Так или иначе. Станция уничтожена. Я спасся на субмарине. Видел мельком еще двух человек в открытой лодке,

хотел их подобрать, но не успел — на них напали дельфоиды. Прямо у меня на глазах проломили лодку и убили людей… Да нет же, просто ума не приложу почему! Не все ли равно почему да отчего! Мне лишь бы ноги отсюда унести.

Услыхав, что скоро за ним придет рейсовый бот, он включил автосигнал локации и без сил растянулся на койке. «Вот и конец, — подумал он благодарно и устало. — Никогда ни один человек не узнает правды. А быть может, когда-нибудь он и сам ее забудет».

Рейсовый бот приводнился на рассвете, небо уже отливало перламутром. Хоуторн вышел на палубу субмарины. У самого борта покачивались на волнах десятка полтора мертвых венериан. Видеть их не хотелось, но они были тут, рядом, — и вдруг он узнал Оскара.

Невидящими глазами Оскар изумленно смотрел в небо. Какие-то крохотные рачки пожирали его, разрывая клешнями. Кровь у него была зеленая.

— О, Господи! — взмолился Хоуторн. — Хоть бы ты существовал! Хоть бы создал для меня ад!

Содержание

Энтони Бучер: Поиски Святого Аквина
«The Quest for Saint Aquin» (1951), by Anthony Boucher

Фредерик Пол: Туннель под миром
«The Tunnel under the World» (1955), by Frederik Pohl

Джеймс Блиш: Произведение искусства
«A Work of Art» (1956), by James Blish

Курт Воннегут: Гаррисон Бержерон
«Harrison Bergeron» (1961), by Kurt Vonnegut

Джеймс Г. Боллард: Голоса времени
«The Voices of Time» (1960), by J. G. Ballard

Роберт Шекли: Специалист
«Specialist» (1953), by Robert Sheckley

Кордвейнер Смит: Игра с Крысодраконом
«The Game of Rat and Dragon» (1955), by Cordwainer Smith

Артур Кларк: Девять миллиардов имен Бога
«The Nine Billion Names of God» (1953), by Arthur C. Clarke

Гарри Гаррисон: Смертные муки пришельца
«The Streets of Ashkelon» (1962), by Harry Harrison

Деймон Найт: Страна милостивых
«The Country of the Kind» (1955), by Damon Knight

Айзек Азимов: Машина — победитель
«The Machine that Won the War» (1961), by Isaac Asimov

Флойд Уоллес: Ученик
«Student Body» (1953), by F. L. Wallace

Джером Биксби: Мы живем хорошо!
«It's a Good Life» (1953), by Jerome Bixby

Пол Уильям Андерсон: Сестра Земли
«Sister Planet» (1959), by Poul Anderson

notes

Примечания

1

Филейная вырезка (франц.). — Прим. перев.

2

Без огня. (нем.)

3

Рихард сочиняет музыку! (нем.)

4

Дословно — «нотные черточки». (нем.)

5

О вкусах не спорят (лат.).

Следовательно (лат.).

7

Букстехуде Дитрих (1637–1707) — композитор и органист, оказавший большое влияние на Иоганна Себастьяна Баха.